

Эрих Мария
РЕМАРК



Три товарища
и другие романы

Все в одном томе

Эрих Мария Ремарк

Три товарища и другие романы

«Издательство АСТ»

1929, 1936, 1945

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

Ремарк Э.

Три товарища и другие романы / Э. Ремарк — «Издательство АСТ», 1929, 1936, 1945 — (Все в одном томе)

ISBN 978-5-17-122044-0

Эрих Мария Ремарк – писатель, чье имя говорит само за себя, чья проза не подлежит старению. Для многих поколений читателей, выросших на его произведениях, для критиков, единодушно признавших его работы, он стал своеобразным символом времени. Представленные в данном сборнике известнейшие романы Ремарка «Три товарища», «На Западном фронте без перемен» и «Триумфальная арка» доказывают, что верная дружба, истинное милосердие и любовь способны не только противостоять трагедиям Первой и Второй мировых войн, жестокому продажному миру, но и притупить боль представителей «потерянного поколения», наполнив их жизнь смыслом.

УДК 821.112.2-31

ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-17-122044-0

© Ремарк Э., 1929, 1936, 1945
© Издательство АСТ, 1929, 1936, 1945

Содержание

Три товарища	6
I	6
II	16
III	22
IV	30
V	37
VI	45
VII	55
VIII	61
IX	70
X	81
XI	87
XII	96
XIII	105
XIV	118
XV	127
XVI	136
XVII	148
XVIII	162
Конец ознакомительного фрагмента.	172

Эрих Мария Ремарк

Три товарища и другие романы

Романы

Erich Maria Remarque

Drei Kameraden. Im Westen Nichts Neues. Arc de Triomphe

© The Estate of the late Paulette Remarque, 1929, 1937, 1945

© Перевод. Ю. Архипов, 2013

© Перевод. Н. Федорова, 2013

© Перевод. М. Рудницкий, 2013

© Издание на русском языке AST Publishers, 2020

Три товарища

I

Небо, еще не закопченное дымом печных труб, отливало латунной желтизной. Над крышами фабрики оно светилось сильнее. Солнце вот-вот должно было взойти. Я взглянул на часы. Восьми еще нет. Без четверти.

Я открыл ворота и подготовил насос бензоколонки. В это время обычно подъезжают первые машины на заправку. Неожиданно позади меня послышалось какое-то хриплое поскрипывание – будто под землей прокручивали ржавый ворот. Я остановился, прислушался. Потом прошел через двор в мастерскую и тихонько приоткрыл дверь. Там в полутьме маячила какая-то призрачная фигура. Грязноватая белая косынка, синий фартук, толстые шлепанцы, шаркающая метла, килограммов девяносто весу – не иначе как наша уборщица Матильда Штосс.

На какое-то время я застыл, наблюдая. Она двигалась меж радиаторов с грацией бегемота и глухим голосом распевала песенку о верном гусаре. На столе у окна стояли две бутылки коньяка. В одной из них осталось на донышке. Накануне вечером бутылка была полной. Я забыл запереть ее в шкаф.

– Ай-ай-ай, фрау Штосс, – сказал я.

Пение оборвалось. Метла упала на пол. Блаженная ухмылка потухла.

– Господи Иисусе, – пролепетала Матильда, уставившись на меня красноватыми глазами. – Вот уж не ожидала...

– Понятно. Ну и как коньячок? Понравился?

– Да уж что говорить... но мне как-то не по себе. – Она вытерла губы. – Прямо языка лишилась...

– Ну, это уж слишком. Вы просто пьяны. Пьяны в стельку.

Она с трудом удерживала равновесие. Усики над ее верхней губой подрагивали, а веки хлопали, как у старой совы. Но вот наконец ей удалось совладать с собой, и она решительно шагнула ко мне.

– Слаб человек-то, господин Локамп, сначала я только понюхала, потом отхлебнула чуток – для пищеварения, а тут, тут уж черт меня и попутал. Да и то сказать – гоже ли так вводить бедную женщину в соблазн? Пузырек-то ведь на самом виду...

Я не впервые заставлял ее в таком виде. Она приходила каждое утро часа на два, убирать мастерскую; деньги, в любом количестве, можно было не запирать – она их не трогала, а вот спиртное действовало на нее, как сало на крысу. Я посмотрел бутылку на свет.

– Ну разумеется – коньяк для клиентов вы не тронули. Налегли на тот, что получше, который господин Кестер держит для себя.

Помрачневший было лик Матильды опять озарила ухмылка.

– Что верно – то верно, в таких вещах толк я знаю. Но ведь вы не выдадите меня, господин Локамп? Вдову горемычную?

Я покачал головой:

– Сегодня не выдам.

Она выпростала подоткнутые юбки.

– Ну, тогда мне лучше скрыться. А то придет господин Кестер – такое начнется!..

Я подошел к шкафу и открыл его.

– Матильда!

Она, переваливаясь, поспешила ко мне. Я поднял коричневую четырехгранную бутылку.

Она протестующе замахала руками.

– Это не я! Честное слово! К этой я и не прикасалась!

– Знаю, знаю, – сказал я и налил ей полную стопку. – А пробовали когда-нибудь?

– Еще бы! – облизнулась она. – Ром! Старинный, ямайский!

– Отлично! Вот и выпейте стаканчик!

– Я?! – Она даже отпрянула. – Ну уж это слишком, господин Локамп! Все равно что пустить человека босиком по углям! Старуха Штосс втихаря дует ваш коньячок, а вы ее еще ромом потчуете за это. Да вы просто святой, ей-богу! Нет уж, лучше помереть, чем пойти на такое!

– Ну как знаете, – сказал я и сделал вид, будто собираюсь поставить стаканчик на место.

– Эх, была не была! – Она чуть не вырвала его у меня из рук. – Дают – бери! Даже если незнамо за что дают. Ваше здоровье! А может, у вас день рождения?

– Да, Матильда. Угадали.

– Неужто правда? – Она схватила мою руку и стала трясти ее. – От души поздравляю! Дай вам Бог всего, а главное – тити-мити! – Она вытерла губы. – Нет, вы так растрогали меня, господин Локамп! За это не грех бы и еще одну пропустить. Раз такое дело. Ведь я люблю вас как сына.

– Вот и чудесно.

Я налил ей еще стопку. Она выпила ее залпом и тут же покинула мастерскую, изливая потоки восторгов.

Я убрал бутылку и сел к столу. Сквозь окно на мои руки падал бледный луч солнца. Странная это все же вещь – день рождения, даже если не придаешь ему никакого значения. Тридцать лет... А ведь было время, когда я думал, что и до двадцати-то не доживу – уж слишком далеким это казалось. А потом...

Я вынул из ящика лист почтовой бумаги и занялся арифметикой. Детские годы, школа – где ж это было, когда, да и было ли вообще? Настоящая жизнь началась только в 1916-м. Меня как раз призвали на военную службу; тощий, долговязый, восемнадцатилетний, я бросался наземь и вскакивал по команде усатого фельдфебеля, гонявшего нас по вспаханному полю позади казарм. В один из первых же вечеров в казарму навестить меня приехала моя мать, но ей пришлось прождать больше часа. Я нарушил предписание, укладывая ранец, и должен был в наказание драить толчки в свободное время. Мать хотела помочь мне, но ее не пустили. Она все плакала, а я так устал, что заснул во время свидания.

1917 год. Фландрия. Мы с Миддендорфом купили в буфете бутылочку красного. Собирались отметить. Но не тут-то было. Уже на рассвете англичане накрыли нас ураганным огнем. Днем ранило Кестера. Майер и Детерс погибли под вечер. А к ночи, когда мы решили, что все худшее уже позади, и откупорили бутылку, по траншеям пополз газ. Мы, правда, вовремя напялили противогазы, но у Миддендорфа он оказался дырявый. Когда он это заметил, было уже поздно. Пока срывали с него маску и отыскивали новую, он уже наглотался газа и харкал кровью. Под утро он умер. Лицо его было черно-зеленым, а горло изодрано, он пытался разорвать его ногтями, чтобы глотнуть воздуха.

1918 год. Я в госпитале. Несколько дней как прибыла новая партия раненых. Бумага вместо марли. Ранения тяжелые. Столы. Весь день то въезжали, то выезжали плоские операционные тележки. Нередко они возвращались пустыми. Рядом со мной лежал Йозеф Штолль. У него не было ног, но он еще об этом не знал. Увидеть их было нельзя, потому что на месте ног под одеялом торчал каркас из проволоки. Да он и не поверил бы, потому что чувствовал боль в ногах. Ночью в нашей палате умерли двое. Один из них умирал мучительно долго.

1919 год. Снова дома. Революция. Голод. Непрекращающийся треск пулеметов на улице. Солдаты против солдат. Товарищи против товарищей.

1920 год. Путч. Расстрелян Карл Брегер. Арестованы Кестер и Ленц. Моя мать в больнице. Рак в последней стадии.

1921 год...

Я задумался. И ничего не мог вспомнить. Год будто выпал из памяти. В 1922 году я работал на строительстве дороги в Тюрингии, в 1923-м – заведовал рекламой на фабрике резиновых изделий. Это было во время инфляции. В месяц я получал двести биллионов марок. Деньги выдавали по два раза в день и тут же устраивали на полчаса перерыв – чтобы успеть пробежаться по магазинам и хоть что-нибудь купить до того, как объявят новый курс доллара, после чего деньги обесценивались наполовину.

А что было потом? В последующие годы? Я отложил карандаш. Что толку в этих перечислениях? Все равно всего не упомянуть. И перепуталось все давно. В последний раз я отмечал день рождения в кафе «Интернациональ». Я там целый год играл на пианино для поднятия настроения у клиентов. А потом снова встретил Кестера и Ленца. И вот теперь я здесь, в АРМ, то бишь в «Авторемонтной мастерской Кестера и Ко». «Ко» – это мы с Ленцем, хотя на самом-то деле мастерская принадлежит одному Кестеру. Когда-то он был нашим школьным товарищем, потом командиром нашей роты, позже пилотом, затем какое-то время студентом, потом автогонщиком – пока не купил наконец эту сараюшку. Сперва к нему прибился Ленц, мотавшийся до того несколько лет по Южной Америке, а там и я.

Я вынул из кармана сигарету. Собственно говоря, жаловаться не на что. Живется мне неплохо, работа есть, сил хватает. Пока держусь, нахожусь, как говорится, в добром здравии, только вот лучше поменьше думать обо всем этом. Особенно когда остаешься один. Вечерами. Не то вдруг накатывает прошлое и тарашит на тебя мертвые zenки. Впрочем, на то ведь и существует на свете шнапс.

Заскрипели ворота. Я порвал листок с датами своей жизни и бросил его в корзину. Дверь распахнулась. В проеме обозначилась долговязая, тощая фигура Готфрида Ленца; соломенная грива и нос, явно предназначавшийся кому-то другому.

– Эй, Робби, – завопил он, – кончай жир накапливать! Встань-ка по струнке, твое начальство желает говорить с тобой!

Я поднялся.

– Бог мой, а я-то надеялся, что вы об этом не вспомните. Сжальтесь надо мной, братцы!

– Как бы не так! – Готфрид положил на стол пакет, в котором что-то основательно звякнуло. Вслед за ним вошел Кестер.

Ленц вытянулся передо мной.

– Итак, Робби, ответствуй: кого первого ты встретил сегодня утром?

Я стал припоминать.

– Старуху, которая танцевала.

– Святые угодники! Дурной знак! Однако ж подходит к твоему гороскопу. Я вчера составил. Ты сын Стрельца, следовательно, человек ненадежный, колеблешься, как тростник на ветру, особенно в этом году – из-за подозрительного отклонения Сатурна да еще ущербного Юпитера. А поскольку мы с Отто тебе за отца с матерью, я хочу тебе вручить кое-что для душевной охраны. Итак, прими сей амулет! Он достался мне в незапамятные времена от одной наследницы инков. У нее была голубая кровь, плоскостопие, вши, а также дар провидения. «Белокожий чужестранец, – сказала она мне, – этот амулет носили цари, в нем сила Солнца, Луны и Земли, не говоря уже о малых планетах, дай мне серебряный доллар на выпивку и можешь владеть им». И вот, чтобы не прерывалась цепь счастья, я вручаю его тебе. Он оградит тебя от беды и обратит в бегство немилостивого к тебе Юпитера.

С этими словами Ленц повесил мне на шею небольшую черную фигурку на тонкой цепочке.

– Вот. Это тебе против несчастий, угрожающих свыше. А против несчастий земных – шесть бутылок рома, подарок Отто! Ром, кстати, в два раза старше, чем ты!

Он раскрыл пакет и одну за другой вынул бутылки. В лучах утреннего солнца они светились, как янтарь.

– Зрелище великолепное, – сказал я. – Отто, где ты их раздобыл?

Кестер рассмеялся.

– Было одно хитрое дельце. Долго рассказывать. Лучше признавайся, как ты себя чувствуешь? На все тридцать?

Я отмахнулся.

– На шестнадцать и пятьдесят одновременно. Ничего особенного.

– И это называется ничего особенного? – вскинулся Ленц. – А что может быть лучше? Ведь ты, стало быть, покорило время и живешь за двоих.

Кестер посмотрел на меня.

– Оставь его, Готфрид, – сказал он. – День рождения – такая штука, что жутко угнетает чувство собственного достоинства. Особенно с утра пораньше. Дай ему оклематься.

Ленц прищурился.

– Чем меньше у человека чувства собственного достоинства, тем большего он стоит, Робби. Это тебя утешает хоть немного?

– Нет, – сказал я, – ничуть. Если человек полагает, что чего-то стоит, он уже только памятник самому себе. А это, на мой взгляд, и тяжело, и скучно.

– Он философствует, Отто, – сказал Ленц, – стало быть, он спасен. Роковая минута миновала! Та роковая минута собственного рождения, когда смотришь себе в глаза и понимаешь, какой же ты все-таки жалкий цыпленок. Что ж, теперь мы можем со спокойной душой заняться делами, например, смазать потроха старой развалине «кадиллаку»...

Мы работали, пока не стемнело. Потом умылись, переоделись. Ленц жадно поглядывал на шеренгу бутылок.

– А не свернуть ли нам шею одной из них?

– Пусть решает Робби, – сказал Кестер. – Неприлично, Готфрид, зариться на чужие подарки.

– А заставлять дарителей умирать от жажды прилично? – возразил Ленц, откупоривая бутылку.

Аромат тотчас разлился по всей мастерской.

– Святые угодники, – сказал Готфрид.

Мы все повели носами.

– Фантастика, Отто! В какие поэтические эмпиреи надо вознестись, чтобы подыскать подобающее в таком случае сравнение?

– М-да, даже слишком шикарно для такого сарая! – нашел Ленц. – Знаете что? Давайте махнем куда-нибудь за город и прихватим с собой бутылку на ужин. Выдзем ее на дивном лоне божьей природы!

Блеск!

Мы откатали в сторону «кадиллак», над которым корпели каждый день после обеда. Позади него стояла странная штуковина на колесах. То была гоночная машина Отто Кестера – гордость мастерской.

Этот старый рыдван с высоким кузовом Кестер приобрел как-то на аукционе, и стоил он не больше одного бутерброда. Специалисты, видевшие его тогда, дружно сошлись на том, что это занятный экспонат для музея истории транспорта. Владелец модного магазина и фабрики дамской верхней одежды Больвиз, гонщик-любитель, советовал Отто сделать из него швейную машину. Но Кестер и в ус не дул. Он разобрал машину, как карманные часы, и несколько меся-

цев подряд пыхтел над ней до глубокой ночи. И вот однажды вечером он появился в своем автомобиле перед баром, в котором мы обычно сидели. Больвиз чуть не свалился со стула от смеха, как только увидел машину, вид у нее действительно был потешный. Шутки ради он предложил Отто пари. Он ставил двести марок против двадцати, если Отто на своем драндулете согласится состязаться с его новой гоночной машиной: вся дистанция – десять километров, один километр – фора для Отто. Кестер принял пари. Все хохотали, предвкушая немалое удовольствие. Но Отто пошел дальше – он отклонил фору и с невозмутимым видом предложил повысить ставки до тысячи против тысячи. Ошарашенный Больвиз спросил, не отвезти ли его в психушку. Вместо ответа Отто завел мотор. Они тут же и стартовали, чтобы не откладывать дела в долгий ящик. Больвиз вернулся через полчаса такой обескураженный, будто встретил на дороге морского гада. Ни слова не говоря, он выписал чек, а за ним и второй. Он хотел тут же купить эту машину. Однако Кестер поднял его на смех. Он не отдал бы ее теперь за все золото мира. Но как ни безупречны были скрытые свойства машины, внешний вид ее был ужасен. Для повседневного пользования мы приделали машине самый старомодный кузов, какой только можно было найти; лак на нем потускнел, крылья были в трещинах, а верху было никак не меньше десяти лет. Нам бы, конечно, не составило никакого труда привести машину в божеский вид, но у нас был свой резон не делать этого.

Звали машину «Карл». «Карл», призрак шоссежных дорог.

«Карл» тащился по шоссе.

– Отто, – сказал я, – приближается жертва.

Позади нас нетерпеливо сигнализировал тяжелый «бьюик». Он быстро нагонял нас. Вот уже поравнялись радиаторы. Мужчина за рулем небрежно посмотрел на нас и скользнул взглядом по обшарпанному «Карлу». Потом он отвернулся и тут же забыл о нас.

Однако через несколько секунд он обнаружил, что «Карл» все еще идет с ним вровень. Он несколько подобрался, весело взглянул на нас и прибавил газ. Но «Карл» не отставал. Точно маленький юркий терьер рядом с догом, бежал он рядом с похожей на локомотив громадиной, сверкающей никелем и лаком.

Мужчина уже крепче стиснул руль. Он был в полном неведении и насмешливо кривил губы. Сейчас он нам покажет, на что способна карета. Он нажал на акселератор так, что глушитель запел, будто стая жаворонков в летний полдень. Но все напрасно, оторваться ему не удалось. Невзрачный, убогий «Карл» прилепился к нему, словно заколдованный. Мужчина взирал на нас с удивлением. Он не мог понять, как это он, развив скорость свыше ста километров, не в состоянии обогнать допотопный драндулет. Недоверчиво взглянув на спидометр, словно подозревая его в обмане, он дал полный газ.

Теперь обе машины мчались точнехонько рядом по длинному прямому шоссе. Через несколько сот метров показался грузовик, который с грохотом летел нам навстречу. «Бьюик» вынужден был уступить дорогу и пристроиться нам в хвост. Едва он снова поравнялся с «Карлом», как впереди объявился автокатафалк с развевающимися лентами венков, и «бьюику» снова пришлось отступить. Затем горизонт очистился.

Тем временем человек за рулем утратил былое свое высокомерие. Им овладело раздражение, губы были сжаты, корпус подался вперед – гоночная лихорадка делала свое дело, казалось, на карту поставлена его честь, и чтобы спасти ее, нужно было во что бы то ни стало взять верх над этой моськой.

Мы же, напротив, развалились на своих сиденьях с видимым равнодушием. «Бьюик» вовсе не существовал для нас. Кестер как ни в чем не бывало смотрел на дорогу, я поглядывал со скучающим видом по сторонам, а Ленц, хоть и был комок нервов, вынул газету и делал вид, будто читать ее – для него сейчас самое важное дело на свете...

Через несколько минут Кестер подмигнул нам. «Карл» незаметно убавил скорость, и «бьюик» постепенно выдвинулся вперед. Его широкие сверкающие крылья проплыли мимо, а выхлопная труба чихнула нам в лицо голубым дымом. Вот уже «бьюик» вырвался вперед метров на двадцать – и тут, как мы и ожидали, из окна показалось лицо водителя; он ухмылялся, не скрывая триумфа. Он полагал, что уже выиграл.

Но он не ограничился этим. Он решил сполна насладиться реваншем. Он стал жестами приглашать нас догнать его – и делал это с небрежностью человека, не сомневающегося в победе.

– Отто! – взмолился Ленц.

Но его реплика запоздала. «Карл» уже рванулся вперед. Компрессор засвистел. Махавшая нам рука скрылась в окошке – ибо «Карл» следовал приглашению, он приближался. Приближался неудержимо. Вот он нагнал чужую машину, которая лишь теперь привлекла наше внимание. Теперь мы уставились на человека за рулем с немым и невинным вопросом: мы хотели знать, почему он нам махал. Но тот напряженно смотрел в другую сторону. И тогда «Карл», дав наконец полный газ, легко умчался вперед – грязный, хлопающий крыльями, победоносный навозный жук.

– Отлично сработано, Отто, – сказал Ленц Кестеру. – По крайней мере ужин мы ему отравили.

Из-за таких гонок мы и не меняли кузов «Карла». Стоило ему появиться на дороге, как его стремились немедленно обогнать. Для других машин он был что подбитая ворона для стаи голодных кошек. Самые смирные семейные экипажи становились задирами, и даже бородатых толстяков охватывал неудержимый гоночный зуд, когда они видели перед собой его разболтанный, вихляющий кузов. Кто ж мог подозревать, что в такой страхолюдине бьется мощное сердце гоночного мотора!

Ленц утверждал, что «Карл» воспитывает людей. Он их учит почтительному отношению к творческому началу, всегда скрывающемуся за невзрачной оболочкой. Так говорил Ленц, называвший себя последним романтиком.

* * *

Мы остановились у небольшого ресторанчика и выбрались из машины. Вечер был прекрасен и тих. Свежие борозды пашни подернулись лиловой рябью. Края поля утопали в золотисто-коричневой дымке. Огромными фламинго передвигались по яблочно-зеленому небу облака, бережно окутывая узкий серп молодого месяца. Куст орешника держал в своих объятиях сумерки и тайну; он был трогательно наг, но уже полон надежды, зреющей в почках. Из тесного зала донесся запах жареной печенки и лука. Наши сердца забились бодрее.

Ленц, приняв себя за запах, устремился к дому. Вернулся, сияя.

– Жареная картошка – заглядение! Двигайтесь поживее, не то достанутся нам рожки да ножики!

В этот момент с шумом подъехала еще одна машина. Мы остановились как вкопанные. То был «бьюик». Он резко затормозил рядом с «Карлом».

– Гопля! – сказал Ленц. В подобных случаях дело не раз оборачивалось потасовкой.

Мужчина вылез из машины. Он был рослый, массивный, в широком коричневом пальто реглан из верблюжьей шерсти. Неприязненно покосившись на «Карла», он снял большие желтые перчатки и подошел к нам.

– Это что за модель такая? – обратился он с уксусной гримасой к стоявшему ближе всех к нему Кестеру.

Мы какое-то время молча разглядывали его. Наверняка он принял нас за механиков, выехавших пофорсить в воскресных костюмах на чужой машине.

– Вы, кажется, что-то сказали? – спросил его наконец Отто, давая понять, что можно было бы быть и повежливее.

Мужчина покраснел.

– Я спросил, что это за машина, – заявил он в прежнем ворчливом тоне.

Ленц выпрямился. Большой нос его дрогнул. В вопросах вежливости он был щепетилён. Но прежде чем он успел открыть рот, словно по волшебному мановению распахнулась другая дверца «бьюика», из нее выскользнула узкая нога, за ней последовало тонкое колено, и вот из машины вышла девушка и медленно направилась к нам.

Мы переглянулись от изумления. Как же мы не заметили, что в машине был еще кто-то? Ленц мгновенно преобразился. Его осыпанное веснушками лицо расплылось в улыбке. Да и все мы вдруг заулыбались бог весть почему.

Толстяк ошалело смотрел на нас. Он почувствовал себя неуверенно и явно не знал, что же делать дальше. Наконец он решил представиться и произнес с полупоклоном: «Биндинг», цепляясь за собственную фамилию как за палочку-выручалочку.

Девушка подошла к нам. Мы стали сама любезность.

– Так покажи им машину, Отто, – сказал Ленц, бросив быстрый взгляд на Кестера.

– Отчего ж не показать, – ответил Отто, улыбаясь одними глазами.

– Я бы и в самом деле охотно взглянул, – сказал Биндинг уже более примирительным тоном. – Дьявольская, видать, скорость. Запросто обставили меня.

Они вдвоем отправились на стоянку, и Кестер поднял капот «Карла».

Девушка не пошла с ними. Стройная и молчаливая, она стояла в сумерках рядом со мной и Ленцем. Я ожидал, что Готфрид воспользуется случаем и затрещит как пулемет. Ведь он был мастер на эти штучки. Но тут он, похоже, разучился говорить. Обычно токует, как тетерев, а тут застыл и рта разинуть не может, как монах-кармелит на побывке.

– Вы нас, пожалуйста, простите, – сказал я наконец. – Мы не заметили вас в машине. Иначе мы бы не стали так озорничать.

Девушка повернулась ко мне.

– Но почему? – спокойно возразила она неожиданно низким, глуховатым голосом. – Что же в этом было дурного?

– Дурного-то ничего, но и уместной такую игру не назовешь. Ведь наша машина дает километров двести в час.

Она слегка наклонилась вперед и засунула руки в карманы пальто.

– Двести километров?

– Точнее, сто восемьдесят девять и две десятых, по официальному хронометражу, – с гордостью выпалил Ленц.

Она засмеялась.

– А мы думали, шестьдесят – семьдесят, не больше.

– Вот видите, – сказал я. – Вы ведь не могли этого знать.

– Нет, – ответила она. – Этого мы действительно не могли знать. Мы были уверены, что «бьюик» вдвое быстрее вашей машины.

– В том-то и дело. – Я откинул ногой сломанную ветку. – У нас было слишком большое преимущество. Представляю себе, как разозлился на нас господин Биндинг.

Она рассмеялась.

– На какое-то время, что верно, то верно. Но ведь нужно уметь и проигрывать, иначе нельзя было бы жить.

– Это уж точно...

Возникла пауза. Я посмотрел на Ленца. Однако последний романтик только склался да подергивал носом; помощи от него ждать было нечего. Шумели березы. За домом кудachtала курица.

- Чудесная погода сегодня, – сказал я наконец, чтобы прервать молчание.
- Да, великолепная, – согласилась девушка.
- И такая мягкая, – добавил Ленц.
- Просто на редкость, – продолжил я.

И снова разговор зашел в тупик. Девушка, должно быть, считала нас изрядными болванами, но мне при всем желании больше ничего не приходило в голову. Ленц стал принимать.

– Печеные яблоки, – сказал он с чувством. – Кажется, тут подают к печенке еще и печеные яблоки. Вот уж поистине деликатес.

– Несомненно, – подтвердил я, мысленно проклиная нас обоих.

Кестер и Биндинг вернулись. За эти несколько минут Биндинг стал совершенно другим человеком. Он был, вероятно, одним из тех автомобильных маньяков, которые испытывают истинное блаженство, когда встречаются специалиста и могут с ним поговорить.

– А не поужинать ли нам вместе? – спросил он.

– Ну разумеется, – ответил Ленц.

Мы вошли в ресторанчик. В дверях Ленц подмигнул мне и показал глазами на девушку.

– Слышь, такая вот с лихвой окупит не только одну твою танцующую старуху, но и все десять.

Я пожал плечами:

– Может быть. Но что ж это ты предоставил мне одному заикаться?

Он засмеялся.

– Надо же и тебе когда-то научиться, детка...

– Нет уж, учиться у меня больше нет ни малейшей охоты, – сказал я.

Мы последовали за остальными. Они уже сидели за столиком. Хозяйка как раз подавала печенку и жареную картошку. Для начала она принесла также большую бутылку пшеничной водки.

Биндинг, как выяснилось, за словом в карман не лез. Просто поразительно, сколько всего он знал про автомобили. А уж когда он услышал, что Отто принимал участие в гонках, его расположение к собеседнику перешло все границы.

Я пригляделся к Биндингу внимательнее. Это был тяжеловатый, крупный мужчина с густыми бровями на красном лице, немного хвастлив, немного шумен и, по-видимому, добродушен, как человек, которому везет в жизни. Нетрудно было себе представить, как вечерами, прежде чем лечь спать, он чинно, с серьезным достоинством разглядывает свою физиономию в зеркале.

Девушка сидела между Ленцем и мной. Она сняла пальто и оказалась в сером английском костюме. На шее у нее был повязан белый платок на манер любительницы верховой езды. В свете лампы ее шелковистые каштановые волосы отливали янтарем. Плечи очень прямые, но чуть выпирающие вперед, руки тонкие, длинные, скорее костлявые, чем мягкие. Лицо узкое и бледное, однако большие глаза придавали ему выражение силы и страстности. На мой вкус, она была очень хороша, однако дальше этого мысли мои не шли.

А вот Ленц полностью преобразился. Теперь он был огонь и пламень. Его желтый чуб сверкал, как хохолок удода. Благодаря фейерверку острот он вместе с Биндингом царил за столом. Я же был вроде пустого места и напоминал о своем существовании, лишь передавая тарелку или предлагая сигарету. Или чокаясь с Биндингом, что приходилось делать довольно часто. Внезапно Ленц ударил себя по лбу.

– А ром?! Робби, тащи-ка сюда наш ром, ром ко дню рождения!

– Ко дню рождения? А что, у кого-нибудь из вас день рождения? – спросила девушка.

– У меня, – ответил я. – Меня уже целый день этим донимают.

- Донимают? Стало быть, вам не хочется, чтобы вас поздравляли?
- Отчего же? Поздравления – дело совсем другое.
- В таком случае желаю вам всего самого доброго.

На один миг ее рука оказалась в моей, и я почувствовал ее теплое и сухое пожатие. Потом я вышел за ромом. Ночь над маленьким домом стояла огромная, молчаливая. Кожаные сиденья нашей машины покрылись влагой. Я остановился, глядя на горизонт и любясь багровым заревом над городом. Я бы с радостью постоял и еще, но Ленц уже звал меня.

Биндинга ром подкосил. Это выяснилось уже после второй рюмки. Шатаясь, он вышел в сад. Мы с Ленцем встали и подошли к стойке. Ленц потребовал бутылку джина.

- Великолепная девочка, а? – сказал он.
- Не знаю, Готфрид, – ответил я. – Не рассмотрел толком.

Некоторое время он пристально изучал меня голубыми, в цветных крапинках, глазами, а потом тряхнул своей огненной гривой.

- На кой хрен ты вообще живешь, детка, а?
- Я и сам давно желал бы знать, – ответил я.

Он рассмеялся.

– Еще бы! Да не тут-то было! Легко это знание никому не дается. Но сперва я хочу докопаться, в каких отношениях она с этим толстым автомобильным справочником.

И он отправился за Биндингом в сад. Через какое-то время они вместе вернулись к стойке. Вероятно, добытые сведения были благоприятными, так как Готфрид, на радостях от того, что дорога свободна, чуть не лобызался с Биндингом. Они взяли себе еще бутылку джина и час спустя уже были на ты. Ленц, когда был в ударе, мог так обворозжить, что устоять перед ним было невозможно. Да он и сам тогда не мог остановиться. Теперь он полностью завладел Биндингом, и вскоре они уже сидели в садовой беседке и распевали солдатские песни. За этим занятием последний романтик напрочь забыл о девушке.

Мы остались вдвоем во всем зале. Стало вдруг очень тихо. Мирно тикали настенные шварцвальдские часы. Хозяйка убирала посуду, по-матерински поглядывая на нас. У печки растянулась гончая бурого цвета. Время от времени она таякала со сна – тихо, жалобно и визгливо. За окном трепал ставни ветер. Он доносил до нас обрывки солдатских песен; и у меня было такое чувство, будто это тесное помещение поднимается вместе с нами куда-то ввысь и, покачиваясь, плывет сквозь ночь, сквозь годы, оставляя далеко позади воспоминания.

Это было удивительное состояние. Время словно остановилось: оно уже не было потоком, вытекающим из мрака и впадающим во мрак, оно стало безмолвным океаном, в зеркале которого отражается жизнь. Я держал в руке рюмку с мерцающим ромом. Вспомнилось, как утром в мастерской я сидел над листком бумаги. Тогда мне было немного грустно, теперь это прошло. Живи, пока живется, чего там. Я посмотрел на Кестера. Он разговаривал с девушкой. О чем? Я не прислушивался, не различал слов. Я был в мягкой власти первого, согревающего кровь опьянения, которое любил потому, что все неизведанное оно облекало покровом приключения и тайны. В саду Ленц с Биндингом пели песню о битве в Аргоннском лесу. Рядом со мной звучал голос незнакомой девушки – низкий, волнующий, чуть хриплый, говоривший медленно, тихо. Я допил рюмку до дна.

Вернулась наша дружная парочка. На свежем воздухе они несколько протрезвели. Мы стали собираться в дорогу. Помогая девушке надеть пальто, я оказался совсем близко от нее. Она плавно повела плечами, откинула голову назад и улыбнулась чему-то своему, глядя на потолок. На какой-то миг я даже опустил пальто. Куда же я смотрел все это время? Спал, что ли? Восторг Ленца стал мне вдруг так понятен.

Она с некоторым недоумением повернулась ко мне. Я поспешно снова подал ей пальто и посмотрел на Биндинга, который с остекленевшими глазами стоял у стола, все еще красный, как кирпич.

– Вы полагаете, он сможет вести машину? – спросил я.

– Думаю, да.

Я не отрываясь смотрел на нее.

– Если вы в нем не уверены, кто-то из нас мог бы поехать с вами.

Она достала пудреницу и щелкнула ее крышкой.

– Ничего, как-нибудь обойдется. Да он даже лучше водит, когда выпьет.

– Лучше и, вероятно, более лихо, – возразил я.

Она посмотрела на меня поверх своего зеркала.

– Что ж, будем надеяться, что все обойдется, – сказал я.

Опасения мои были явно преувеличены. Биндинг держался вполне сносно. Но так не хотелось отпустить ее ни с чем.

– Вы разрешите мне позвонить вам завтра, чтобы узнать, как вы доехали? – спросил я.

Она ответила не сразу.

– Ведь и мы несем известную ответственность за вас – как зачинщики этой попойки. Особенно я с моим ромом в честь дня рождения.

Она засмеялась.

– Ну хорошо, если вы так настаиваете. Вестен, 27–96.

Как только мы вышли, я сразу же записал номер. Мы посмотрели, как Биндинг отъехал, и выпили еще по последней, на дорожку. Потом запустили на всю катушку мотор нашего «Карла». Он понесся, разметая легкий мартовский туман; дышалось легко, город летел нам навстречу мириадами пляшущих огоньков; вот, как ярко освещенный корабль, из тумана вдруг выплыл бар Фредди. Мы поставили «Карла» на якорь. Жидким золотом тек коньяк, джин сверкал, как аквамарин, а ром был воплощением самой жизни. С железной несокрушимостью восседали мы за стойкой бара, музыка плескалась, жизнь светлела и наливалась силой, мощными волнами теснила нам грудь, унося прочь и самую память о безнадежности пустых мебелирашек, которые нас ожидали, о безотрадности существования. Стойка бара была капитанским мостиком на корабле жизни, и мы смело правили в пучину будущего...

II

На другой день было воскресенье. Спал я долго и проснулся, только когда солнце добралось до моей постели. Я вскочил и распахнул окно. День выдался свежий и ясный. Я поставил спиртовку на табурет и пустился на поиски банки с кофе. Хозяйка моя, фрау Залевски, разрешала мне варить кофе у себя в комнате. Ее кофе был слишком жидок. Особенно после вчерашней попойки.

Вот уже два года, как я жил в пансионе фрау Залевски. Мне нравился этот район. Здесь всегда что-нибудь происходило, так как на тесном пяточке расположились Дом профсоюзов, кафе «Интернациональ» и зал собраний Армии спасения. К тому же перед домом находилось старое кладбище, на котором давно уже не хоронили. Деревья там были как в парке, и ночью, в тихую погоду, можно было подумать, что живешь за городом. Тишина, однако, наступала здесь поздно – рядом с кладбищем раскинулась шумная площадь с каруселью, качелями, балаганом.

Кладбище означало верный гешефт для фрау Залевски. Ссылаясь на свежий воздух и приятный вид из окна, она могла брать за комнаты подороже. А когда жильцы выражали свое недовольство, она всякий раз говорила:

– Но, господа, вы только подумайте, какое местоположение!

Одевался я очень медленно. Только так можно ощутить выходной день. Умылся, побродил по комнате, просмотрел газеты, сварил себе кофе, постоял у окна, поглазел на то, как поливают улицу, послушал, как поют птицы на высоких кладбищенских деревьях, – а пели они будто маленькие серебряные дудочки самого Господа Бога, сопровождающие тихую, сладостную мелодию меланхолической шарманки на площади, – порылся потом в своих носках и рубашках, выбирая из двух-трех так, будто у меня было их двадцать; насвистывая, выгреб все из карманов – мелочь, перочинный ножик, ключи, сигареты, – и тут вдруг на глаза мне попала вчерашняя бумажка с именем девушки и ее телефоном. Патриция Хольман. Странное имя – Патриция. Я положил бумажку на стол. Неужели это было только вчера? А как далеко отодвинулось – почти забылось в жемчужно-сером чаду алкоголя... В этом и чудо опьянения – оно быстро стягивает в один узел всю твою жизнь, зато между вечером и утром оставляет зазоры, в которых умещаются целые годы.

Я сунул бумажку под стопку книг. Позвонить? Быть может, да. А может, и нет. Днем такие вещи всегда выглядят иначе, чем вечером. Кроме того, я так радовался своему покою. Ведь шума в последние годы хватало. Только не принимать ничего слишком близко к сердцу, как говорил Кестер. Ведь то, что принимаешь слишком близко к сердцу, хочется удержать. А удержать ничего нельзя...

В эту минуту в соседней комнате начался привычный воскресный скандал. Я поневоле прислушался, потому что никак не мог найти шляпу, которую, видимо, забыл где-то вчера вечером. Сцепились супруги Хассе, жившие уже лет пять в тесной комнатухе; жена сделала истеричкой, а мужа просто задавил страх потерять свою должность. Для него это был бы конец. Ему ведь было сорок пять лет, и никто бы не нанял его больше, если б он стал безработным. В том-то и был весь ужас: раньше люди опускались постепенно и всегда еще оставалась возможность снова выкарабкаться наверх, теперь же любое увольнение сразу ставило на край пропасти, именуемой вечной безработицей.

Я уже хотел было потихоньку улизнуть, как в дверь постучали и ввалился Хассе. Он упал на стул.

– Я этого больше не вынесу.

Человек он был, в сущности, кроткий, мягкий, с обвислыми плечами и маленькими усиками. Скромный, исправный служащий. Но именно таким-то теперь приходилось всего труд-

нее. Впрочем, таким всегда приходится труднее всех. Скромность, а также исправное служение долгу вознаграждаются только в романах. В жизни их сначала используют, а потом затирают. Хассе воздел руки:

– Вы только представьте, опять у нас уволили двоих! Очередь за мной, вот увидите!

В таком страхе он жил от первого числа одного месяца до первого числа другого. Я налил ему рюмку шнапса. Он дрожал всем телом. В один прекрасный день скovyрнется – это было ясно как день. Ни о чем другом говорить он не мог.

– А тут еще эти вечные попреки! – прошептал он.

Вероятно, жена упрекала его в том, что он испортил ей жизнь. Это была женщина сорока двух лет, несколько рыхлая и отцветшая, но, разумеется, еще не такая изнуренная, как ее муж. Главным ее страданием была надвигающаяся старость.

Вмешиваться было бесполезно.

– Послушайте, Хассе, – сказал я. – Оставайтесь у меня сколько хотите. А мне нужно идти. Коньяк в платяном шкафу, если вы его предпочитаете. Вот – ром. А вот – газеты. И потом – не сходить ли вам куда-нибудь с женой сегодня после обеда? Ну хоть в кино. Денег потратите столько же, сколько просидите за два часа в кафе, зато удовольствия больше. Забыться – вот сегодня главный девиз! И не ломать себе голову! – И я похлопал его по плечу, испытывая некоторые угрызения совести. Хотя кино и впрямь штука хорошая. Там каждый может о чем-нибудь помечтать.

Дверь в соседнюю комнату была открыта. Из нее доносились громкие рыдания жены Хассе. Я двинулся дальше по коридору. Следующая дверь была слегка приоткрыта. Там подслушивали. Сквозь щель пробивался густой запах косметики. В этой комнате жила Эрна Бениг, личная секретарша какого-то босса. Она носила слишком шикарные для ее жалованья туалеты; однако один раз в неделю шеф диктовал ей до утра. И тогда на другой день она бывала в дурном настроении. Зато каждый вечер она ходила на танцы. Она говорила, что не захочет и жить, если нельзя будет танцевать. У нее было два дружка. Один любил ее и приносил ей цветы, другого любила она и давала ему деньги.

Рядом с ней жил ротмистр граф Орлов – русский эмигрант, наемный партнер для танцев, кельнер, статист, жиголо с седыми висками. Он превосходно играл на гитаре. Молился на ночь Казанской Божьей Матери, испрашивая должность метрдотеля в гостинице средней руки. Лил обильные слезы, когда бывал пьян.

Следующая дверь. Фрау Бендер, медсестра из детских яслей. Пятидесяти лет. Муж погиб на войне. Оба ребенка умерли от голода в 1918 году. Пятнистая кошка – единственное, что у нее осталось.

Рядом – Мюллер, бухгалтер-пенсионер. Секретарь общества филателистов. Ходячая коллекция марок, и ничего больше. Счастливейший человек.

В последнюю дверь я постучал.

– Ну как, Георг, – спросил я, – по-прежнему ничего?

Георг Блок молча помотал головой. Он был студентом четвертого семестра. Чтобы продержаться четыре семестра, он два года работал на шахте. И вот накопления его почти иссякли, оставалось месяца на два. На шахту он вернуться не мог – там и так уже многие сидели без работы. Что он только не предпринимал, чтобы добыть себе место где-нибудь поблизости! Был с неделю расфасовщиком на маргариновой фабрике, но владелец ее разорился, и фабрику закрыли. Вскоре затем он получил место разносчика газет и вздохнул было с облегчением. Но уже на третий день, на рассвете, его остановили двое в форменных фуражках, отняли и разорвали газеты и заявили ему, чтобы он не совался в чужое дело, к которому не имеет никакого отношения. У них-де и без того безработных хватает. Тем не менее он вышел с газетами и на следующее утро, хотя должен был заплатить за разорванные газеты. И был сбит каким-то

велосипедистом. Газеты разлетелись и упали в грязь. Это обошлось ему в две марки. Он вышел и в третий раз и вернулся с разорванным костюмом и разбитой физиономией. Тогда он сдался. И теперь он в полном отчаянии сидел в своей комнате и все зубрил, зубрил как одержимый, будто это имело хоть какой-то смысл. Ел он один раз в день. При этом было все равно: одолеет он оставшиеся семестры или нет – ведь даже получив диплом, он мог рассчитывать на работу по специальности не раньше чем через десять лет.

Я сунул ему пачку сигарет.

– Наплюй ты на это дело, Георгий. Как я в свое время. Потом наверстаешь, когда сможешь.

Он покачал головой:

– Нет, после шахты я убедился: если не заниматься каждый день, то быстро выбиваешься из колеи. А второй раз я за это не возьмусь.

Бледное личико с торчащими ушами и близорукими глазами, тщедушная фигура с впалой грудью – эхма!..

– Ну бывай, Георгий. – Да, и родителей у него тоже не было.

Кухня. Чучело кабаньей головы на стене. Память об усопшем господине Залевски. Телефон. Полумрак. Пахнет газом и дешевым жиром. Входная дверь с гирляндой визитных карточек у звонка. Среди них и моя – «Роберт Локамп, студ. – фил., два длинных звонка». Карточка пожелтела и загрязнилась. Студ. – фил. Тоже мне гусь! Давненько это было.

Я спустился по лестнице и отправился в кафе «Интернациональ».

То был темный, прокуренный, длинный, как кишка, зал со множеством боковых комнат. Впереди, рядом со стойкой, стояло пианино. Оно было расстроено, несколько струн лопнуло, на многих клавишах не доставало костяшек, но я любил этого славного, послужившего свое трудягу. Он целый год был спутником моей жизни, когда я подвизался здесь тапером.

В задних комнатах кафе устраивали свои собрания торговцы скотом; иной раз и владельцы каруселей и балаганов. У самого входа располагались проститутки.

В кафе было пусто. Один лишь плоскостопый кельнер Алоис стоял за стойкой.

– Как всегда? – спросил он.

Я кивнул. Он принес мне стакан портвейна пополам с ромом. Я сел за столик и, ни о чем не думая, уставился в пространство перед собой. Окно косо отбрасывало серенький сноп солнечного света. Он дотягивал до полок с бутылками. Шерри-бренди пылал, как рубин.

Алоис полоскал стаканы. Хозяйская кошка мурлыкала, усевшись на пианино. Я медленно выкурил сигарету. Воздух здесь нагонял сонливость. Какой необычный голос был вчера у той девушки! Низкий, слегка грубоватый, почти хриплый – и в то же время мягкий.

– Дай-ка мне парочку журналов, Алоис, – попросил я.

Со скрипом отворилась дверь, и вошла Роза, кладбищенская проститутка по кличке Железный Конь. Это прозвище она заслужила своей неумимостью. Роза заказала чашку шоколада. Она позволяла ее себе утром по воскресеньям, после чего ехала в Бургдорф, к своему ребенку.

– Роберт, привет.

– Привет, Роза. Ну, как твоя малышка?

– Поеду посмотрю. Вот что я ей везу.

Она вынула из пакета краснощекую куклу и надавила ей на живот. «Ма-ма», – пропищала кукла. Роза сияла.

– Фантастика! – сказал я.

– Глянь-ка. – Она положила куклу на спину. Та захлопнула глаза.

– Невероятно, Роза.

Она была удовлетворена и снова упаковала куклу.

– Ты-то знаешь толк в подобных вещах, Роберт. Будешь когда-нибудь хорошим отцом.

– Как же, как же, – проговорил я с сомнением.

Роза была очень привязана к своему ребенку. Несколько месяцев назад, когда девочка еще не ходила, она держала ее при себе, в своей комнате. Это ей удавалось, несмотря на ее ремесло, потому что к комнате примыкал небольшой чулан. Являясь вечером с кавалером, она под каким-нибудь предлогом просила его подождать перед дверями, сама быстро проходила вперед, задвигала коляску с ребенком в чулан, запирала ее там и впускала кавалера. Но случилось так, что в декабре малышке пришлось слишком часто перемещаться из теплой комнаты в нетопленный чулан. Она простудилась и часто плакала при гостях. И Розе пришлось с ней расстаться, как ей это было ни тяжело. Она отдала ее в дорогой пансионат, выдав себя за вдову почтенного человека. Иначе ребенка не приняли бы.

Роза поднялась.

– Так ты придешь в пятницу?

Я кивнул.

Она посмотрела на меня.

– Ты ведь знаешь, в чем дело?

– Конечно.

Я не имел никакого понятия о том, в чем было дело, но у меня не было и ни малейшего желания расспрашивать. Эту привычку я усвоил себе за тот год, что стучал здесь по клавишам. Так было удобнее всего. Так же, как обращаться ко всем девицам на ты. Иначе было просто нельзя.

– Привет, Роберт.

– Привет, Роза.

Я посидел еще немного. Что-то на сей раз в душе моей не водворился тот сонливо-бесмятежный покой, ради которого я и ходил сюда по воскресеньям. Я выпил еще стаканчик рома, погладил кошку и ушел.

Весь день я слонялся без всякой цели. Я не знал, чем заняться, и нигде не задерживался подолгу. Под вечер я пошел в нашу мастерскую. Кестер был на месте. Он трудился над «кадил-лаком». Мы купили его недавно по дешевке, как старье. Теперь его было не узнать, и вот Кестер наводил последний глянец. Афера была рискованной, но мы надеялись заработать. Я, правда, сомневался, что дело выгорит. В трудные времена люди предпочитают покупать маленькие машины, а не такие дилижансы.

– Нет, Отто, нам не сбыть его с рук, – сказал я.

Но Кестер был уверен в успехе.

– Это средние машины трудно сбыть с рук, Робби, – возразил он. – А вот дешевые идут неплохо и самые дорогие тоже. Всегда есть люди, у которых водятся деньги. Или есть охота производить такое впечатление.

– А где Готфрид? – спросил я.

– На каком-то политическом собрании...

– С ума сойти! Что он там забыл?

Кестер засмеялся.

– Этого он и сам не знает. Да ведь весна на дворе. По весне он всегда становится шалым и жаждет новенького.

– Возможно, и так, – сказал я. – Давай-ка я тебе помогу.

Мы провозились до темноты.

– Хватит на сегодня, – сказал Кестер.

Мы умылись.

– Знаешь, что у меня здесь? – спросил Кестер, похлопывая по бумажнику.

– Интересно...

– Билеты на бокс сегодня вечером. Два. Ты ведь пойдешь со мной, а?

Я колебался. Он посмотрел на меня с удивлением.

– Штиллинг выступает. Против Уокера, – сказал он. – Бой будет что надо.

– Возьми лучше Готфрида с собой, – предложил я. Вообще-то смешно было отказываться, но идти мне не хотелось, сам не знаю почему.

– А ты что – чем-нибудь занят?

– Нет.

Он посмотрел на меня.

– Домой пойду, – сказал я. – Письма напишу и все такое прочее. Надо ведь когда-нибудь...

– Ты не болен? – спросил он с тревогой.

– Ничуть, что ты. Разве что тоже слегка ошалел от весны.

– Ну ладно. Делай как знаешь.

Я побрел домой. Но и сидя в своей комнате, все никак не мог решить, чем же заняться. Потоптался в разных углах как потерянный. Теперь я не мог понять, что меня сюда так тянуло. Наконец я надумал навестить Георга и вышел в коридор. Тут я натолкнулся на фрау Залевски.

– Как, вы здесь? – спросила она, изумившись.

– Трудно было бы отрицать, – ответил я слегка раздраженно.

Она покачала головой в седых буклях.

– Не гуляете? Чудеса воистину.

У Георга я пробыл недолго, вернулся минут через пятнадцать. Стал раздумывать – не выпить ли? Но пить не хотелось. Сел к окну и уставился на улицу.

Сумерки летучей мышью парили над кладбищем. Небо над Домом профсоюзов было бледно-зеленым, как недозрелое яблоко. Уже зажгли фонари, но было еще недостаточно темно, и казалось, что они зябнут. Я порылся в книгах в поисках той бумажки с телефоном. В конце концов, позвонить-то можно. Я ведь даже почти обещал. К тому же скорее всего ее нет дома.

Я вышел в прихожую к телефону, снял трубку и назвал номер. И пока ждал ответа, ощущал, как из черной трубки мягкой волной поднимается легкое нетерпение. Девушка оказалась дома. И когда ее низкий, хриловатый голос, словно по волшебству, зазвучал вдруг во владениях фрау Залевски, среди кабаньих голов, запахов жира и звякающей посуды, – зазвучал медленно, тихо, так, будто она раздумывала над каждым словом, мое недовольство жизнью сняло как рукой. И я не только справился о том, как она доехала, но повесил трубку лишь после того, как договорился о свидании на послезавтра. И жизнь сразу перестала казаться мне такой пресной. «С ума сойти», – подумал я, тряхнув головой. Потом я снова поднял трубку и позвонил Кестеру.

– Билеты еще у тебя, Отто?

– Да.

– Ну и отлично. Тогда я тоже пойду на бокс.

После бокса мы еще побродили по ночному городу. Улицы были светлы и пустыны. Рекламные вывески сияли. В витринах бессмысленно горел свет. В одной из них стояли голые восковые куклы с раскрашенными лицами. Они выглядели таинственно и развратно. Рядом сверкали драгоценности. Дальше был универмаг, залитый светом, как собор. Витрины пенились пестрым, сверкающим шелком. У входа в кино сидели на корточках бледные, изможденные люди. А рядом красовалась витрина продовольственного магазина. В ней громоздились башни из консервных коробок, вяли окутанные ватой яблоки, тушки жирных гусей висели, как белье, на веревке, коричневые круглые караваи лежали между горами твердых копченых колбас, и переливались розовыми и нежно-желтыми цветами тонкие ломтики лососины, семги и разных сортов печеночного паштета.

Мы присели на скамью на краю сквера. Было прохладно. Над домами электрическим фонарем зависла луна. Было уже далеко за полночь. Прямо на проезжей части улицы рабочие

разбили палатку. Они ремонтировали трамвайные пути. Шипела сварка, тучи искр осыпали озабоченно склоненные темные фигурки. Тут же, словно полевые кухни, дымились котлы с горячим асфальтом.

Мы думали о своем.

– Странная штука все-таки воскресенье, а, Отто?

Кестер кивнул.

– Ведь мы даже рады, когда оно проходит, – задумчиво сказал я.

Кестер пожал плечами:

– Наверное, мы так привыкаем к своему ярму, что без него нам сразу делается не по себе.

Я поднял воротник.

– А что, собственно, мешает нам радоваться жизни, Отто?

Он взглянул на меня с улыбкой.

– Ну, нам с тобой кое-что другое помешало, Робби.

– Что правда, то правда, – согласился я. – И все-таки...

Резкое пламя автогена зеленым язычком лизнуло асфальт. Освещенная изнутри палатка казалась островком тепла и уюта.

– Как ты думаешь, во вторник мы покончим с «кадиллаком»? – спросил я.

– Возможно, – сказал Кестер. – А почему ты спрашиваешь?

– Да так просто.

Мы встали и пошли домой.

– Что-то я сегодня не в своей тарелке, – сказал я.

– Со всяким бывает, – сказал Кестер. – Спокойной ночи, Робби.

– И тебе также, Отто.

Дома я лег не сразу. Конура моя мне вдруг разонравилась. Люстра была отвратительной, свет слишком ярким, кресла потертыми, линолеум скучным до безнадежности, а чего стоил умывальный столик и эта картина с изображением битвы при Ватерлоо, – нет, сюда нельзя пригласить порядочного человека. А тем более женщину. Разве что какую-нибудь девицу из «Националя», подумал я.

III

Во вторник утром мы завтракали во дворе мастерской. «Кадиллак» был готов. Ленц держал в руках лист бумаги и взирал на нас с видом триумфатора. Он ведал у нас рекламой и только что огласил нам с Кестером текст составленного им объявления о продаже автомобиля. Начиналось оно словами: «Домчит вас в отпуск в южные края шикарный лимузин», и было чем-то средним между одой и гимном.

Мы с Кестером молчали, опешив под натиском бурного потока цветистой фантазии. Ленц же полагал, что мы сражены.

– Тут вам и поэзия, и эффект, не так ли? – с гордостью спросил он. – В век деловитости нужно быть романтичным, в этом весь фокус. Контраст притягателен.

– Но не тогда, когда речь идет о деньгах, – вставил я.

– Автомобили, мой мальчик, покупают не для того, чтобы вложить деньги, – отмахнулся Готфрид. – Их покупают, чтобы деньги выложить. А уж тут начинается романтика, особенно у делового человека. У большинства она этим и кончается. А ты что думаешь, Отто?

– Видишь ли... – с осторожностью начал Кестер.

– Ну о чем тут толковать, – прервал я его, – такая реклама годится для курорта или дамского крема, но не для автомобиля.

Ленц открыл было рот.

– Минуточку, – продолжал я. – Нас ты подозреваешь в необъективности, Готфрид. Что ж, делаю предложение: давай спросим Юппа. Пусть то будет голос народа!

Юпп, наш единственный служащий, малый лет пятнадцати, был у нас чем-то вроде ученика. Он обслуживал бензоколонку, приносил еду на завтрак, убирал в конце рабочего дня. Был он шупл, весь в веснушках и с самыми огромными оттопыренными ушами, какие мне только доводилось видеть. Кестер говорил, что если бы Юпп упал с самолета, с ним бы ничего не случилось: он плавно опустился бы на землю на ушах, как на планере.

Мы позвали Юппа. Ленц прочитал ему объявление.

– Тебя заинтересовала бы такая машина, Юпп? – спросил Кестер.

– Машина? – переспросил Юпп.

Я засмеялся.

– Разумеется, машина, – проворчал Готфрид. – Не лошадь же.

– А есть у нее прямое переключение скоростей? А как управляется кулачковый вал – сверху? А тормоза гидравлические? – невозмутимо осведомился Юпп.

– Кретин, да ведь это же наш «кадиллак»! – прошипел Ленц.

– Не может быть, – возразил Юпп, осклабя рот до ушей.

– Съел, Готфрид? – сказал Кестер. – Вот тебе и современная романтика.

– Катись-ка ты к своему насосу, Юпп. Проклятое дитя двадцатого века!

Ленц, недовольно бурча, скрылся в мастерской, чтобы, не теряя поэтического накала в своем объявлении, придать ему все же больше технического веса.

Несколько минут спустя в нашем дворе неожиданно появился обер-инспектор Барзиг. Мы встретили его с превеликим почтением. Он был инженером и экспертом автомобильного страхового общества «Феникс», то есть человеком влиятельным, если говорить о распределении заказов на ремонт. У нас с ним были налажены прекрасные отношения. Как инженер он, правда, был сам стоокий сатана, ни в чем не дававший спуска, зато как знаток бабочек он был мягче воска. У него была большая коллекция, которую и мы однажды удачно пополнили, подарив ему огромную ночную бабочку, залетевшую к нам в мастерскую. Барзиг даже весь побледнел и приобрел крайне торжественный вид, когда мы вручали ему эту тварь. Оказалось,

то была «мертвая голова», величайшая редкость, коей как раз не доставало в его собрании. Он никогда не забывал об этой услуге и с тех пор снабжал нас заказами, как только мог. А мы за то ловили ему все, что только могли поймать.

– Рюмочку вермута, господин Барзиг? – спросил Ленц, вполне пришедший в себя после конфуза.

– До вечера ни капли спиртного, – ответил Барзиг. – Это у меня железный принцип.

– Принципы нужно иногда нарушать, иначе от них никакой радости, – возразил Готфрид, наливая. – За грядущее процветание бражника, «павлиньего глаза» и перламутровки.

Барзиг колебался не долго.

– Ну, раз уж вы заходите мне в тыл с этой стороны, то я вынужден сдаться, – сказал он, беря в руки рюмку. – Но тогда уж чокнемся и за «воловий глаз». – И он ухмыльнулся с таким видом, будто отпустил какую-нибудь двусмысленную шутку по адресу женщины. – Дело в том, что я тут недавно открыл новую разновидность – со щетинистыми усиками.

– Черт возьми, – воскликнул Ленц, – вот так штука! Теперь вы, стало быть, первооткрыватель, и ваше имя запишут на скрижалях науки!

Мы выпили еще по одной во славу щетинистых усиков, Барзиг вытер подбородок.

– А у меня для вас хорошая новость. Можете забирать «форд». Дирекция утвердила ремонт за вами.

– Великолепно, – сказал Кестер. – Это нам очень кстати. А как дела с нашей сметой?

– Тоже утверждена.

– Без сокращений?

Барзиг прищурился одним глазом.

– Сначала руководство ни в какую не соглашалось. Но в конце концов...

– За страховое общество «Феникс» нужно выпить по полной! – выпалил Ленц, снова наполняя рюмки.

Барзиг встал и начал прощаться.

– Подумать только, – сказал он, уходя. – Женщина, которая была в «форде», все-таки на днях умерла. А ведь у нее были всего лишь порезы. Видно, потеряла много крови.

– Сколько же ей было лет? – спросил Кестер.

– Тридцать четыре, – ответил Барзиг. – Беременность на четвертом месяце. Двадцать тысяч страховки.

Мы сразу же поехали за машиной. Она стояла во дворе владельца булочной. Подвыпивший булочник врезался на ней ночью в стену. Пострадала только жена, сам он не получил и царапины.

Мы встретили его в гараже, куда отправились, чтобы подготовить машину к буксировке. Какое-то время он молча наблюдал за нами; кургузый, с мясистым затылком, короткой шеей, он стоял, склонив голову, напоминая мешок, прислоненный к стене. С нездоровым, сероватым, как у всех пекарей, цветом лица, в полумраке он походил на большого мучного червя. Наконец он медленно приблизился.

– Когда машина будет готова? – спросил он.

– Недели через три, – ответил Кестер.

Булочник ткнул пальцем в кузов.

– Это ведь тоже включено в общий счет, не так ли?

– Как так? – спросил Отто. – Верх целехонек.

Булочник сделал нетерпеливый жест.

– Конечно-конечно. Но ведь общая-то сумма большая. Так что может хватить и на кузов. Мы ведь понимаем друг друга?

– Нет, – сказал Кестер.

Понять было несложно. Этот тип хотел задарма получить новый кузов, включив его потихоньку в общую смету страховки. Мы немного поспорили. Он пригрозил аннулировать заказ, передоверив его другой, более покладистой мастерской. И Кестер в конце концов уступил. Он никогда не сделал бы этого, если б у нас была другая работа.

– Ну вот, сразу бы так, – криво усмехнулся булочник. – Значит, я зайду на днях – материал подобрать. Лучше бы всего беж. Каких-нибудь нежных оттенков...

Мы тронулись в путь. На шоссе Ленц показал рукой на большие темные пятна, что были на сиденьях «форда».

– Кровь его погибшей жены. А он новый кузов себе выжухивает. «Беж». «Нежных оттенков». Хорош гусь! Не удивлюсь, если он слупит страховку за двух мертвецов. Ведь жена-то была беременна.

Кестер пожал плечами:

– Он, по-видимому, считает, что это разные вещи, которые не надо путать.

– Наверное, – согласился Ленц. – Есть ведь люди, которые и в несчастье находят счастье. А нам это обойдется ровно в полсотни.

* * *

После обеда я под благовидным предлогом отправился домой. На пять у меня была назначена встреча с Патрицией Хольман, но в мастерской я не сказал об этом ни слова. Не то чтобы хотел скрыть, просто не верил, что это случится.

Она предложила для свидания одно кафе. Раньше я там никогда не бывал, знал только, что это небольшое изысканное заведение. С тем и отправился. Но едва переступил порог, как непроизвольно отпрянул. Все помещение было набито женщинами, и они галдели. Я попал в типично дамскую кондитерскую.

Мне с трудом удалось протиснуться к столику, который только что освободился. Я неприязненно огляделся. Кроме меня, тут было еще только двое мужчин, да и те мне не понравились.

– Кофе, чаю, шоколаду? – спросил кельнер, смахивая салфеткой крошки от пирожного прямо мне на костюм.

– Двойную порцию коньяка, – с вызовом сказал я.

Он принес коньяк. Но заодно привел с собой целый хоровод алчущих места дамочек во главе с преклонного возраста особой атлетического сложения в шляпе со страусовыми перьями.

– Вот, не угодно ли, четыре места, – сказал кельнер, указывая на мой стол.

– Стоп, стоп! – возразил я. – Здесь занято. Ко мне должны прийти.

– Нет, так не годится, уважаемый, – сказал кельнер. – В это время у нас нельзя занимать места.

Я посмотрел на него. Потом перевел взгляд на даму атлетического сложения, которая уже вплотную подошла к столу и вцепилась в спинку стула. Я увидел ее лицо и понял, что дальнейшее сопротивление бессмысленно. Пали хоть из пушек, решимости этой дамы завоевать стол не поколебать.

– Не могли бы вы по крайней мере принести мне еще коньяку? – в ворчливом тоне обратился я к кельнеру.

– Извольте, сударь. Опять двойной?

– Да.

– Слушаюсь. – Он поклонился. – Это ведь столик на шесть персон, – сказал он извиняющимся тоном.

– Ладно уж, принесите только коньяк.

Атлетка, надо полагать, была из общества трезвости. Она с таким видом уставилась на мой коньяк, точно это была тухлая рыба. Чтобы позлить ее, я заказал еще и, в свой черед, уставился на нее. Вся эта ситуация показалась мне вдруг ужасно нелепой. Зачем я здесь? И чего я хочу от этой девушки? Я даже не был уверен, что узнаю ее в такой суматохе и при таком гоме. Начиная злиться, я опрокинул коньяк.

– Салют! – послышалось у меня за спиной.

Я вскочил. Передо мной стояла она и смеялась.

– А вы, я вижу, не теряете времени?

Я поставил на стол рюмку, которую все еще держал в руке. На меня вдруг нашло замешательство. Девушка выглядела совсем по-другому, чем я помнил. В этом скопище упитанных, жующих пирожные женщин она походила на юную стройную амазонку – холодную, сияющую, уверенную в себе, недоступную. «Ничего у меня с ней не выйдет», – подумал я и сказал:

– Как это вы здесь появились? Словно призрак! Ведь я все время следил за дверью.

Она указала куда-то вправо.

– Тут есть еще один вход. Но я опоздала. Вы давно ждете?

– Нет, совсем нет. Минуты две-три, не больше. Я тоже только что пришел.

Хоровод за моим столом умолк. Я чувствовал на своем затылке оценивающие взгляды четырех матрон.

– Останемся здесь? – спросил я.

Девушка скользнула по столу быстрым взглядом. Губы ее слегка дрогнули в полуулыбке. Она весело посмотрела на меня.

– Боюсь, кафе везде одинаковы.

Я покачал головой:

– Если они пустые, они уже лучше. А здесь какой-то дьявольский притон, в нем можно нажить комплекс неполноценности. Лучше уж перейти в какой-нибудь бар.

– Бар? Разве бывают бары, открытые среди бела дня?

– Я знаю один. В нем, правда, совсем тихо. Но если вы не против тишины...

– Иной раз очень даже не против...

Я посмотрел на нее. В это мгновение я не мог понять, что она имеет в виду. Иронию я ценю, но не ту, что направлена против меня. Правда и то, что совесть моя всегда нечиста.

– Итак, идем, – сказала она.

Я подозвал кельнера.

– Три двойных коньяка! – проорал этот горе луковое таким зычным голосом, будто ему нужно было докричаться в могилу. – Три марки тридцать пфеннигов.

Девушка обернулась.

– Три двойных коньяка за три минуты? Ничего себе темп.

– Два из них оставались за мной со вчерашнего дня.

– Ну и лжец! – прошипела атлетка за моей спиной. Она слишком долго молчала.

Я обернулся и поклонился.

– Приятного Рождества, сударыни! – бросил я им, уходя.

– Вы что, повздорили с ней? – спросила меня девушка на улице.

– Так, ничего особенного. Просто я произвожу неблагоприятное впечатление на уважаемых домашних хозяек.

– Я тоже, – заметила она.

Я взглянул на нее. Она казалась мне существом из другого мира. Я совершенно не мог себе представить, кто она такая и как живет.

В баре я почувствовал куда более твердую почву под ногами. Когда мы вошли, бармен Фред протирал за стойкой большие рюмки для коньяка. Он поздоровался со мной так, будто

видит меня впервые и будто не он волок меня третьего дня домой. Школа у него была отменная, опыт огромный.

В зале было пусто. Только за одним столиком сидел, по обыкновению, Валентин Хаузер. Я знал его еще с войны, мы служили в одной роте. Однажды он под ураганным огнем принес мне на передовую письмо, так как думал, что оно от матери. Он знал, что я жду от нее письма, потому что ее должны были оперировать. Но он ошибся – то была всего-навсего реклама подшлемников из крапивной ткани. На обратном пути он был ранен в ногу.

Вскоре после войны Валентин получил наследство. С тех пор он его пропивал. «Надо же, – говорил он, – отпраздновать такое счастье – живым вернуться с войны». А то, что это было давно, для него не имело значения. Он утверждал, что сколько ни празднуй такое событие, все будет мало. Он был одним из тех, у кого память на войну была чудовищная. Мы все уже многое забыли, он же помнил каждый день и каждый час, проведенный на фронте.

Было заметно, что он выпил уже немало и сидел в своем углу, целиком погрузившись в себя, от всего отрешившись. Я поднял руку.

– Салют, Валентин!

Он очнулся и кивнул:

– Салют, Робби!

Мы сели за столик в углу. Подошел бармен.

– Что вы будете пить? – спросил я девушку.

– Может быть, рюмку martin, – сказала она. – Сухого martin.

– Ну, по этой части Фред специалист, – заметил я.

Фред позволил себе улыбнуться.

– Мне как обычно, – сказал я.

В баре было полутемно и прохладно. Пахло пролитым джином и коньяком. Запах был терпкий, напоминавший запах можжевельника и хлеба. С потолка свисала деревянная модель парусника. Стена за стойкой была обита медью. Приглушенный свет лампы отбрасывал на нее багровые блики, будто из преисподней. В ряду маленьких кованых бра горели лишь два – над столиком Валентина и над нашим. Желтые пергаментные абажуры у них были сделаны из старинных географических карт, они светились, как узкие ломтики мира.

Я был несколько смущен и толком не знал, с чего начать разговор. Ведь я совсем не знал эту девушку, и чем больше разглядывал ее, тем более незнакомой она представлялась мне. Давно уже я ни с кем вот так не сидел, и результат налицо – разучился. Привык общаться с мужчинами. Там, в кафе, мне мешал шум, здесь вдруг стала мешать тишина. Из-за нее каждое слово приобретало такой вес, что было трудно говорить непринужденно. Впору хоть вернуться обратно в кафе.

Фред принес заказ. Мы выпили. Ром был крепок и свеж. Он пах солнцем. Он был тем, за что можно было держаться. Я залпом выпил и сразу же вернул Фреду бокал.

– Вам нравится здесь? – спросил я.

Девушка кивнула.

– Больше, чем там, в кондитерской?

– Терпеть не могу кондитерские, – сказала она.

– Зачем же вы назначили встречу именно там? – спросил я озадаченно.

– Не знаю. – Она сняла берет. – Мне просто не пришло в голову ничего другого.

– Тем приятнее, что вам здесь нравится. Мы здесь часто бываем. По вечерам эта лачуга становится для нас чемто вроде родного дома.

Она засмеялась.

– А разве это не печально?

– Нет, – сказал я. – Это в духе времени.

Фред принес мне вторую рюмку. А рядом с ней положил на стол зеленую «Гавану».

– Это от господина Хаузера.

Валентин помахал мне из своего угла и поднял рюмку.

– Тридцать первое июля семнадцатого года, Робби, – прохрипел он.

Я кивнул ему в ответ и тоже поднял рюмку.

Ему непременно нужно было с кем-нибудь выпить, я не однажды встречал его вечерами в одном из сельских трактиров и видел, как он чокается с луной или кустом сирени. При этом он вспоминал какой-нибудь особенно трудный день из числа проведенных в окопах и был благодарен судьбе за то, что уцелел и может вот так сидеть.

– Мой приятель, – сказал я девушке. – Товарищ по фронту. Единственный известный мне человек, который из большого несчастья сделал маленькое счастье. Он больше не знает, что ему делать со своей жизнью, и поэтому просто радуется тому, что жив.

Девушка задумчиво посмотрела на меня. Косой луч света упал на ее лоб и губы.

– Мне это так понятно, – сказала она.

Я посмотрел ей в глаза.

– Но этого не должно быть. Ведь вы слишком молоды.

Улыбка порхнула по ее лицу. Улыбались только глаза, а само лицо почти не изменилось, лишь как-то слегка осветилось изнутри.

– Слишком молода, – повторила она. – Так принято говорить. Но я думаю, слишком молодыми люди никогда не бывают. Только слишком старыми.

Я чуть помедлил с ответом.

– На это можно было бы многое возразить, – сказал я и знаком дал понять Фреду, чтобы он принес мне еще.

Девушка держала себя просто и непринужденно, я же казался себе рядом с ней чурбаном неотесанным. Ах, как было бы славно затеять сейчас легкий, игривый разговор – настоящий, который приходит в голову, уже когда остаешься один. Вот Ленц был на это мастак, у меня же вечно все получалось неуклюже и тяжеловесно. Недаром Готфрид любил повторять, что по части светской беседы я стою где-то на уровне писаря.

К счастью, Фред был догадлив. На сей раз вместо наперстка он принес мне изрядный бокал вина. И ему не нужно лишний раз бегать туда-сюда, и меньше заметно, сколько я пью. А не пить мне нельзя, без этого деревянной тяжести не преодолеть.

– Не хотите ли еще рюмочку martin? – спросил я девушку.

– А что пьете вы?

– Это ром.

Она стала разглядывать мой бокал.

– В прошлый раз вы пили то же самое.

– Да, – сказал я, – ром я пью чаще всего.

Она покачала головой:

– Не могу себе представить, чтобы это было вкусно.

– А я так и вовсе не знаю, вкусно ли это.

Она посмотрела на меня.

– Зачем же вы пьете?

– Ром, – сказал я, радуясь, что наконец-то есть то, о чем я могу говорить, – ром вне измерений вкуса. Ведь это не просто напиток, это скорее друг. Друг, с которым легко. Он изменяет мир. Оттого-то люди и пьют его... – Я отодвинул бокал. – Но не заказать ли вам еще рюмку martin?

– Лучше рома, – сказала она. – Хочется попробовать.

– Хорошо, – сказал я. – Но тогда не этот. Для начала он, пожалуй, слишком тяжел. Приноси-ка нам коктейль «Баккарди»! – крикнул я Фреду.

Фред принес рюмки. Вместе с ними он поставил вазочку с соленым миндалем и жареными кофейными зернами.

– Давай уж сюда всю бутылку, – сказал я.

Постепенно все обретало свой лад и толк. Неуверенность исчезала, слова рождались теперь сами собой, я даже перестал следить за тем, что говорю. Я продолжал пить и ощущал, как большая ласковая волна, накатив, подхватила меня, как пустые сумерки стали наполняться видениями, а над немymi, скудными низинами бытия потянулись безмолвные грезы. Стены бара отошли, расступились – и вот уже то был не бар, а укромный уголок мира, приют спасения, полутемный сказочный грот, вокруг которого бушевали вечные битвы хаоса, а внутри, сметенные сюда загадочной силой неверного времени, прятались мы.

Девушка сидела, съежившись на своем стуле, чужая и таинственная, словно ее занесло сюда откуда-то из другой жизни. Я что-то говорил и слышал свой голос, но чувство было такое, что это не я говорю, а кто-то другой, кем я мог бы, кем я хотел бы быть. Слова значили не совсем то, что обычно, они смещались, теснились, выталкивая друг друга в иные, более яркие и светлые края, куда не вписывались мелкие события моей жизни; я знал, что слова мои уже не были правдой, что они стали фантазией, ложью, но это теперь не имело значения – правда была безутешной и плоской, и лишь чувство и отблеск грез были истинной жизнью...

В медной бадье бара плавало солнце. Время от времени Валентин поднимал бокал и бормотал себе под нос какую-то дату. За окнами хищными вороньими вскриками автомобилей глухо катилась улица. Иногда крики улицы врываются и к нам – вместе с открываемой дверью. Кричала улица, как сварливая, завистливая старая карга.

Было уже темно, когда я проводил Патрицию Хольман. И медленно поплелся домой. Внезапно накатило чувство одиночества и опустошения. С неба сеялся мелкий дождик. Я остановился перед витриной. Да, выпито слишком много, я заметил это только теперь. Меня вовсе не шатало, но я это отчетливо осознал.

Я вдруг почувствовал жар. Расстегнул пальто и сдвинул шляпу на затылок. Черт побери, опять меня развезло! Знать бы, что я ей наговорил! Страшно было даже припомнить. Да я и не мог ничего вспомнить, и это было самое ужасное. Здесь, на холодной, громяющей автобусами улице, все выглядело совершенно иначе, чем в полутьме бара. Я проклинал себя самого. Можно представить, какое впечатление я произвел на девушку! Она наверняка все заметила. Ведь она почти не пила. Прощаясь, она так странно на меня смотрела...

О Господи! Я круто повернулся. И при этом столкнулся с каким-то низкорослым толстяком.

– Ну? – сказал я с яростью.

– Раскройте глаза пошире, вы, чучело огородное! – пролаял толстяк.

Я уставился на него.

– Что, людей не видали, а? – продолжал он таявкать.

Его-то мне и не доставало.

– Людей видал, – ответил я, – а вот чтобы по улице расхаживали пивные бочки – такое вижу впервые.

Толстяк не задержался с ответом ни на секунду. Раздувая щеки, он немедленно фыркнул:

– Знаете что? Ступайте в зоопарк! Сонным кенгуру не место на улице.

Я понял, что имею дело с бранных дел мастером. Нужно было вопреки скверному настроению спасти свою честь.

– Не сбейся с пути истинного, слабоумок недоношенный, – сказал я и поднял руку в знак благословения.

Он и ухом не повел.

– Залей мозги бетоном, горилла плешивая! – пролаял он.

Я отпарировал «выродком криволапым». Он – «попугаем занюханным». Тогда я выдал «безработного мойщика трупов». На что он, уже с некоторым респектом, отвесил: «Изъеденный раком бараний рог».

Чтобы добить его, я пустил в ход «ходячее кладбище бифштексов».

Его лицо внезапно прояснилось.

– Ходячее кладбище бифштексов! – воскликнул он. – Этого я еще не знал. Включу в свой репертуар! Пока!..

Он приподнял шляпу, и мы расстались, преисполненные взаимного уважения.

Перебранка освежила меня. Однако раздражение не исчезло. Оно даже усиливалось по мере того, как я трезвел. Я казался себе выкрученным мокрым полотенцем. Но постепенно это раздражение на себя самого перешло в раздражение на весь мир вообще – в том числе и на девушку. Ведь это из-за нее я напился. Я поднял воротник. Ну и пусть себе думает обо мне что хочет, теперь это мне безразлично – по крайней мере она с самого начала узнала, с кем имеет дело. А по мне, так и катись все к черту, – что случилось, то случилось. Все равно ничего не изменишь. Пожалуй, так даже лучше...

Я вернулся в бар и теперь уже напился по-настоящему.

IV

Погода стала теплой и влажной, дождь лил несколько дней подряд. Потом разведрилось, стало пригревать солнце. И вот, придя как-то в пятницу утром в мастерскую, я увидел во дворе Матильду Штосс с метелкой под мышкой и с физиономией блаженного бегемота.

– Какая роскошь, господин Локамп, вы только гляньте! Ну не чудо ли? Вот это настоящее чудо!

Я остолбенел от изумления. Старая слива у бензоколонки расцвела за одну ночь.

Она простояла всю зиму кривая и голая, мы вешали на ее ветви канистры и старые шины для просушки, она давно уже превратилась для нас не более чем в удобную вешалку для всякого хлама – от тряпок до автомобильных капотов; совсем недавно на ней развевались после стирки наши синие комбинезоны, вчера еще ничего нельзя было заметить, и вдруг за одну ночь слива преобразилась словно в сказке, окуталась бело-розовой дымкой, и эта светоносная кипень цветов походила на стаю бабочек, чудом залетевшую на наш грязный двор...

– А запах, запах-то какой! – сказала Матильда, мечтательно закатывая глаза. – Просто чудо! Все равно что ваш ром!

Никакого запаха я не чувствовал, но сразу понял, к чему она клонит.

– По-моему, больше похоже на коньяк для клиентов, – заметил я.

Она стала энергично возражать:

– Да что вы, господин Локамп, да вы, наверное, простужены. Или у вас полипы в носу. Полипы теперь почитай что у каждого. Нет уж, у старухи Штосс нюх что у гончей, уж будьте покойны, раз говорю ром – значит, ром...

– Ну, будь по-вашему, Матильда...

Я налил ей стопку рома и пошел к бензоколонке. Юпп уже сидел там. Перед ним была заржавленная консервная банка с воткнутыми в нее цветущими ветками.

– А это еще что такое? – спросил я с удивлением.

– Это для женского полу, – объяснил Юпп. – Когда они заправляются, то получают бесплатно по веточке. Благодаря чему я уже продал на девяносто литров больше обычного. Это золотое дерево, господин Локамп. Не будь его у нас, стоило бы сделать искусственное.

– Да ты, оказывается, деловой парнишка.

Он ухмыльнулся. Его уши просвечивали на солнце, как рубиновые витражи в церкви.

– И фотографировали меня тут, даже два раза, – сообщил он. – На фоне дерева.

– Гляди, еще станешь кинозвездой, – сказал я и пошел к смотровой щели, где Ленц вылезал как раз из-под «форда».

– Робби, – сказал он, – мне тут кое-что пришло в голову. Надо бы поинтересоваться, как там эта девушка, что была с Биндингом.

Я, обомлев, смотрел на него.

– Что ты имеешь в виду?

– Именно то, что сказал. Ну чего ты уставился?

– Я не уставился...

– Ты вытаращился. Кстати, как ее звали? Пат, а как дальше?

– Не знаю, – сказал я.

Он выпрямился.

– Не знаешь? Да ведь ты записывал ее адрес. Я сам видел.

– Я потерял эту бумажку.

– Потерял?! – Ленц запустил обе руки в соломенные джунгли на голове. – А для чего ж тогда я битый час торчал в саду с этим Биндингом? Он, видите ли, потерял! Но может, Отто помнит?

– Отто тоже не помнит.

Он взглянул на меня.

– Дилетант несчастный! Тем хуже для тебя! Раз ты так и не понял, что это была фантастическая девушка! О Господи! – Он поднял глаза в поднебесье. – В кои-то веки попадается на пути нечто стоящее – и этот нюня теряет адрес!

– Да она и не показалась мне такой уж привлекательной.

– Потому что ты осел, – заявил Ленц. – Болван, не имеющий представления ни о чем выше уровня шлюшек из «Интернационаля»! Эх ты, тапер! Говорю тебе еще раз: такая девушка – редкий подарок судьбы, редчайший! Э, да что ты смыслишь? Ты хоть видел ее глаза? Ни черта ты не видел, кроме своей рюмки!

– Заткнись! – прервал я поток его речи, ибо последние слова его подействовали на меня как соль на открытую рану.

– А руки? – продолжал он, не обращая на меня внимания. – Узкие, длинные, как у мулатки, уж в этом-то Готфрид разбирается, можешь поверить! Святые угодники! В кои-то веки видишь девушку, у которой все как надо: хороша собой, естественна и, что самое важное, с атмосферой. Ты хоть знаешь, что такое атмосфера?

– Воздух, который накачивают в шины, – огрызнулся я.

– Разумеется, воздух, что ж еще! – сказал он, смешивая жалость с презрением. – Атмосфера, аура, излучение, теплота, тайна – это то, что только и способно оживить красоту, одушевить ее. Но что с тобой толковать, твоя атмосфера – это испарения рома...

– Слушай, кончай, а? – зарычал я. – Не то я уроню тебе что-нибудь на макушку!

Но Готфрид продолжал говорить, а я ничего ему не делал. Он ведь понятия не имел о том, что произошло, и не догадывался, насколько ранило меня каждое его слово. Особенно когда он вел речь о пьянстве. Я уже кое-как справился с этим, утешился и забыл, и вот теперь он берedit рану снова. А он все хвалил и хвалил девушку, так что зародил во мне в конце концов тоскливое чувство невозвратимой утраты.

В шесть часов я в расстроенных чувствах отправился в кафе «Интернациональ». Куда же деваться, как не в мое старое убежище, – вот и Ленц толкует о том же. К моему удивлению, я застал там признаки пышного празднества. На стойке теснились пироги и торты, а плоско-стопый Алоис как раз спешно ковылял с подрагивающими кофейниками на подносе в заднюю комнату. Я замер на месте. Кофе да еще кофейниками? Да что у них там, уж не пьяный ли ферейн¹ валяется под столами?

Однако хозяин кафе мне все объяснил. В задней комнате сегодня были проводы подруги Розы Лили. Я стукнул себя по лбу. Ну да, конечно, я ведь тоже приглашен! В качестве единственного мужчины к тому же, как многозначительно подчеркнула Роза; поскольку педераст Кики, также присутствовавший, был не в счет. Я быстро вышел снова на улицу и купил букет цветов, ананас, погремущку и плитку шоколада.

Роза встретила меня улыбкой великосветской дамы. Она восседала во главе стола в черном платье с глубоким вырезом. Золотые зубы ее сверкали. Я справился о здоровье малышки, вручая для нее целлулоидную игрушку и шоколад. Роза сияла.

Ананас и цветы предназначались Лили.

– От всей души желаю счастья!

¹ Союз, общество (нем.). – Примеч. ред.

– Он был и остается истинным кавалером! – сказала Роза. – Иди сюда, Робби, садись между нами.

Лили была лучшей подругой Розы. Она сделала блестящую карьеру. Она была тем, что является несбыточной грезой любой маленькой проститутки, – дамой из отеля. Дама из отеля не выходит на панель, она живет в гостинице и там заводит знакомства. Мало кому из проституток это удастся – не хватает ни гардероба, ни денег, на которые можно было бы жить, спокойно дожидаясь клиента. И хотя Лили жила только в провинциальных отелях, она накопила все же с течением лет около четырех тысяч марок. Теперь она надумала выйти замуж. Ее будущий муж имел небольшую ремонтную мастерскую. Он знал о ее прошлом, но оно ему было безразлично. О будущем он мог не тревожиться: если уж какая-нибудь из этих девиц выходила замуж, то женой она была верной. Она уже прошла огни и воды и была сыта ими по горло. На такую жену можно было положиться.

Свадьба Лили была назначена на понедельник. А сегодня Роза устраивала для нее прощальное кофепитие. Все собрались, чтобы в последний раз побыть вместе с Лили. После свадьбы она уж сюда не придет.

Роза налила мне чашку кофе. Алоис подскочил с огромным пирогом, украшенным изюмом, миндалем и зелеными цукатами. Роза положила мне увесистый кусок.

Я знал, что мне нужно было делать. Откусив с видом знатока от пирога, я изобразил на своем лице величайшее удивление:

– Черт побери! Пирог явно не из кондитерской!

– Сама испекла! – сказала счастливая Роза. Она великолепно готовила и любила, когда это признавали. Гуляш и вот этот пирог были ее коронными блюдами. Недаром же она была чешкой.

Я огляделся. Вот они сидят рядом – труженицы вертограда Господня, испытанные знатоки людских сердец, воительницы любви: красавица Валли, у которой недавно во время ночной автомобильной прогулки похитили горностаевую горжетку; одноногая Лина с протезом, все еще добывавшая себе любовников; стервозная Фрицци, которая любила плоскостопного Алоиса, хотя давно могла бы иметь собственную квартиру и жить на содержании дружка; краснощекая Марго, разгуливавшая в наряде горничной и тем привлекавшая элегантных кавалеров; и самая младшая – Марион, бездумная хохотушка; Кики, которого и за мужчину-то не считали, потому что ходил он в женском платье и красился; Мими, бедолага, которой все труднее давалось ремесло с ее-то сорока пятью годами и вздутыми венами на ногах; дальше сидели девицы из баров и ресторанов, которых я не знал, и, наконец, в качестве второго почетного гостя маленькая, седая, сморщенная, как мороженое яблоко, «мамаша» – наперсница, утешительница, покровительница всех ночных странниц, та «мамаша», что торгует по ночам сосисками на углу Николайштрассе, служа и ночным буфетом, и разменной кассой, та «мамаша», у которой, кроме ее франкфуртских сосисок, всегда можно тайком купить сигареты и презервативы, а в случае надобности и стрельнуть деньги.

Я знал, как нужно себя держать. Ни слова о делах, никаких грубых намеков; сегодня нужно забыть обо всем – и о необычайных способностях Розы, принесших ей кличку Железный Конь, и о своеобразных диспутах на любовную тему, которые вели между собой скототорговец Стефан Григоляйт и Фрицци, и о предрассветных плясках Кики. Беседа, которая здесь лилась, была достойна любого дамского круга.

– Ну как, все уже приготовлено, Лили? – спросил я.

Она кивнула:

– Приданным я уже давно запаслась.

– Приданое – чудо, – сказала Роза. – Есть даже кружевные салфетки.

– А зачем нужны кружевные салфетки? – спросил я.

– Да ты что, Робби! – Роза посмотрела на меня с такой укоризной, что я немедленно заявил, будто вспомнил. Ах да, кружевные салфетки, как же, как же, ведь это они, стражи мебели, были символом мещанского уюта, священным символом брака, утраченного рая. Ведь никто из девиц не был проституткой по складу своего темперамента, все они были жертвами краха обывательского существования. Их заветной мечтой была супружеская постель, а не ложе порока. Но они никогда не признались бы в этом.

Я сел за пианино. Роза уже давно ожидала этого. Она обожала музыку, как и все девицы. На прощание я еще раз сыграл все ее и Лили любимые песни. Для начала – «Молитву девы». Название, правда, не слишком соответствовало заведению, но на самом деле то была лишь бравурная пьеска с надрывом. Затем последовали «Вечерняя песня птички», «Альпийские зори», «Когда умирает любовь», «Миллионы Арлекина» и под конец – «Тоска по родине». Ее особенно любила Роза. Ведь проститутки – самые закаленные, но и самые сентиментальные существа на свете. Все дружно пели. Педераст Кики – вторым голосом.

Лили стала собираться. Ей еще нужно было заехать за женихом. Роза пылко расцеловала подругу.

– Счастливо, Лили. Смотри только не поддавайся ему!

Наконец Лили, нагруженная подарками, ушла. У нее было совершенно другое лицо, чем всегда. Разрази меня гром, если это не так. Резкие линии, проступающие у каждого, кто сталкивается с человеческой подлостью, словно бы стерлись, черты стали мягче, в лице действительно появилось что-то девическое.

Мы стояли в дверях и махали вслед Лили. Внезапно Мими разревелась. Когда-то и она была замужем. Ее муж умер на фронте от воспаления легких. Если бы он погиб, она бы получила небольшое пособие и не очутилась бы на улице.

Роза похлопала ее по спине.

– Ну-ну, Мими, только не раскисай! Пойдем-ка выпьем еще по чашечке кофе.

Вся компания, как стая кур в курятник, вернулась в полутемный «Интернациональ». Но прежнего веселья уже как не бывало.

– Сыграй нам что-нибудь на прощание, Робби! – попросила Роза. – Чтобы поднять настроение!

– Идет, – ответил я. – Давай-ка сбацим «Марш ветеранов».

Потом распрощался и я. Роза сунула мне напоследок кулек с пирогами. Я отдал его «мамашиному» сынку, который уже устанавливал на ночь котел с сосисками.

Я раздумывал, что предпринять. Идти в бар не хотелось ни под каким видом, в кино тоже. В мастерскую? Я нерешительно взглянул на часы. Восемь. Кестер, должно быть, уже вернулся. А при нем Ленц не станет часами трепаться о той девушке. И я отправился в мастерскую.

Сарай наш светился. И не только он – весь двор был залит светом, Кестер был один.

– Что это за дела, Отто? – спросил я. – Неужто ты продал «кадиллак»?

Кестер засмеялся:

– Нет, это Готфрид устроил иллюминацию.

Обе фары «кадиллака» горели. Машина была поставлена так, чтобы снопы света падали через окна прямо на цветущую сливу. Белая как мел, она выглядела волшебным. А вокруг нее темнота разливала свои черные волны.

– Великолечно, – сказал я. – А где он сам?

– Пошел принести что-нибудь поесть.

– Блестящая идея, – сказал я. – А то у меня что-то кружится голова. Может, это просто от голода.

Кестер кивнул:

– Поесть всегда не мешает. Железное правило всех старых вояк. Сегодня, кажется, и у меня голова закружилась. Заявил, знаешь ли, «Карла» на гонки.

– Что? – спросил я. – Неужели на шестое?

Отто кивнул.

– Черт возьми, Отто, но там же стартуют одни асы.

Он опять кивнул:

– В классе спортивных машин даже сам Браумюллер.

Я засучил рукава.

– Ну тогда за дело, Отто. Искушаем-ка нашего любимца в масле.

– Стоп! – крикнул в этот момент, входя, последний романтик. – Кормежка прежде всего!

И он выложил принесенное на ужин – сыр, хлеб, сухую копченую колбасу и шпроты. Все это мы запивали отменным холодным пивом. Ели мы, как бригада изголодавшихся косарей. А потом взялись за «Карла». Провозились с ним часа два, простучали и смазали каждый подшипник. После этого мы с Ленцем поужинали вторично. Ленц включил еще и единственную фару «форда», случайно уцелевшую после столкновения. С вогнутого шасси она косым лучом была в небо.

Довольный Ленц повернулся ко мне.

– А теперь, Робби, тащи-ка бутылки. Отметим «праздник цветущего дерева».

Я поставил на стол коньяк, джин и два стакана.

– А себе? – спросил Готфрид.

– Я пить не буду.

– Что такое? С чего это вдруг?

– Не испытываю больше удовольствия от этой проклятой пьянки.

Какое-то время Ленц разглядывал меня.

– Наш мальчик, похоже, рехнулся, Отто, – сказал он затем Кестеру.

– Оставь его, раз он не хочет, – ответил Кестер.

Ленц налил себе полный стакан.

– Он уже несколько дней не в себе.

– Ничего, бывает и хуже, – сказал я.

Над крышей фабрики напротив нас встала большая и красная луна. Какое-то время мы сидели молча. Потом я спросил:

– Послушай, Готфрид, ты ведь у нас спец по любовной части, не так ли?

– Спец? Да я в этих делах грессмейстер, – скромно заметил Ленц.

– Вот и отлично. Тогда скажи, всегда ли при этом ведут себя по-дурачки?

– То есть как это по-дурачки?

– Ну так, как будто ты все время под мухой. Болтаешь, несешь всякую чушь, завираешься.

Ленц расхохотался.

– Деточка моя! Ну как же при этом не завираться? Ведь все это и есть вранье. Чудесное вранье самой мамыши-природы. Взгляни хоть на эту сливу! Она ведь тоже сейчас привирает. Притворяется куда более красивой, чем окажется потом. Было бы ужасно, если бы любовь имела хоть какое-то отношение к правде. Слава Богу, что не все на свете порабощено этими проклятыми моралистами.

Я поднялся.

– Так ты думаешь, без некоторого привирания в этом деле не обойтись?

– Никак не обойтись, детка.

– Но ведь при этом ставишь себя в идиотское положение.

Ленц осклабился.

– Заруби себе на носу, малыш: никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах не покажется женщине идиотом тот, кто усердствует ради нее. Даже если он ведет себя как шут горо-

ховый. Делай что хочешь – стой на голове, неси околесицу, хвастай, как павиан, пой у нее под окнами, избегай только одного – не будь деловым! Не будь умником!

Я оживился.

– А ты как думаешь, Отто?

Кестер рассмеялся.

– Пожалуй, он прав.

Кестер встал и открыл капот «Карла». Я достал бутылку рома и еще один стакан и поставил все это на стол.

Отто запустил мотор, заурчавший сдержанным басом. Ленц смотрел в окно, взгромоздив ноги на подоконник. Я подсел к нему.

– Ты когда-нибудь напивался в присутствии женщины?

– И не раз, – ответил он не шевелясь.

– Ну и как?

Он скосил на меня глаза.

– Ты хочешь сказать, как быть, если наломал при этом дровишек? Только не извиняться, детка. Вообще никаких слов. Послать цветы. Без записки. Одни цветы. Они все покрывают. Даже могилы.

Я посмотрел на него. Он был неподвижен. В его глазах отражались сверкающие огоньки. Мотор все еще работал, тихо урча; казалось, под нами подрагивает земля.

– Что ж, теперь, пожалуй, и я бы выпил, – сказал я, откупоривая бутылку.

Кестер выключил мотор. Потом обратился к Ленцу:

– Луна светит достаточно ярко, чтобы увидеть стакан, Готфрид. Так что выключи иллюминацию. Особенно этот косой прожектор на «форде». Слишком уж напоминает войну. Бывало не до шуток, когда эти твари вцепятся в твой самолет.

Ленц согласно кивнул:

– А мне они напоминают... Впрочем, это не важно. – Он встал и выключил фары.

Тем временем луна над фабрикой поднялась еще выше. Она становилась все ярче и уже походила на желтый фонарь, висящий на сучке сливы. Ветви дерева слабо покачивались на тихом ветру.

– Люди ведут себя странно, – сказал немного погодя Ленц, – ставят памятники себе подобным. А почему бы не поставить памятник луне или цветущему дереву?

Я рано ушел домой. Открыв дверь в коридор, услышал музыку. Играл патефон Эрны Бениг, секретарши. Тихо пел чистый женский голос. Потом приглушенно защебетали скрипки, за ними – пиццикато на банджо. И снова тот же голос, проникновенный, мягкий, словно переполненный счастьем. Я прислушался, стараясь разобрать слова. То, что пела эта женщина, звучало необыкновенно трогательно именно здесь, в полутемном коридоре, между швейной машинкой фрау Бендер и чемоданами семейства Хассе.

Я глядел на чучело кабаньей головы над кухонной дверью. Было слышно, как за ней гремит посудой служанка. «И как могла я жить без тебя?...» – доносилось из-за другой двери, двумя шагами дальше.

Пожав плечами, я направился к своей комнате.

Рядом раздавались возбужденные крики. Вскоре послышался стук в дверь и вошел Хассе.

– Не помешаю? – спросил он устало.

– Ничуть, – ответил я. – Не желаете ли рюмочку?

– Лучше не надо. Посижу только немного.

Взгляд у него был пустой и потухший.

– Хорошо вам, – сказал он. – Вы-то один.

– Ерунда, – возразил я. – Когда торчишь целыми днями один как сыч, это тоже, знаете ли, не сахар. Уж вы мне поверьте.

Он понуро сидел в кресле. Глаза стеклянно поблескивали в неверном свете фонарей за окном. Узкие плечи поникли...

– Да, не так я себе представлял жизнь, не так, – сказал он немного погодя.

– Ну, это относится ко всем нам, – ответил я.

Через полчаса он ушел – налаживать отношения с женой. Я отдал ему кипу газет и полбутылки ликера «Кюрасао», с незапамятных времен пылившегося у меня на шкафу, – неприятная сладковатая дрянь, но для него как раз то, что нужно. Он все равно ничего не смыслил в этом.

Хассе удалился тихо, почти беззвучно, тень тенью – словно растворился. Я запер за ним дверь. На мгновение – будто кто взмахнул пестрым платком – в комнату ворвались обрывки музыки: приглушенные звуки скрипки, банджо, «И как я жить могла без тебя?...»

Я сел к окну. Кладбище было залито голубым лунным светом. Сверкающие буквы реклам скакали по верхушкам деревьев, а внизу во тьме мерцали мраморные надгробия. В их безмолвии не было ничего страшного. Близко-близко от них, сигналя, проносились автомобили, скользя светом фар по стертым от времени строкам эпитафий.

Я просидел так довольно долго, думая о всякой всячине. Среди прочего и о том, какими мы тогда вернулись с войны – молодыми, но уже изверившимися, как шахтеры из обвалившейся шахты. Мы хотели сражаться с ложью, себялюбием, бессердечием, корыстью – со всем тем, что было повинно в нашем прошлом, что сделало нас черствыми, жесткими, лишило всякой веры, кроме веры в локоть товарища и в то, что нас никогда не обманывало, – в небо, табак, деревья, хлеб, землю; но что из всего этого вышло? Все рушилось на глазах, предавалось забвению, извращалось. А тому, кто хранил верность памяти, выпадали на долю бессилие, отчаяние, равнодушие и алкоголь. Время великих и смелых мечтаний миновало. Торжествовали деляги, коррупция, нищета.

«Хорошо вам, вы-то один», – сказал Хассе. Звучит превосходно: кто одинок, тот не будет покинут. Но иногда вечерами рушился этот карточный домик, и жизнь оборачивалась мелодией совсем иной – преследующей рыданиями, взметающей дикие вихри тоски, желаний, недовольства, надежды – надежды вырваться из этой одуряющей бессмыслицы, из бессмысленного кручения этой вечной шарманки, вырваться безразлично куда. Ах, эта жалкая наша потребность в толике теплоты; две руки да склонившееся к тебе лицо – это ли, оно ли? Или тоже обман, а стало быть, отступление и бегство? Есть ли на свете что-нибудь, кроме одиночества?

Я закрыл окно. Нет, ничего другого нет. Для другого у человека слишком мало почвы под ногами.

* * *

Все же на следующее утро я вышел из дома чуть свет и по дороге в мастерскую немилосердным грохотом вытащил из постели владельца цветочной лавки. Я выбрал букет роз и велел его немедленно отослать по адресу. Мной владело странное чувство, когда я выводил на карточке слова: Патриция Хольман.

V

Надев свой самый старый костюм, Кестер уехал в финансовое управление добиваться, чтобы нам снизили налог. Мы остались в мастерской вдвоем с Ленцем.

– Ну, Готфрид, вперед, – сказал я, – в атаку на этого толстяка по имени «кадиллак».

Накануне вечером было напечатано наше объявление. Стало быть, уже сегодня можно было рассчитывать на покупателей – если они вообще появятся. Нужно было подготовить машину.

Для начала мы освежили полировку. Машина засверкала и выглядела уже на добрую сотню марок дороже. Затем мы залили в мотор масло, самое густое, какое только нашлось. Цилиндры были уже не самого первого класса и немного стучали. Густой смазкой удалось это сгладить, машина скользила на удивление бесшумно. Коробку скоростей и дифференциал мы также залили погуще, чтобы и они не издавали ни звука.

Потом мы выехали. Поблизости был кусок очень плохой дороги. Мы прошли по нему со скоростью пятьдесят километров. Шасси постукивали. Мы выпустили четверть атмосферы из баллонов и сделали еще одну попытку. Стало получше. Тогда мы выпустили еще столько же. Теперь уже ничего не болталось.

Мы вернулись, смазали поскрипывавший капот, проложили его кое-где резиной, залили в радиатор горячей воды, чтобы мотор запускался порезвее, потом еще опрыскали машину снизу керосиновым распылителем, чтобы она и там блестела. После всего этого Готфрид Ленц воздел руки к небу:

– Приди же, благословенный покупатель! Приди, любезный бумажничконосец! Взыскуем тебя, что жених невесту!

Однако невеста заставляла себя ждать. Поэтому мы вкатили на яму булочникову стальную лошадку и стали снимать переднюю ось. Долго возились с ней, скупно перебрасываясь словами. Потом я услышал, как Юпп у бензоколонки насвистывает песенку: «Глянь-ка, глянь-ка, кто идет...»

Я выбрался из ямы и посмотрел через стекло кабины. Вокруг «кадиллака» бродил какой-то коренастый коротыш. Выглядел он как уважаемый буржуа.

– Взгляни-ка, Готфрид, – прошептал я, – не невеста ли?

– Ясное дело, она, – удостоверившись, сразу же сказал Ленц. – Морда-то, морда-то одна чего стоит. Какое на ней написано недоверие! А ведь он еще не знает, с кем ему иметь дело. Вперед, Робби, в атаку! Я останусь здесь как резерв. Выдвинусь, если не сладишь. Не забывай о моих приемчиках!

– Ладно.

Я вышел во двор. Незнакомец встретил меня взглядом пронизательных черных глаз. Я представился:

– Локамп.

– Блюменталь.

Первый приемчик Ленца состоял в том, чтобы представиться. Он утверждал, что так сразу возникает более интимная атмосфера. Второй заключался в том, чтобы начать издали, дать выговориться клиенту, потом перейти в атаку самому уже в самый подходящий момент.

– Вы по поводу «кадиллака», господин Блюменталь? – спросил я.

Блюменталь кивнул.

– Вот он, – сказал я, указывая на машину.

– Вижу, – возразил Блюменталь.

Я скользнул по нему взглядом. «Внимание! – пронеслось у меня в мозгу. – Малый непрост!»

Мы прошли через двор к «кадиллаку», я открыл дверцу, запустил мотор. Помолчал, давая Блюменталю время для осмотра. Наверняка он начнет что-нибудь критиковать, вот тогда-то я и включусь.

Однако Блюменталь ничего не осматривал и не критиковал. Он тоже молчал и стоял истукан истуканом. Мне не оставалось ничего другого, как пуститься в плавание на авось.

И я стал медленно и подробно описывать «кадиллак», как мать своего ребенка, пытаюсь выяснить при этом, насколько он разбирается в деле. Если он знаток, нужно больше внимания уделить мотору и шасси, нет – расписывать удобства и финтифлюшки.

Но он и тут ничем себя не выдал. Он предоставил мне возможность говорить и говорить, пока я сам не почувствовал, что скоро из меня выйдет весь пар.

– А для чего именно нужна вам машина? Для поездок по городу? Или для дальних путешествий? – спросил я наконец, чтобы хоть за что-нибудь зацепиться.

– Там видно будет, – отвечал Блюменталь.

– Так-так! А кто будет ездить – вы сами или шофер?

– Смотря по обстоятельствам.

«Смотря по обстоятельствам». Этот тип выдавал ответы как попугай. Он, как видно, принадлежал к ордену молчаливых.

Чтобы как-то расшевелить его, я предложил ему пощупать все своими руками. Обычно это делает покупателей общительнее. Я боялся, что он у меня заснет.

– Верх для такой большой машины поднимается и опускается с необыкновенной легкостью, – сказал я. – Попробуйте сами его опустить. Справитесь одной рукой.

Но Блюменталь посчитал и это излишним. Он и так все видит. Я с силой захлопывал дверцы, дергал ручки.

– Видите, ничего не болтается. Держится, как налоги. Проверьте сами.

Блюменталь не желал ничего проверять. Он находил все это в порядке вещей. Чертовски твердый орешек.

Я продемонстрировал ему боковые стекла.

– Ходят вверх и вниз, как игрушка. Закрепляются на любом уровне.

Он не повел и бровью.

– К тому же стекло небьющееся, – добавил я, начиная отчаиваться. – Неоценимое преимущество! Вот тут у нас в мастерской один «форд»... – И я рассказал про несчастную жену булочника и даже приукрасил эту историю, отправив на тот свет еще и ребенка.

Однако душа у Блюменталья была неуязвима, как сейф.

– Небьющееся стекло теперь во всех машинах, – прервал он меня, – в этом нет ничего особенного.

– Ни в одной машине серийного производства нет небьющегося стекла, – возразил я мягко, но решительно. – Лишь в некоторых моделях оно используется как лобовое стекло. Но ни в коем случае как боковое.

Я посигналил и перешел к описанию комфортабельного интерьера – багажника, сидений, карманов, приборной панели; я не упустил ни единой детали, даже вынул и протянул Блюменталю зажигалку, а заодно предложил ему сигарету, чтобы хоть как-то его переубедить, – но он отклонил и это.

– Не курю, спасибо, – проговорил он, посмотрев на меня с такой скукой, что у меня вдруг зародилось подозрение: а к нам ли он вообще шел, может, он тут по ошибке, может, он хотел купить что-то другое, какую-нибудь машину для пришивания пуговиц или радиоаппарат, а теперь вот мнется и не знает, как ему смыться?

– Давайте сделаем пробную поездку, господин Блюменталь, – предложил я наконец, чувствуя себя уже на последнем издыхании.

– Поездку? – переспросил он с таким недоумением, будто я произнес слово «поезд».

– Да, поездку. Надо же вам удостовериться в том, что машина многое может. Она просто стелется по дороге, мчит как по рельсам. Мотор тянет так, словно это не тяжелый кабриолет, а пуховая перина.

– Ох уж эти пробные поездки, – пренебрежительно махнул он рукой, – они ничего не показывают. Все недостатки машины выплывают потом.

Ну разумеется, потом, дьявол ты чугуноголовый, или ты думаешь, я буду тыкать тебя носом в эти недостатки уже теперь? Я закипал от злости.

– Ну, на нет и суда нет, – сказал я, потеряв надежду. Покупать он не хотел, это было ясно.

Но тут он вдруг обернулся и, глядя мне прямо в глаза, тихим голосом, но резко и быстро спросил:

– Сколько стоит машина?

– Семь тысяч марок, – не моргнув глазом ответил я, словно выстрелил из пистолета. Такому, как он, нельзя выказывать и малейшую нерешительность, это я знал. Каждая секунда колебаний обошлась бы в тысячу марок, уж он бы ее выторговал. – Семь тысяч марок чистыми, – повторил я твердым голосом, а про себя подумал: «Предложишь пять – и она твоя».

Однако Блюменталь не предлагал ничего. Он только коротко фыркнул.

– Слишком дорого!

– Ну конечно! – сказал я, прощаясь с последней надеждой.

– Почему «конечно»? – неожиданно спросил Блюменталь с ноткой живого интереса.

– Господин Блюменталь, – ответствовал я, – разве вы встречали в наши дни человека, который реагировал бы на цены иначе?

Он внимательно посмотрел на меня. На лице его мелькнуло что-то вроде улыбки.

– Это верно. И тем не менее цена машины слишком высока.

Я не верил своим ушам. Наконец-то прорезался истинный тон! Тон азартного интереса! Или то был очередной коварный маневр?

В это мгновение в воротах показался какой-то элегантный щеголь. Он вынул из кармана газету, еще раз сличил с ней номер дома и направился ко мне.

– Здесь ли продается «кадиллак»?

Я кивнул и, опешив, уставился на бамбуковую трость и кожаные перчатки пижона.

– Могу я взглянуть на него? – невозмутимо продолжал тот.

– Вот он, – сказал я, – но не будете ли вы так любезны немного подождать, я сейчас занят. Прошу вас, пройдите пока в помещение.

Щеголь некоторое время прислушивался к шуму мотора, придавая своему лицу сначала недовольное, потом все более одобрительное выражение, и наконец дал увести себя в мастерскую.

– Идиот! – зашипел я на него и поспешил вернуться к Блюменталю. – Стоит вам проехаться разок на машине, и вы иначе станете относиться к цене. Можете испытывать ее сколько пожелаете. Если вам сейчас некогда, то я могу заехать за вами вечером, и мы совершим пробную поездку.

Но его мимолетный порыв уже улетучился. Блюменталь снова принял позу по меньшей мере президента певческой ассоциации, изваянного из гранита.

– Ах, оставьте, – сказал он. – Мне пора идти. Если я захочу предпринять пробный выезд, то я ведь смогу позвонить вам.

Я понял, что дальнейшие усилия пока бесполезны. Этого не уговоришь.

– Хорошо, – сказал я. – Но может быть, вы дадите мне свой телефон, чтобы я мог известить вас, если кто-нибудь еще будет интересоваться машиной?

Блюменталь как-то странно посмотрел на меня.

– Интересоваться – еще не значит покупать.

Он вытащил коробку с сигарами и предложил мне. Вдруг выяснилось, что он курит. И даже «Корону» – денег у него, видно, куры не клюют. Но мне это было уже безразлично. Сигару я взял. Он любезно подал мне руку на прощание и ушел. Я смотрел ему вслед, тихо, но основательно чертыхаясь. Потом вернулся в мастерскую.

– Ну как? – встретил меня щеголь по имени Готфрид Ленц. – Каково я все это проделал? Смотрел, смотрел, как ты надрываешься, и решил пособить. Благо Отто, переодевшись, оставил тут свой шикарный костюм! Мигом влезаю в него, выпрыгиваю в окошко и заявляюсь во двор, как заправский покупатель! Ловко, а?

– Бездарно и глупо! – возразил я. – Он хитрее нас с тобой, вместе взятых. Взгляни, какие он курит сигары. Полторы марки штука! Ты спугнул миллиардера.

Готфрид отнял у меня сигару, обнюхал ее и зажег.

– Если я кого и спугнул, то мошенника. Миллиардеры не курят таких сигар. Они курят грошовые.

– Чушь, – сказал я. – Мошенник не станет называть себя Блюменталем. Мошенник представится графом Блюменау или что-нибудь в этом духе.

– Он вернется, – заявил не унывающий, как всегда, Ленц и выдохнул мне в лицо дым моей же сигары.

– Этот не вернется, – сказал я убежденно. – Но где это ты раздобыл бамбуковую трость и перчатки?

– Одолжил. В магазине «Бенн и Ко». У меня там знакомая продавщица. Трость я, пожалуй, себе оставляю. Она мне нравится. – И он с самодовольным видом стал крутить в воздухе толстую палку.

– Готфрид, – сказал я. – Здесь ты гробишь свои таланты. Знаешь что? Шел бы ты в варьете. Вот где тебе место.

– Вам звонили, – сказала Фрида, косоглазая служанка фрау Залевски, когда я днем забежал на минутку домой.

Я обернулся к ней.

– Когда?

– Да с полчаса назад. Какая-то дама.

– И что она сказала?

– Что позвонит еще вечером. Ну так я ей прямо сказала, что толку не будет, что вечерами вас дома не бывает.

Я остолбенел.

– Что? Вы так и сказали? О Господи, научат вас когда-нибудь разговаривать по телефону?

– Я умею разговаривать по телефону, – с напыщенным достоинством произнесла Фрида. – А по вечерам вас дома действительно почти никогда не бывает.

– Не ваше дело! – в сердцах крикнул я. – В другой раз вы еще расскажете, что у меня носки дырявые.

– Могу рассказать и про это, – обдала меня ядом Фрида, зыркнув красноватыми, воспаленными глазами. Мы давно с ней враждовали.

У меня чесались руки ткнуть ее физиономией в кастрюлю с супом, но вместо этого, совладав с собой, я сунул ей марку и спросил примирительным тоном:

– Эта дама не назвала себя?

– Не-а, – ответила Фрида.

– А голос у нее какой? Такой глуховатый и низкий, вроде как слегка охрипший, да?

– Да не помню я, – сказала Фрида с таким равнодушием, будто я и не давал ей марки.

– Какое миленькое у вас колечко, право, восхитительное, – вставил я. – Ну подумайте хорошенько, может, все-таки вспомните, а?

– Не-а, – ответила Фрида, пыша самодовольным злорадством.

– Ну так пойди и повесься, метелка чертова! – выпалил я и хлопнул дверью.

Вечером, ровно в шесть, я был уже дома. Когда я отпер дверь, то застал необычную картину. В коридоре вокруг фрау Бендер, ясельной сестрички, столпились все женщины нашей квартиры.

– Идите-ка сюда, – позвала меня фрау Залевски.

Причиной сборища был весь увитый лентами полугодовалый младенец. Фрау Бендер привезла его из своего пансиона в коляске. Ребенок был самый обыкновенный, но дамы тетешкали его с таким безумным восторгом, будто это было первое дитя, появившееся на белый свет. Они и ворковали, и щелкали пальцами над личиком маленького существа, и делали губы бантиком. Даже Эрна Бениг в своем кимоно с драконами принимала участие в этой оргии платонического изъяснения материнства.

– Ну разве не прелесть? – спросила меня фрау Залевски с умилением.

– Об этом можно будет судить лет через двадцать – тридцать, – ответил я и покосился на телефон. Оставалось надеяться, что он не зазвонит сейчас, когда тут такое столпотворение.

– Да вы посмотрите на него хорошенько, – призвала меня фрау Хассе.

Я посмотрел. Младенец как младенец. Ничего особенного в нем я не обнаружил. Разве что поразительно крохотные ручки. И потом, конечно, это странное чувство – что и сам ты был когда-то таким.

– Несчастный червячок, – сказал я, – знал бы он, что ему предстоит. На какую войну он поспеет – вот что интересно.

– Экий чурбан! – воскликнула фрау Залевски. – Неужели у вас нет никаких чувств?

– Напротив, их у меня превеликое множество, – возразил я. – Иначе у меня не было бы таких мыслей. – С этими словами я ретировался в свою комнату.

Минут через десять раздался телефонный звонок. Услыхав свое имя, я вышел. Так и есть, все общество еще здесь! Не шелохнулось оно и тогда, когда я, прижав трубку к уху, стал слушать, как Патриция Хольман своим характерным голосом благодарит меня за цветы. В эту минуту младенец, у которого ума, вероятно, было больше, чем у всех остальных, и которому надоело это обезьянье кривлянье, внезапно начал реветь.

– Простите, я ничего не слышу, – отчаянным голосом сказал я в трубку, – тут вопит младенец, но это не мой.

Чтобы успокоить орущее существо, дамы зашипели, как клубок змей. Но достигли только того, что он заорал еще пуще. Лишь теперь я догадался, что ребенок был и впрямь необыкновенный: легкие у него, должно быть, доставали до бедер, иначе как объяснить, откуда такой оглушительный голос. Я был в затруднительном положении: глазами метал молнии в скопление непутевых мамаш, ртом лепетал что-то любезное в трубку – от темени и до носа я был воплощением грозы, от носа до подбородка – сияющим майским полднем. Чудо, как это в таких обстоятельствах мне удалось договориться о встрече на следующий вечер.

– Вам надо установить здесь звуконепроницаемую телефонную будку, – сказал я хозяйке. Но она была не из тех, кто лезет за словом в карман.

– Что так? – спросила она, сверкая глазами. – Неужели приходится так много скрывать?

Я промолчал и стушевался. С возбужденными материнскими чувствами не поспоришь. За них горой стоит мораль всего мира.

На вечер у нас была назначена встреча у Готфрида. Перекусив в небольшой забегаловке, я пошел к нему. По дороге купил в одном из самых изысканных магазинов мужской одежды

роскошный новый галстук. Я все еще был потрясен тем, как легко все налаживалось, и дал себе обет быть завтра серьезным, как директор похоронной конторы.

Логово Готфрида было своего рода достопримечательностью. Оно было сплошь увешано сувенирами, привезенными из странствий по Южной Америке. На стенах пестрые соломенные циновки, маски, высушенный человеческий череп, глиняные кувшины причудливых форм, копья и главное сокровище – великолепные фотографии, занимавшие целую стену: индианки и креолки, красивые, шоколадные, податливые зверьки, необычайно грациозные и небрежные.

Кроме Ленца и Кестера, там были еще Браумюллер и Грау. Тео Браумюллер, примостившись на валике дивана и выставив обгоревшую на солнце медную плешь, с воодушевлением разглядывал Готфридовы фотографии. Он был шофером-испытателем на одном автозаводе и с давних пор дружил с Кестером. Шестого он примет участие в тех самых гонках, на которые Отто заявил нашего «Карла».

Фердинанд Грау сидел за столом обвалившейся глыбой, он был заметно пьян. Увидев меня, он простер свою огромную лапищу и притянул меня к себе.

– Робби, – сказал он хрипло, – ты-то что делаешь среди нас, пропавших? Что ты здесь потерял? Уходи, спасайся. Ты еще можешь спастись!

Я посмотрел на Ленца. Тот подмигнул мне.

– Фердинанд сильно на взводе. Он уже второй день пропивает одну дорогую покойницу. Продал портрет и сразу получил деньги.

Фердинанд Грау был художником. При этом, однако, он давно умер бы от голода, если бы не специализировался на портретах усопших, которые он по заказу скорбящих родственников писал с невероятным сходством. Этим он жил – и даже весьма неплохо. А его замечательные пейзажи никто не покупал. Оттого-то в его разговорах преобладала пессимистическая тональность.

– На сей раз трактирщик, Робби, – сказал он, – трактирщик, у которого померла тетка с капиталом, помещенным в уксус и масло. – Он передернулся. – Жуть!

– Послушай, Фердинанд, – заметил Ленц, – зачем ты бранишься? Ты ведь кормишься одним из самых прекрасных человеческих свойств – почтительностью.

– Глупости, – возразил Фердинанд, – я кормлюсь чувством вины. Человек чувствует себя виноватым перед ближним – вот и вся почтительность. Хочет оправдаться за то, что причинил или хотел причинить покойнику при его жизни. – Он не спеша погладил свою сверкающую лысину. – Нетрудно себе представить, сколько раз трактирщик желал своей тетке, чтоб она сдохла, – зато теперь он заказывает ее портрет самых нежных тонов и вешает его над диваном. Теперь он души в ней не чает. Почтительность! Человек вспоминает о скудном запасе своих добродетелей тогда, когда уже поздно. И приходит в умиление, думая о том, каким он мог быть благородным, и считает себя воплощенной порядочностью. Порядочность, доброта, благопристойность... – Он махнул своей огромной ручищей. – Все это хорошо у других – тогда легче водить их за нос.

Ленц ухмыльнулся:

– Ты сотрясаешь устои людского общежития, Фердинанд!

– Устои людского общежития – это корысть, страх и продажность, – парировал Грау. – Человек зол, но любит добро, когда его делают другие. – Он протянул свой стакан Ленцу. – Ну вот, налей-ка мне теперь и кончай травить весь вечер баланду, а то ты никому не даешь сказать ни словечка.

Я перелез через диван поближе к Кестеру. Меня вдруг осенила одна идея.

– Ты должен выручить меня, Отто. Завтра вечером мне нужен «кадиллак».

Браумюллер оторвался от усердного изучения достоинств одной скудно одетой танцовщицы-креолки.

– А ты что, уже научился поворачивать? – поинтересовался он. – До сих пор я думал, что ты умеешь ездить только по прямой, да и то если кто-нибудь другой держит баранку.

– Помалкивай, Тео, – ответил я, – шестого числа на гонках мы из тебя сделаем котлету. Браумюллер захлебнулся от хохота.

– Ну так как, Отто? – спросил я, весь напрягшись.

– Машина не застрахована, Робби, – сказал Кестер.

– Я буду ползти, как улитка, и дудеть, как автобус в деревне. Да и всей езды-то будет несколько километров по городу.

От улыбки глаза Отто превратились в узенькие щелки.

– Ладно, Робби, я не против.

– Не к новому ли галстуку понадобилась тебе машина? – спросил подошедший Ленц.

– Заткнись! – сказал я, пытаюсь отодвинуть его в сторону.

Но он не отставал.

– Ну-ка, ну-ка, детка! Дай поглядеть!

Он пощупал пальцами шелк.

– Блеск! Наше дитя в роли жиголо. Да ты никак собрался на смотрины невесты?

– Отстань, ты, гений перевоплощения. Сегодня тебе не удастся меня разозлить, – сказал я.

– На смотрины? – поднял голову Фердинанд Грау. – А почему бы ему и не присмотреть себе невесту? – Он явно оживился и повернулся ко мне. – Действуй, Робби. У тебя еще есть все для этого. То бишь наивность. А именно она-то и надобна для любви. Храни ее. Она дар Божий. Утратив – не вернешь никогда.

– Не слишком-то развешивай уши, малыш, – хмыкнул Ленц. – Помни: дураком родиться – это еще не позор. Зато дураком умереть...

– Помолчи, Готфрид. – Грау сгреб его своей ручищей. – Не о тебе ведь речь, ты, обозный романтик. Тебя не жалко.

– Ну-ну, интересно послушать, – сказал Ленц. – Давай уж, облегчи душу признанием.

– Ты пустозвон, – заявил Грау, – пустозвон и краснобай.

– Как и все мы, – ухмыльнулся Ленц. – Ведь мы живем иллюзиями и долгами.

– Истинно так, – сказал Грау, оглядывая нас всех по очереди из-под своих кустистых бровей. – Иллюзии достались нам от прошлого, а долги идут в счет будущего. – Затем он снова обратился ко мне: – Я говорил о наивности, Робби. Только завистники называют ее глупостью. Не обижайся на них. Наивность – это дар, а не недостаток.

Ленц хотел было что-то вставить, но Фердинанд не дал ему говорить.

– Ты ведь понимаешь, что я имею в виду. Простую душу, еще не изглоданную скепсисом и всей этой интеллигентской заумью. Парцифаль был простофиля. Будь он умником, не добрался бы ему до Святого Грааля. В жизни побеждают люди не мудрствующие, все же прочие видят слишком много препятствий и теряют уверенность, не успев ничего начать. В трудные времена такая простота – неоценимое благо, она как палочка-выручалочка спасает от опасностей, которые прямо-таки засасывают умника!

Он сделал глоток и посмотрел на меня своими огромными голубыми глазами, этими осколками неба на иссеченном морщинами лице.

– Не надо гоняться за избыточным знанием, Робби! Чем меньше знаешь, тем проще жить. Знания делают человека свободным, но и несчастным... Так что давай-ка выпьем с тобой за простоту, наивность и за все, что из нее вытекает, – за любовь, веру в будущее, мечты о счастье; за ее величество глупость, за потерянный рай...

Внезапно он отключился и снова ушел в себя и свое опьянение, возвышаясь над всеми массивной громадой, словно одинокий холм неприступной тоски. Человек он был конченный, и он знал, что ему уже не подняться. Обитал он в своей просторной мастерской, сожительствова

с экономкой. Это была властная, грубая женщина, а Грау, напротив, несмотря на свое могучее тело, был впечатлителен и нестоек. Он никак не мог порвать с ней, да ему, видно, все было безразлично. Как-никак сорок два стукнуло.

И хотя я понимал, что виной всему опьянение, все же наблюдать его в такой неприкаянности было и странно, и тяжело, и даже слегка неприятно. С нами он бывал не часто, все больше пил в одиночку у себя в мастерской. А эта дорожка быстро идет по наклонной.

По лицу его промелькнула улыбка. Он сунул мне в руку стакан.

– Пей, Робби. И спасайся. Помни о том, что я тебе сказал.

– Хорошо, Фердинанд.

Ленц завел патефон. У него была куча пластинок с негритянскими песнями, и некоторые из них он поставил сегодня – о Миссисипи, о собирателях хлопка, о знойных ночах на берегах голубых тропических рек.

VI

Патриция Хольман жила в большом желтом доме-коробке, отделенном от проезжей части улицы узкой полоской газона. У подъезда стоял фонарь. Я остановил «кадиллак» прямо под ним. В неверном свете фонаря машина походила на мощного слона, кожа которого отливала жирным черным глянцем.

Я продолжил усовершенствования своего гардероба: помимо галстука, купил еще перчатки и шляпу, кроме того, на мне было пальто Ленца – великолепное серое пальто из тонкого шотландского твида. Таким оснащением я хотел развеять воспоминания о нашем первом пьяном вечере.

Я посигналил. Сразу же, подобно ракете, загорелись окна всех пяти этажей лестничной клетки. Загудел лифт. Я следил за ним, как за волшебной бадьей, спускающейся с неба. Патриция Хольман открыла дверь и легко сбегала по ступенькам. На ней была короткая бежевая куртка, отороченная мехом, и узкая коричневая юбка.

– Хэлло! – Она протянула мне руку. – Я так рада куда-нибудь выбраться. Весь день просидела дома.

Мне понравилось ее рукопожатие – более сильное, чем можно было ожидать. Ненавижу людей, вяло сующих свою ладошку, как дохлую рыбу.

– Что же вы сразу мне не сказали, что весь день сидите дома? Я бы заехал за вами еще днем.

– Разве у вас так много времени?

– Не могу этого сказать. Но я бы освободился.

Она сделала глубокий вдох.

– Какой чудесный воздух! Пахнет весной.

– Если хотите, мы можем дышать воздухом сколько угодно, – сказал я, – можем поехать за город, в лес, на природу, я на всякий случай прихватил с собой машину. – При этом я с такой небрежностью показал на «кадиллак», будто это был какой-нибудь развалюха «форд».

– «Кадиллак»? – Она посмотрела на меня с изумлением. – Ваш собственный?

– Сегодня вечером да. А вообще-то он принадлежит нашей мастерской. Мы немало с ним повозились и теперь надеемся сорвать немалый куш.

Я открыл дверцу.

– Не поехать ли нам сначала в «Лозу» и поужинать? Как вы думаете?

– Поужинать было бы неплохо, но почему непременно в «Лозе»?

Я был несколько озадачен. Ведь «Лоза» – это единственный приличный ресторан из тех, что я знал.

– По правде говоря, – сказал я, – я не знаю ничего лучшего. Кроме того, мне казалось, что «кадиллак» нас к чему-то обязывает.

Она рассмеялась.

– В «Лозе» наверняка чопорная, скучная публика. Нет, лучше в другое место!

Я растерялся. Грезы о респектабельности рассеивались, как дым.

– Тогда предложите что-нибудь вы, – сказал я. – Заведения, которые посещаю я, все как на подбор простецкого пошиба. Они не для вас.

– Почему вы так решили?

– Так мне кажется...

Она быстро взглянула на меня.

– Давайте все же попробуем.

– Хорошо. – Я решил круто изменить программу. – Раз вы не из пугливых, то у меня есть кое-что на примете. Едем к Альфонсу.

– Альфонс – это уже звучит! – сказала она. – И вряд ли меня сегодня что-нибудь испугает.

– Альфонс – хозяин пивной, – сказал я. – Большой друг Ленца.

Она засмеялась.

– Похоже, у Ленца повсюду друзья?

Я кивнул:

– Он легко их заводит. Вы ведь видели, как это было с Биндингом.

– Да, Бог свидетель, – заметила она. – Подружились они молниеносно.

Мы поехали.

Альфонс был увалень и флегматик. Выпирающие скулы. Маленькие глаза. Закатанные рукава рубашки. Руки как у гориллы. Он самолично вышвыривал из своего заведения всякого, кто приходился ему не по вкусу. Даже членов патриотического спортивного общества. Для особо трудных случаев он держал молоток под стойкой. Пивная была расположена очень удобно – рядом с больницей, так что на транспорт тратиться не приходилось.

Он вытер светлый еловый стол своей волосатой лапой.

– Пиво? – спросил он.

– Водки и чего-нибудь на закуску, – сказал я.

– А для дамы? – спросил Альфонс.

– Дама тоже желает водки, – сказала Патриция Хольман.

– Крепко, весьма, – промолвил Альфонс. – Есть свиные ребрышки с кислой капустой.

– Свиныю сам заколол? – спросил я.

– Натурально.

– Но даме надо бы предложить чего-нибудь полегче, Альфонс.

– Вы шутите, – возразил Альфонс. – Сначала взгляните на мои ребрышки.

Он велел кельнеру показать нам порцию.

– Великолепный был свинтус, – сказал он. – С медалями. Два первых приза.

– Ну кто ж тогда устоит? – заявила, к моему удивлению, Патриция Хольман уверенным тоном постоянной посетительницы этого кабака.

– Стало быть, две порции? – подмигнув, спросил Альфонс.

Она кивнула.

– Прекрасно! Пойду выберу сам.

Он отправился на кухню.

– Беру назад свои слова, – сказал я, – я напрасно сомневался, что вас можно вести сюда. Вы мгновенно покорили Альфонса. Сам выбирает блюда он только для завсегдатаев.

Альфонс вернулся.

– Добавил вам еще колбасы.

– Неплохая идея, – сказал я.

Альфонс к нам явно благоволил. Немедленно явилась водка. И три стопки. Одна – для Альфонса.

– Что ж, будем здоровы! – сказал он. – За то, чтобы наши дети заимели богатых родителей.

Мы выпили залпом. Девушка не пригубила водку, а выпила, как и мы.

– Крепко, весьма, – заметил Альфонс и прокосолапил к стойке.

– Вам понравилась водка? – спросил я.

Она покачала головой:

– Крепковата, конечно. Но уж надо было держать марку перед Альфонсом.

Ребрышки были что надо. Я съел две большие порции, да и Патриция Хольман преуспела значительно больше, чем я мог предположить. Мне страшно нравилась ее манера держаться по-свойски, чувствовать себя запросто и в пивнушке. Без всякого жеманства она выпила и вторую

стопку с Альфонсом. Тот незаметно подмигивал мне в знак одобрения. А он был знаток. Не столько в вопросах красоты или там культуры, но в главном – в том, чего человек стоил как таковой.

– Если вам повезет, вы узнаете и слабую струнку Альфонса, – сказал я.

– Охотно, – сказала она. – Да только похоже, что слабостей у него нет.

– Есть! – Я показал на столик рядом со стойкой. – Вот она!

– Что именно? Патефон?

– Нет, не патефон. Хоровое пение! У него слабость к хоровому пению. Он не признает ни легкой, ни классической музыки, только хоры – мужские, смешанные, всякие. Вон та куча пластинок – это сплошные хоры. А вот и он сам.

– Как вам ребрышки? – спросил Альфонс, подходя.

– Выше всяких похвал! – воскликнул я.

– А даме тоже понравились?

– В жизни не ела ничего подобного, – смело заявила дама.

Альфонс удовлетворенно кивнул.

– А сейчас заведу вам свою новую пластинку. Удивлю, так сказать!

Он направился к патефону. Игла зашипела, и вслед затем могучий мужской хор грянул «Лесное молчание». Чертовски громкое то было молчание.

С первого же такта в пивной воцарилась мертвая тишина. Не разделить вместе с Альфонсом его благоговения – значило пробудить в нем зверя. Он стоял за стойкой, уперевшись в нее волосатыми руками. Под воздействием музыки лицо его преобразилось. Оно стало мечтательным – насколько может быть мечтательным лицо человека, похожего на гориллу. Хоровое пение имело необъяснимое воздействие на Альфонса. Он делался трепетнее лани. Он мог весь отдаться кулачной сваре, но стоило вступить звукам мужского хора – и у него как по мановению волшебной палочки сами собой опускались руки; он затихал, прислушиваясь, и был готов к примирению. В прежние времена, когда он был более вспыльчив, жена всегда держала наготове пластинки, которые он особенно любил. В минуту крайней опасности, когда он выскакивал из-за стойки с молотком, она быстренько опускала иглу на пластинку – и Альфонс опускал молоток, прислушивался, успокаивался. С тех пор надобность в этом исчезла – и жена умерла, оставив вместо себя портрет над стойкой, подарок Грау, за что художник всегда имел здесь даровой столик; да и сам Альфонс с годами поостыл и угомонился.

Пластинка кончилась. Альфонс подошел к нам.

– Чудо как хорошо, – сказал я.

– Особенно первый тенор, – добавила Патриция Хольман.

– Верно, – впервые оживился Альфонс, – о, вы знаете в этом толк! Первый тенор – это самый высокий класс!

Мы простились с ним.

– Привет Готфриду, – сказал он. – Пусть он как-нибудь заглянет.

Мы стояли на улице. Фонари перед домом разбрасывали беспокойные блики по сплетенным ветвям старого дерева. Они уже покрылись зеленоватым легким пушком, и все дерево благодаря неясной, мреющей подсветке казалось мощнее и величественнее, его крона словно пронзала тьму – как гигантская рука, в неодолимой тоске простертая в небо.

Патриция Хольман слегка поежилась.

– Вам холодно? – спросил я.

Передернув плечами, она спрятала руки в рукава меховой куртки.

– Ничего, пройдет. Просто в помещении было довольно жарко.

– Вы слишком легко одеты, – сказал я. – Вечерами еще холодно.

Она покачала головой:

– Не люблю одежду, которая много весит. Кроме того, мне хочется, чтобы поскорее наступило тепло. Не выношу холод. Особенно в городе.

– В машине тепло, – сказал я. – Там у меня и плед припасен на всякий случай.

Я помог ей забраться в машину и укрыл пледом ее колени. Она подтянула плед повыше.

– Ой, как хорошо. Ой, как чудесно! А то холод навевает мрачные мысли.

– Не только холод. – Я сел за руль. – Покатаемся?

Она кивнула:

– С удовольствием.

– Куда поедем?

– Просто так, не торопясь, по улицам. Все равно куда.

– Отлично.

Я запустил мотор, и мы поехали по городу – медленно и бесцельно. Был тот час вечера, когда движение становится особенно оживленным. Мы скользили в нем почти бесшумно, настолько тих был мотор. Наш «кадиллак» напоминал парусник, безмолвно плывший по пестрым каналам жизни. Мимо проносились улицы, освещенные подъезды и окна, тянулись ряды фонарей – подслащенная, прельстительная вечерняя суতোлка бытия, нежная лихорадка иллюминированной ночи; а над всем этим, над острыми крыш – стальной купол неба, вбиравший, втягивавший в себя огни города.

Девушка сидела молча рядом со мной, по ее лицу пробежали отраженные стеклами блики. Изредка я взглядывал на нее, она снова казалась мне такой, какой я увидел ее в первый вечер. Ее посерьезневшее лицо выглядело теперь более отчужденным, чем за ужином, но оно было очень красивым – это было то самое лицо, которое меня тогда так взволновало, что лишило потом покоя. Мне чудилось, будто в нем есть что-то от той таинственной тишины, что присуща природе – деревьям, облакам, животным, а иногда и женщинам.

Мы выбрались на более тихие улицы предместья. Ветер усилился. Казалось, он гонит ночь перед собой. Я остановил машину на большой площади, вокруг которой спали маленькие дома в маленьких палисадниках.

Патриция Хольман потянулась, словно бы просыпаясь.

– Это было чудесно, – сказала она немного погодя. – Если б у меня была машина, я бы каждый вечер ездила так по улицам. В этом медленном и бесшумном скольжении есть что-то от сна или сказки. И в то же время все это явь. И тогда никаких людей вроде бы и не надо по вечерам...

Я вынул пачку сигарет из кармана.

– А вообще-то ведь надо, чтоб вечерами кто-нибудь был рядом, не так ли?

– Да, вечерами – конечно, – согласилась она. – Странное это чувство – когда наступает темнота.

Я вскрыл пачку.

– Это американские сигареты. Они вам нравятся?

– И даже больше других.

Я дал ей огня. На мгновение теплый и краткий свет спички осветил ее лицо и мои руки, и мне вдруг пришла в голову шальная мысль, будто мы с ней давным-давно неразлучны.

Я опустил стекло, чтобы вытягивало дым.

– Хотите немного поводить? – спросил я. – Наверняка это доставит вам удовольствие.

Она повернулась ко мне.

– Конечно, хочу, но ведь я совсем не умею.

– В самом деле?

– Нет. Я никогда не училась.

Я узрел в этом свой шанс.

– Биндинг давно бы мог показать вам, как это делается, – сказал я.

Она рассмеялась.

– Биндинг слишком влюблен в свою машину. Он никого к ней не подпускает.

– Ну, это чистая глупость, – не упустил я случая уколоть толстяка. – Я вот запросто посажу вас за руль. Давайте попробуем.

Легко позабыв про Кестера с его предостережениями, я вылез из «кадиллака», уступая ей руль.

– Но я действительно не умею, – сказала она, волнуясь.

– Неправда, – возразил я. – Умеете. Только не знаете этого.

Я показал ей, как действуют коробка скоростей и сцепление.

– Вот и все, очень просто. А теперь вперед!

– Подождите! – Она показала на одинокий автобус, медленно пробиравшийся по улице. – Давайте сначала пропустим!

– Ни в коем случае! – Я быстро включил скорость и сцепление.

Она судорожно вцепилась в руль, напряженно вглядываясь в улицу.

– О Боже, мы едем слишком быстро!

Я посмотрел на спидометр.

– Вы едете сейчас со скоростью ровно двадцать пять километров в час. На самом деле – не больше двадцати. Неплохой темп для стайера.

– А мне кажется, что не меньше восьмидесяти.

Через несколько минут первоначальный страх исчез.

Мы ехали вниз по широкой прямой дороге. «Кадиллак» слегка петлял, словно вместо бензина в баке у него был коньяк, да несколько раз едва не потерял шинами о бортик тротуара. Но постепенно дело наладилось, приняв тот самый оборот, которого я желал: неожиданно мы превратились в учителя и ученицу, и я пользовался преимуществами своего положения.

– Внимание – полицейский! – сказал я.

– Остановиться?

– Слишком поздно.

– А что будет, если меня остановят? Ведь у меня нет водительских прав.

– Нас обоих посадят в тюрьму.

– Господи, какой ужас! – От страха она стала тыкаться ногой в тормоз.

– Газ! – крикнул я. – Нажмите на газ! Еще! Мы должны промчаться гордо и смело. Дерзость – лучшее средство борьбы против закона.

Полицейский не обратил на нас ни малейшего внимания. Девушка облегченно вздохнула.

– До сих пор я не знала, что обыкновенный регулировщик может походить на огнедышащего дракона, – сказала она, когда мы отъехали от него на несколько сот метров.

– Он превратится в дракона, если на него наехать. – Я медленно нажал на тормоз. – Вот тут у нас замечательная пустынная улица, на нее и свернем – поупражняемся в свое удовольствие. Сперва поучимся трогаться с места и останавливаться.

Трогаясь, Патриция несколько раз глушила мотор. Она расстегнула меховую куртку.

– Уф! Становится жарко! Но я должна научиться!

Она сидела за баранкой с видом старательной ученицы и внимательно следила за моими объяснениями. Потом она сделала несколько первых поворотов, сопровождая их воплями ужаса и возгласами ликования; встречных машин, их бьющих фар она дьявольски пугалась, зато и бурно радовалась, когда удавалось с ними разминуться. Вскоре в маленьком, скудно освещенном приборами пространстве возникла доверительная товарищеская атмосфера, какая всегда возникает между людьми, занятыми техническим или иным совместным делом, и когда через полчаса мы поменялись местами и я поехал назад, мы были значительно ближе друг другу, чем после любого, сколь угодно пространного рассказа о собственной жизни.

Недалеко от Николайштрассе я опять остановил машину. Прямо над нами сверкали пурпуром огни кинорекламы. Асфальт под ней отливал матовым линялым красным цветом.

У самой кромки асфальта блестело жирное маслянистое пятно.

– Ну вот, – сказал я, – теперь мы честно заслужили по стаканчику. Где бы нам это сделать? Патриция Хольман на минутку задумалась.

– А почему бы нам не пойти опять в этот симпатичный бар с парусниками? – предложила затем она.

Меня мигом пронзила тревога. Можно было дать голову на отсечение, что сейчас там сидит последний романтик. Я уже представлял себе, какое он сделает лицо...

– Ну что вы, – быстро сказал я, – это не бог весть что. Есть места куда более приятные...

– Не знаю, не знаю... Мне там в прошлый раз очень понравилось.

– В самом деле? – спросил я озадаченно. – Вам в прошлый раз понравилось?

– Да, – сказала она улыбаясь. – Даже очень.

«Вот тебе на! – подумал я. – А я-то казнил из-за того вечера...»

– Боюсь, в это время там полно народа, – сделал я еще одну попытку.

– Так давайте посмотрим.

– Давайте.

Я обдумывал, как мне быть. Когда мы подъехали к бару, я быстро выскочил из машины.

– Я только взгляну и сразу вернусь.

В баре знакомых не было, кроме одного Валентина.

– Послушай, – обратился я к нему. – Готфрид был здесь?

Валентин кивнул:

– Да, вместе с Отто. Ушли с полчаса назад.

– Жаль, – сказал я, облегченно вздыхая. – Жаль, что я их не застал. – Я вернулся к машине. – Рискнем, – заявил я. – По счастью, тут сегодня вполне сносно.

Однако «кадиллак» я на всякий случай поставил за углом, в темном месте.

Но не прошло и десяти минут, как соломенная грива Ленца всплыла у стойки. «Проклятие! – подумал я. – Все же нарвался! Лучше бы это произошло через несколько недель».

Готфрид, кажется, был не намерен задерживаться. Я уж подумал было, что все обойдется, как заметил, что Валентин показывает ему на меня. Вот мне и наказание за мою ложь. Лицо Ленца, когда он нас увидел, нужно было бы демонстрировать начинающим киноактерам – трудно было бы найти более поучительный материал. Глаза его округлились и выпучились, как желтки глазуньи, а челюсть грозила вот-вот отвалиться. Жаль, в баре в этот миг не нашлось режиссера, я уверен, что он немедленно заключил бы с Ленцем контракт, заняв его, например, в эпизоде, когда перед потерпевшим кораблекрушение матросом предстает чудовищный спрут.

Впрочем, Готфрид быстро овладел собой. Я взглядом умолял его исчезнуть. В ответ он подленько ухмыльнулся, оправил пиджак и подошел к нам.

Я знал, что мне предстоит, и поэтому первым пошел в атаку.

– Ты уже проводил фройляйн Бомблатт? – спросил я, чтобы выбить его из седла.

– Да, конечно, – спокойно ответил он, ничем не выдав, что еще секунду назад ничего не знал о существовании упомянутой фройляйн. – Она передает тебе привет и просит, чтобы ты позвонил ей завтра пораньше.

Контрудар был неплох. Я кивнул:

– Позвоню. Бог даст, она все же купит машину.

Ленц снова открыл было рот, но я ударил его по ноге и посмотрел на него такими глазами, что он, ухмыльнувшись, осекся.

Мы выпили по несколько рюмок. Я пил только коктейль с большим количеством лимона. Не хотелось снова опростоволоситься.

Готфрид пришел в отличное расположение духа.

– Только что был у тебя, – сказал он. – Думал зазвать тебя на ярмарку. Там великолепная новая карусель. Может, сходим, а? – Он посмотрел на Патрицию Хольман.

– Конечно! – воскликнула она. – Больше всего на свете люблю карусели!

– Тогда выезжаем немедленно, – сказал я. Я был рад выбраться на улицу. Там все было как-то проще.

Шарманщики – на передовых постах аттракционов. Меланхолические, нежно жужжащие звуки. На истертой бархотке там и сям попугай или зябнущая обезьянка в красном суконном жилете. Пронзительно зазывные голоса торговцев самым разным товаром – фарфоровым клеем, алмазами для резки стекла, турецким медом, воздушными шарами, отрезами на костюмы. Острый запах карбидных ламп, испускающих голубое свечение. Гадалки, астрологи, ларьки с марципанами, лодки-качалки, увеселительные павильоны. А вот наконец и сама карусель с ее оглушительной музыкой, пестротой, огнями крутящихся башен, освещенных как дворцы.

– Ребята, вперед! – И Ленц с развевающимися волосами бросился к «американским горкам». Здесь был самый большой оркестр. Перед каждым пуском из позолоченных ниш выходили шесть фанфаристов, поворачивались во все стороны, трубили как оглашенные и, взмахнув инструментами, исчезали. Зрелище было грандиозное.

Мы уселись в большую лодку с лебедем на носу и понеслись вперед, так что только ветер свистел. Мир искрился и скользил, он раскачивался в разные стороны и вдруг нырял в темный туннель, который мы проскакивали под барабанный бой, чтобы через секунду вновь вынырнуть в шумном и бушующем море огней.

– Еще! – Готфрид устремился к летающей карусели с гондолами в виде дирижаблей и самолетов. Мы взобрались в цеппелин и сделали на нем три круга.

С трудом переводя дух, мы очутились опять на земле.

– А теперь на чертово колесо! – бросил клич Ленц.

Чертовым колесом назывался большой и гладкий, несколько выпуклый к середине диск, который вращался с нарастающей скоростью и на котором надо было удержаться дольше всех. Он отбивал немыслимую чечетку, и ему аплодировали. В конце концов он остался на кругу вдвоем с какой-то поварихой, у которой был зад как у ломовой лошади. Чем эта хитрюга и воспользовалась: когда удерживаться на ногах стало совсем уже невозможно, она просто плюхнулась задом на середину, а Готфрид приплясывал вокруг нее. Всех прочих давно уже разметало в разные стороны. Но вот судьба настигла и последнего романтика, он рухнул в объятия поварихи, и они кубарем скатились на землю. К нам он подошел, ведя ее под руку и называя просто Линой. В ответ Лина смущенно улыбалась. Он спросил ее, не желает ли она чего-нибудь съесть или выпить, и она заявила, что пиво хорошо утоляет жажду. После чего оба исчезли в палатке.

– А куда же пойдем мы? – спросила с горящими глазами Патриция Хольман.

– В лабиринт привидений, – сказал я, указывая на большой павильон.

Путь, проложенный по лабиринту, был полон неожиданностей. Они начались уже через несколько шагов: вдруг зашатался пол, чьи-то руки стали ощупывать нас в темноте, по углам то и дело мелькали страшные рожи, завывали привидения, мы, конечно, только посмеивались, но в один момент, когда перед нами в зеленоватом освещении внезапно возник череп, девушка резко отпрянула назад, на миг оказавшись в моих объятиях. Кожей лица я ощутил ее дыхание, губами – ее волосы, но она тут же рассмеялась, и я отпустил ее.

Я отпустил ее, но что-то во мне этого не желало. Мы давно уже вышли из лабиринта, а я все еще чувствовал прикосновение ее плеча, ее мягких волос, чувствовал тонкий персиковый запах ее кожи...

Я избегал смотреть на нее – все стало как-то совсем по-другому...

Ленц нас поджидал. Он был один.

– А где же Лина? – спросил я.

– Хлобыщет пиво, – кивнул он в сторону тента. – С каким-то кузнецом.

– Приношу свои соболезнования.

– А, чепуха, – заметил Готфрид. – Давай-ка лучше займемся самым что ни на есть мужским делом.

Мы пошли в павильон, где можно было выиграть всякую всячину, набрасывая резиновые кольца на железные крюки.

– Так, – сказал Ленц, обращаясь к Патриции Хольман, – сейчас мы вам соберем целое приданое.

Он бросил первым и выиграл будильник. За ним и я урвал плюшевого медведя. Владелец аттракциона вручил нам и то и другое с громкими, деланно восторженными восклицаниями, рассчитывая привлечь новых клиентов.

– Сейчас ты у меня уймешься, – хмыкнул Готфрид и овладел сковородкой. Я добыл еще одного мишку.

– Надо же, какая пруха, – только и крикнул хозяин, передавая нам вещи.

Он еще не знал, что его ожидало. Ленц лучше всех в нашей роте метал гранату, а зимой, когда нечего было делать, мы, бывало, месяцами упражнялись в набрасывании шляпы на разные крючья. Так что тутошнее испытание было для нас детской забавой. Готфрид легко завладел своим следующим призом – хрустальной вазой. Я – полдюжиной граммофонных пластинок. Хозяин молча сунул их нам и стал проверять свои крючья на прочность.

Ленц прицелился, бросил – и выиграл кофейный сервиз, второй приз. Тем временем вокруг нас собралась толпа зевак. Я в темпе набросил три кольца подряд на один и тот же крюк. Наградой стала кающаяся Магдалина в золоченой раме.

Хозяин павильона, скроив такую гримасу, будто он сидел в кресле у зубного врача, отказался выдать нам новые кольца. Мы не стали возражать, но тут зрители устроили настоящий скандал. Они стали требовать, чтобы он не мешал нам куражиться дальше. Они жаждали видеть, как он разорится дотла. Больше всех шумела Лина, снова появившаяся вместе со своим кузнецом.

– Стало быть, как мимо бросать, так это можно, да? А попадать, стало быть, нельзя?

Кузнец одобрял ее, раздувая мехи своего баса.

– Так и быть, – сказал хозяин. – Пусть каждый бросит еще по разу.

Я бросил первым. Тазик для умывания с кувшином и мыльницей. Потом настала очередь Ленца. Он взял пять колец. Четыре из них он со скоростью автомата накинуд на один и тот же крюк. Перед тем как бросить пятое, он сделал нарочитую паузу и достал сигарету. Трое мужчин бросились к нему с зажигалками. Кузнец похлопал его по плечу. Лина от волнения жевала платочек. Потом Ленц прищурился и расслабленно, чтобы не было амортизации, кинул пятое кольцо поверх предыдущих. Кольцо осталось висеть. Раздался оглушительный рев. Ленц оторвал главный приз – детскую коляску с кружевными подушками и розовым одеяльцем.

Хозяин, чертыхаясь, выкатил нам коляску. Мы погрузили в нее все остальные трофеи и двинулись к следующему павильону. Лина везла коляску. Кузнец отпуская по этому поводу такие шуточки, что я предпочел несколько отстать от них с Патрицией Хольман. В следующем павильоне кольца нужно было набрасывать на бутылки с вином. Попало кольцо на бутылку – она твоя. Мы добыли шесть бутылок. Ленц взглянул на этикетки и подарил их кузнецу.

Был и еще один подобный павильон. Но его владелец вовремя учуял опасность и при нашем приближении павильон закрыл. Кузнец хотел было затеять свару, он знал, что здесь в качестве призов разыгрывались бутылки пива. Но мы отказались от этой идеи: у хозяина аттракциона была только одна рука.

В сопровождении целой толпы мы добрались до «кадиллака».

– Что будем делать? – спросил Ленц, почесывая затылок. – Привяжем коляску к машине?

– Давай, – согласился я. – Но тебе придется сесть в нее и править, чтобы она не перевернулась.

Патриция Хольман запротестовала. Она боялась, что Ленц и впрямь отколет такой номер.

– Что ж, – сказал Готфрид, – тогда придется рассортировать добычу. Обоих мишек вы непременно должны взять себе. Пластинки тоже. А как насчет сковородки?

– В таком случае она перейдет во владение мастерской, – заявил Готфрид. – Забери ее, Робби, как старый специалист по яичницам. А кофейный сервиз?

Патриция кивнула в сторону Лины. Повариха покраснела. Готфрид вручил ей, будто приз, кофейные причиндалы. Потом он извлек из коляски керамический тазик.

– А эту посудину кому? Господину соседу, не так ли? В твоём деле эта штукавина пригодится. Как и будильник. Кузнецы спят, как медведи.

Я протянул Готфриду цветочную вазу. Он и ее вручил Лине. Она, заикаясь, стала отказываться. Она не сводила глаз с кающейся Магдалины. Она полагала, что если ваза достанется ей, то картина – кузнецу.

– Обожаю искусство, – выдохнула она, от волнения и алчности обкусывая ногти на своих красных пальцах.

– Милостивая сударыня, – с наивозможной галантностью обратился Ленц к Патриции Хольман, – что вы на это скажете?

Патриция Хольман взяла картину и отдала ее поварихе.

– Вещь действительно очень красивая, Лина, – с улыбкой сказала она.

– Повесь над кроватью и услаждай свое сердце, – добавил Ленц.

Лина обеими руками схватила картину. Глаза ее увлажнились; от переизбытка благодарности ее поразила икота.

– А теперь ты, – задумчиво, с чувством произнес Ленц, обращаясь к детской коляске. Глаза Лины, ошарашенной, казалось бы, Магдалиной, вновь загорелись жадностью. Кузнец заметил, что, мол, никому не дано знать, когда ему понадобится такая штука, и так расхохотался своему замечанию, что даже выронил бутылку с вином.

Но Ленц шутку не поддержал.

– Постойте-ка, я тут кое-что вспомнил, – сказал он и исчез. Через несколько минут он прибежал за коляской и куда-то ее укатил. – Все в ажуре! – бросил он нам, вернувшись.

Мы сели в «кадиллак».

– Ну, это просто как Рождество! – воскликнула счастливым голосом Лина и, освободив от обильных подарков свою красную лапу, протянула ее нам на прощание.

Кузнец еще успел отозвать нас в сторонку.

– Значит, так, ребята, – сказал он, – если вам понадобится кого-нибудь вздуть, то я живу по Лейбништрассе, шестнадцать, задний двор, второй этаж, левая дверь. А если их будет несколько, то я прихвачу с собой товарищей по кузнечному молоту.

– Заметано! – дружно ответили мы и уехали.

Когда мы немного отъехали и свернули за угол, Готфрид указал нам на окно машины. Мы увидели нашу коляску, а в ней настоящего младенца. Коляску осматривала бледная женщина, еще явно не оправившаяся от потрясения.

– Неплохо, а? – воскликнул Готфрид.

– Отдайте ей и мишек! – сказала Патриция Хольман. – Уж все вместе!

– Одного, может быть? – сказал Ленц. – А второго оставьте себе.

– Нет-нет, обоих!

– Ладно. – Ленц выскочил из машины, сунул обе плюшевые игрушки женщине в руки и, не дав ей опомниться, пустился наутек так, будто его преследовали. – Ну вот, – сказал он, запыхавшись, – теперь меня просто мутит от моего благородства. Высадите меня около «Интернационаля». Я обязан пропустить рюмочку коньяка.

Он вылез из машины, а я отвез Патрицию Хольман домой. Все было иначе, чем в прошлый раз. Она стояла в дверях и в колеблющихся отсветах фонаря была очень красива. Как мне хотелось пойти с ней!

– Спокойной ночи, – сказал я, – и приятных сновидений.

– Спокойной ночи.

Я смотрел ей вслед, пока не погас свет на лестнице. Потом сел в «кадиллак» и уехал. Чувствовал я себя странно. Вовсе не так, как бывало, когда влюбленный провожал домой девушку. Теперь было куда больше нежности в этом чувстве, нежности и желания отдаться чему-то полностью. Отдаться, забыться...

Я поехал к Ленцу в «Интернациональ». Там было почти пусто. В одном углу сидела Фрицци со своим дружкой Алоисом. Они о чем-то спорили. Готфрид устроился с Мими и Валли на диване у стойки. Он был мил и любезен с обеими, даже с этой несчастной старенькой Мими.

Девушки вскоре ушли. Им было пора на дело, теперь наступало самое время. Мими кричала и вздыхала, сетуя на больные вены. Я подсел к Готфриду.

– Ну, поливай, не церемонься, – сказал я.

– Зачем же, детка? – возразил он, к моему удивлению. – Ты все делаешь правильно.

Мне уже стало легче оттого, что он так просто ко всему отнесся.

– Мог бы и раньше намекнуть, – сказал я.

– Чепуха! – отмахнулся он.

Я заказал себе ром.

– А знаешь, – сказал я, – я ведь даже понятия не имею, кто она, чем занимается. И в каких отношениях с Биндингом. Он-то, кстати, не говорил тебе тогда ничего?

Он посмотрел на меня:

– А что, тебя это разве заботит?

– Да нет...

– Вот и я думаю. Между прочим, пальто тебе очень идет.

Я покраснел.

– И нечего тебе краснеть. Ты прав во всем. Я бы и сам так хотел – если б мог...

Я немного помолчал, а потом спросил:

– Что ты имеешь в виду, Готфрид?

– А то, что все остальное – дерьмо, Робби. То, что в наше время ничего нет стоящего. Вспомни, что тебе вчера говорил Фердинанд. Не так уж не прав этот старый толстый некрофил-малеватель. Ну да хватит об этом... Сядь-ка лучше на этот ящик да сыграй парочку-другую старых солдатских песен.

Я сыграл «Три лилии» и «Аргоннский лес». Здесь, в пустом кафе, эти мелодии наших былых времен возникли как призраки.

VII

Дня через два Кестер выбежал из мастерской.

– Робби, звонил твой Блюменталь! Он ждет тебя в одиннадцать с «кадиллаком». Хочет сделать пробную езду.

Я швырнул на землю гаечный ключ.

– Черт возьми, Отто, неужели клюет?

– А что я вам говорил? – раздался из-под «форда» голос Ленца. – Он явится снова – вот что я вам говорил. Готфрида надо слушать!

– Кончай трепаться, дело серьезное! – крикнул я ему под машину. – Отто, сколько я могу ему уступить? Предельно?

– Предельно – две тысячи. Сверхпредельно – две тысячи двести. Упрется – две пятьсот. Если увидишь, что перед тобой сумасшедший, – две шестьсот. Но уж тогда скажи ему, что мы будем век его проклинять.

– Ладно.

Мы надраили машину до блеска. Я сел за руль. Кестер положил мне руку на плечо.

– Робби, не посрами свою солдатскую доблесть. Отстаивай честь нашей мастерской до последней капли крови. Умри стоя и положи руку на бумажник Блюменталья.

– Будет исполнено, – улыбнулся я.

Ленц нашарил в кармане медаль и сунул ее мне под нос.

– Дотронься до моего амулета, Робби!

– Изволь. – Я взялся за амулет.

– Абракадабра, великий шива, – в тоне молитвы произнес Готфрид, – благослови этого рохлю, надели его мужеством и силой! Подержись вот здесь, а еще лучше – возьми его с собой! Да, еще плюнь три раза.

– Все будет в порядке, – сказал я, плюнул ему под ноги и, оставив позади возбужденно махавшего мне бензиновым шлангом Юппа, выехал за ворота.

По дороге я купил несколько гвоздик и непринужденно расставил их по хрустальным вазочкам в салоне. Расчет был на фрау Блюменталь.

К сожалению, Блюменталь принял меня в конторе, а не на своей квартире. Мне пришлось подождать с четверть часа. «Ах ты, милашка, – подумал я, – этот трюк мне известен, так что не раскисну, не надейся». В приемной, заручившись расположением смазливой стенографистки, которую подкупил вынутой из петлицы гвоздикой, я выведал, с кем имею дело. Трикотаж, сбыт хороший, девять человек занято только в конторе, надежный компаньон, острейшая конкуренция со стороны фирмы «Майер и сын», Майеров сын разъезжает в красном двухместном «эссексе» – такие сведения я собрал к тому моменту, когда Блюменталь меня позвал.

Начал он с артподготовки.

– Молодой человек, – молвил он, – у меня мало времени. Цена, которую вы мне недавно назвали, – ваша несбыточная мечта. Итак, положи руку на сердце, сколько стоит машина?

– Семь тысяч, – заявил я.

Он резко откинулся.

– Тогда нам не о чем говорить.

– Господин Блюменталь, – сказал я, – да вы хоть взгляните еще раз на машину...

– Незачем, – прервал он меня, – я достаточно на нее посмотрелся, к тому же совсем недавно...

– Но смотреть ведь можно по-разному, – заявил я. – Вам нужно взглянуть на детали. Лакировка, к примеру, первоклассная, фирма «Фолль и Рурбек», двести пятьдесят марок по

себестоимости; затем новые резиновые покрышки, каталожная цена шестьсот марок. Вот вам уже восемьсот пятьдесят. Далее – обивка из тончайшего корда...

Он от меня отмахнулся. Но я как ни в чем не бывало начал свою песню сначала. Призвал его осмотреть роскошный инструментарий, превосходный кожаный верх, хромированный радиатор, сработанные по последнему слову бамперы – шестьдесят марок пара; как младенца к матери, меня влекло к моему «кадиллаку», и, тоскуя по нему, я пытался увлечь за собой Блюменталья. Я знал, что при соприкосновении с ним у меня, как у Антея, коснувшегося земли, появятся новые силы. Абстрактный жупел цены не так страшен перед лицом конкретного товара.

Но и Блюменталь не хуже моего знал, что за письменным столом он сильнее. Он, как перед рукопашной, снял очки и взялся за меня по-настоящему. Мы сражались, как тигр с удавом. Удавом был Блюменталь. Не успел я оглянуться, как он уже оттяпал у меня полторы тысячи марок.

Дух мой слабел. Я сунул руку в карман и крепко сжал амулет Готфрида.

– Господин Блюменталь, – сказал я, весьма утомленный, – уже час, видимо, вам пора обедать! – Во что бы то ни стало я хотел вырваться из этого логова, в котором цены тают, как снег.

– Я обедаю в два, – хладнокровно заявил Блюменталь, – но знаете что? Мы могли бы теперь проехаться для пробы.

Я облегченно вздохнул.

– А затем продолжим наши переговоры, – добавил он.

Я снова вздохнул свободнее.

Мы поехали к нему на квартиру. В машине его словно подменили, что немало меня удивило. В самом добродушном тоне он рассказал мне бородатый анекдот об императоре Франце-Иосифе. Я отплатил ему таким же о трамвайном кондукторе; тогда он поведал о злключениях саксонца в сумасшедшем доме, я в ответ – о шотландской любовной парочке; и только перед самым его домом мы снова посерьезнели. Он просил меня подождать, пока сходит за женой.

– Дорогой мой толстый «кадиллак», – произнес я, похлопывая машину по радиатору, – ясно, что эти рассказы скрывают новые чертовы козни. Но не волнуйся, тебя мы пристроим. Он тебя купит, уж это точно: когда еврей возвращается, то он покупает. Когда возвращается христианин, это еще далеко ничего не значит. Он проделает дюжину пробных поездок, чтобы сэкономить на извозчике, а потом вдруг вспомнит, что ведь, в сущности говоря, мебель для кухни ему нужнее. Нет-нет, евреи – добрые люди, они знают, чего хотят. Но клянусь тебе, мой милый толстячок: если я уступлю сему прямому потомку браннолюбивого Иуды Маккавейского еще хотя бы сотню, то я до конца моей жизни не возьму в рот ни капли шнапса.

Появилась фрау Блюменталь. Я немедленно вспомнил о советах Ленца и превратился из борца в кавалера. Сам Блюменталь, глядя на это, лишь подленько ухмыльнулся. Этот субъект был из железа. Ему бы торговать паровозами, а не трикотажем.

Я устроил так, чтобы он сидел сзади, а его жена рядом со мной.

– Куда прикажете отвезти вас, сударыня? – лстивым голосом спросил я.

– Куда хотите, – ответила она с материнской улыбкой.

Я болтал без умолку – какое все же блаженство иметь дело с простодушным человеком. Говорил я так тихо, что Блюменталь мог слышать только обрывки фраз. Так я чувствовал себя свободнее. Хотя его присутствие я ощущал и спиной, и оно на меня давило.

Мы остановились. Я вылез из машины и твердо посмотрел своему противнику в глаза.

– Вы должны признать, господин Блюменталь, что машина идет как по маслу.

– Да уж какое там масло, молодой человек, – возразил он до странности дружелюбно, – когда человека пожирают налоги. А вы еще лупите кругленький налог за машину. Я вам говорю.

– Господин Блюменталь, – сказал я, стараясь не сбиться с тона, – это не налог, это издержки. Вы деловой человек, и поэтому я говорю с вами откровенно. Скажите сами, чего требует в наши дни дело? Вы ведь и сами знаете – не капитала, как прежде, а кредита, вот чего! А как заполучить кредит? Рецепт известен: по одежке встречают. «Кадиллак» – это и солидно, и элегантно, вполне уютно, но не старомодно. «Кадиллак» – это воплощение буржуазного здравого смысла, это живая реклама для фирмы.

– Каков юноша. Ну чистое дело еврейский колган, а? – обратился к жене повеселевший Блюменталь. – Ах, молодой человек, – сказал он затем, – чтоб вы знали: лучшая реклама для солидного заведения в наше время – это поношенный костюм и проездной на автобус. Если б у нас с вами были деньги тех людей, которые не тратятся на все эти шикарные, сверкающие до ряби в глазах машины, то нам с вами больше не о чем было бы беспокоиться. Я вам говорю. По секрету.

Я недоверчиво взглянул на него. Что значит этот внезапный дружеский тон? Может, присутствие жены сдерживает его боевой пыл? Пожалуй, пора давать решающий залп.

– Во всяком случае, такой «кадиллак» не сравнишь с каким-нибудь «эссексом», не правда ли, сударыня? Это уж пусть сыночек Майера развезжает на таком драндулете, а я бы и задаром не взял такую дрянь кричаще-красного цвета...

Я услышал, как Блюменталь хмыкнул, и поторопился продолжить:

– А этот цвет, сударыня, вам необычайно идет, приглушенный кобальт для блондинки...

Блюменталь прыснул, и лицо его напомнило дергающиеся обезьяньи рожи.

– Насчет Майера – это не слабо, – простонал он. – А там уж пошла эта глупая лесть...

Вот именно, лесть!

Я взглянул на него и не поверил своим глазам: в нем больше не было никакого притворства! И я стал изо всех сил давить на ту же педаль.

– Позвольте мне внести кое-какие уточнения, господин Блюменталь. Для женщины лесть никогда не является лестью. Но – комплиментами, которые в наш жалкий век, увы, стали редкостью. Ведь женщина – не стальная конструкция, а цветок, и не деловитость ей нужна, а теплая нега лести. Лучше каждый день говорить ей какие-нибудь милые пустяки, чем всю жизнь работать на нее с маниакальным занудством. Это я вам говорю. И тоже по секрету. К тому же я не льстил, а лишь припомнил классический закон физики, согласно которому синий цвет всегда идет блондинкам.

– Узнаю льва по его когтям! – сказал Блюменталь сияя. – Послушайте, господин Локамп! Я знаю, что мог бы выторговать у вас еще тысячу марок...

Я так и отпрянул, подумав, что вот он, этот долгожданный дьявольский удар. Я уже представил себе, как буду влачить жизнь угрюмого абстинента, и глазами измученной лани взглянул на фразу Блюменталь.

– Но, отец... – сказала она.

– Оставь, мать, – перебил он. – Итак, я мог бы выторговать еще, но не стану. Мне как деловому человеку доставляло удовольствие наблюдать за вашей работой. Пожалуй, фантазии пока еще многовато, но вот номер с Майерами был удачен. Ваша мать не еврейка ли?

– Нет.

– Вам доводилось работать в магазине готового платья?

– Да.

– Ну вот видите, отсюда и стиль. А по какой части?

– По части души, – ответил я. – Собирался стать учителем.

– Господин Локамп, – сказал Блюменталь, – снимаю шляпу! Ежели вдруг останетесь без места, позвоните мне.

Он выписал чек и подал его мне. Я не поверил своим глазам. Уплатил вперед! Не чудо ли?

– Господин Блюменталь, – сказал я сдавленным голосом, – позвольте мне бесплатно приложить к машине две хрустальные пепельницы и первоклассный резиновый коврик.

– Вот и прекрасно, – ответствовал он, – наконец-то дарят что-то и старику Блюменталю. – Вслед за тем он пригласил меня на следующий день поужинать. Фрау Блюменталь одарила меня материнской улыбкой.

– Будет фаршированная щука, – ласково сказала она.

– О, какой деликатес, – заявил я. – В таком случае я завтра же пригоню вам машину. А с утра мы оформим бумаги.

Назад в мастерскую я летел словно ласточка. Но Ленц и Кестер ушли обедать. Я был вынужден сдерживать свой триумф. Только Юпп был на месте.

– Ну как, продали? – спросил он с ухмылкой.

– Все-то тебе надо знать, плутишка, – сказал я. – На-ка тебе талер, построй на него самолет.

– Значит – продали, – ухмыльнулся Юпп.

– Я поеду обедать, – сказал я, – но горе тебе, если скажешь им хоть слово до моего возвращения.

– Господин Локамп, – заверил он меня, подбрасывая в воздух монету, – я буду нем как рыба.

– На нее-то ты и похож, – сказал я и дал газ.

Когда я вернулся, Юпп подал мне знак.

– Что случилось? – спросил я. – Ты проболтался?

– Как можно, господин Локамп! Да только тут этот малый... Ну, насчет «форда»...

Я оставил «кадиллак» во дворе и пошел в мастерскую. Там был и булочник. Склонившись над книгой, он рассматривал образцы красок, на нем было клетчатое пальто с поясом и широким траурным крепом. Рядом с ним была смазливая дамочка с бегающими черными глазками, в расстегнутом пальтишке, отороченном облезлым кроликом, и в лаковых туфельках, которые ей явно жали. Они обсуждали вопрос о том, какого цвета им выбрать лаковое покрытие. Чернявенькая особа была за яркий сурик, однако булочник выдвигал сомнения против красноватых тонов, так как он еще носил траур. Он предлагал блеклую серо-желтую краску.

– Глупости, – капризным голосом говорила чернявенькая, – «форд» должен быть броского цвета, иначе его никто не заметит.

Она бросала на нас заговорщицкие взгляды, пожимала плечами, когда булочник склонялся к образцам, передразнивала его, подмигивала нам. Эдакий живчик! Наконец они сошлись на зеленом, цвета резеды. При этом девушка настаивала на светлом верхе. Но тут уж булочник настоял на своем: надо ведь и траур обозначить. Он выбрал кожаное покрытие черного цвета и был в этом тверд. При этом он между делом слегка нагрел руки, ибо верх он получал бесплатно, а кожа была дороже ткани.

Они ушли. Во дворе, однако, вышла заминка: едва черненькая завидела «кадиллак», как пулей устремилась к нему.

– Ты только посмотри, киса, какая машина! Фантастика! Вот это мне нравится!

В следующее мгновение она уже, открыв дверцу, впорхнула на сиденье и, щурясь от восторга, запричитала:

– Вот это кресла! Колоссально! Как в ложе! Нет, это тебе не «форд»!

– Ну ладно-ладно, пошли, – недовольно проворчал ее киса.

Ленц толкнул меня в бок: мол, действуй, попытайся всучить машину булочнику. Я сверху вниз посмотрел на него и промолчал. Тогда он толкнул меня посильнее, я ответил ему тем же и отвернулся.

Лишь с трудом булочник извлек наконец из машины свое чернявое сокровище и ушел с ней, как-то сгорбившись и осердясь.

Мы посмотрели вслед этой парочке.

– Человек быстрых решений! – сказал я. – Машина отремонтирована, жена новая – нет, каков молодец!

– Ну, с этой он еще напляшется, – сказал Кестер.

Едва они скрылись за поворотом, как Готфрид напустился на меня:

– Ты в своем уме, Робби? Упускать такой шанс! Да ведь это был учебный пример на тему о том, как надо действовать!

– Унтер-офицер Ленц, – возвысил голос я, – грудь колесом, когда разговариваете со старшим по званию! Я, к вашему сведению, не сторонник двоеженства и не стану выдавать машину замуж вторично!

Момент был впечатляющий. Глаза у Готфрида стали как блюдца.

– Не шути так со святыми вещами, – выдавил он из себя.

Не обращая на него больше внимания, я обратился к Кестеру:

– Отто, прощайся с нашим сыночком «кадиллаком»! Он больше не наш. Отныне он украсит собой достославную фирму подштанников! Будем надеяться, он заживет там недурно. Не так героически, как у нас, зато куда более вольготно!

Я вынул чек. Ленц едва удержался на ногах.

– Не может быть! Что? Неужели? Ну, не получено же... – прошептал он хрипло.

– А вы что, птенчики, думали! – сказал я, помахивая чеком. – Угадайте сколько!

– Четыре! – выкрикнул Ленц, закрыв глаза.

– Четыре с половиной, – сказал Кестер.

– Пять! – крикнул Юпп от бензоколонки.

– Пять с половиной! – выпалил я.

Ленц вырвал у меня чек.

– Нет, это невероятно! Нет, по нему наверняка не заплатят!

– Господин Ленц, – сказал я с достоинством, – чек настолько же благонадежен, насколько неблагонадежны вы! Мой друг Блюменталь не затруднится уплатить в двадцать раз больше. Подчеркиваю: мой друг, у которого завтра вечером я ем фаршированную щуку. И да послужит вам это примером! Заключение дружбы, получить деньги вперед и быть приглашенным на ужин – вот что значит уметь продавать! Так-то, а теперь вольно!

Готфрид с трудом приходил в себя. Он сделал последнюю попытку:

– А мое объявление в газете! Мой амулет!

Я сунул ему медаль.

– На, возьми свой собачий жетон. Совсем забыл о нем.

– Сделка безупречная, Робби, – сказал Кестер. – Слава Богу, что мы наконец сбыли нашу телегу. А деньги нам сейчас невероятно кстати.

– Дашь мне пятьдесят марок авансом? – спросил я.

– Сто. Ты их заслужил.

– Не желаешь ли взять в счет аванса и мое серое пальто? – спросил Готфрид, сладко сощурился.

– Не желаешь ли попасть в больницу, несчастный хамоватый ублюдок? – парировал я.

– Парни, закрываем лавочку, на сегодня хватит! – предложил Кестер. – И так заработали за день немало! Нельзя искушать Всевышнего... Поедем на «Карле» за город, потренируемся хоть перед гонками.

Юпп давно уже забыл про свой насос. Волнуясь, он потирал руки.

– Господин Кестер, тогда я, получается, остаюсь здесь за старшего, да?

– Нет, Юпп, – засмеялся Кестер, – не получается. Ты поедешь с нами!

Сначала мы заехали в банк и сдали чек. Ленц никак не мог успокоиться до тех пор, пока не удостоверился, что с чеком все в порядке. А потом мы рванули с места, да так, что из выхлопной трубы посыпались искры.

VIII

Я стоял перед своей хозяйкой.

– Ну, где горит? – спросила фрау Залевски.

– Нигде, – ответил я. – Просто хочу заплатить за квартиру.

До истечения срока оставалось три дня, и фрау Залевски едва не упала от удивления.

– Тут дело нечисто, – высказала она свое подозрение.

– Отнюдь, – возразил я. – Вы позволите мне взять на сегодняшний вечер оба парчовых кресла из вашей гостиной?

Она грозно вперила руки в свои увесистые бока.

– Вот оно что! Вам, значит, больше не нравится ваша комната?

– Нравится. Но ваши парчовые кресла мне нравятся больше.

Я объяснил, что меня, возможно, посетит кузина и поэтому мне хотелось бы несколько украсить свою комнату. Она хохотала так, что грудь ее накатывала на меня, как девятый вал.

– Кузина! – передразнила она меня, вложив в интонацию все свое презрение. – И когда же пожалует ваша кузина?

– Ну, я в этом не совсем уверен, но если она придет, то, конечно, достаточно рано, к ужину. А почему, собственно, не должно быть на свете кузин, фрау Залевски?

– Кузины на свете, конечно, бывают, да только ради них не одалживают кресла.

– А я вот одалживаю, у меня, видите ли, очень развито родственное чувство, – заявил я.

– Как же, как же! На вас это очень похоже! Все вы шатуны. А парчовые кресла можете взять. Свои плюшевые поставьте пока в гостиную.

– Большое спасибо. Завтра я все верну на свои места. И ковер тоже.

– Ковер? – Она повернулась. – Кто здесь сказал хоть слово о ковре?

– Я. Да и вы тоже. Только что.

Она сердито смотрела на меня.

– Так он как бы часть целого, – сказал я. – Ведь кресла стоят на нем.

– Господин Локамп, – заявила фрау Залевски величественным тоном, – не заходите слишком далеко! Умеренность во всем, как говаривал блаженной памяти Залевски. Не худо бы и вам усвоить себе этот девиз.

Я-то знал, что этот девиз не помешал блаженной памяти Залевски однажды в буквальном смысле упиться до смерти. Его жена в иных обстоятельствах сама не раз рассказывала мне об этом. Но ей это было нипочем. Она использовала своего мужа, как другие люди Библию, то есть для цитирования. И чем больше времени проходило со дня его смерти, тем больше изречений она ему приписывала. Теперь он уже – как и Библия – годился на все случаи жизни.

Я приводил свою комнату в божеский вид. Днем я разговаривал с Патрицией Хольман по телефону. До этого она была больна, и я целую неделю не виделся с ней. Теперь же мы условились на восемь, я предложил поужинать у меня, а потом пойти в кино.

Парчовые кресла и ковер производили внушительное впечатление, но освещение портило все. Поэтому я постучал к своим соседям, Хассам, чтобы попросить у них настольную лампу на вечер. Фрау Хассе с усталым видом сидела у окна. Ее супруга еще не было дома. Он по собственной воле задерживался на часик-другой на работе, лишь бы избежать увольнения. Фрау Хассе чем-то напоминала больную птицу. В ее расплывшихся и постаревших чертах все еще проглядывало узкое личико маленькой девочки – разочарованной и печальной.

Я изложил свою просьбу. Несколько оживившись, она вручила мне лампу.

– Подумать только, – сказала она, вздыхая, – ведь и я в свое время...

Эту историю я знал назубок. Она повествовала о том, какие замечательные виды открылись бы перед ней, если бы она не вышла замуж за Хассе. Я знал эту историю и в редакции самого Хассе. Там речь шла о том, какие перед ним открылись бы замечательные виды, если бы он не женился. По-видимому, это была самая банальная история на свете. И самая безнадежная.

Я послушал ее какое-то время, вставив по ходу дела несколько подходящих фраз, и направился к Эрне Бениг за ее патефоном.

Фрау Хассе говорила об Эрне не иначе как об «этой особе, проживающей рядом». Она презирала ее, потому что завидовала. Я же души в ней не чаял. Она не строила себе никаких иллюзий и твердо знала, что нужно постараться урвать хоть немного от того, что у людей называется счастьем. Знала она и то, что за каждую кроху счастья нужно платить вдвое, а то и втридорога. Счастье – это самая неопределенная вещь на свете, которая идет по самой дорогой цене.

Эрна опустила на колени и принялась рыться в чемодане, подбирая мне пластинки.

– Фокстроты хотите? – спросила она.

– Нет, – ответил я, – я не умею танцевать.

Она удивленно воззрилась на меня.

– Не умеете танцевать? Но что же вы делаете, когда ходите вечером развлекаться?

– Устраиваю перепляс в своем горле. Тоже, знаете, получается неплохо.

Она покачала головой:

– Мужчина, не умеющий танцевать? Нет, я такому сразу бы дала от ворот поворот!

– У вас суровые правила, – заметил я. – Но ведь есть же и другие пластинки. Вот недавно у вас играла замечательная – знаете, такой женский голос и что-то вроде гавайской музыки...

– А, это чудо! «И как я жить могла без тебя?...» Эта, да?

– Точно! Кто только придумывает все эти слова! Мне кажется, что авторы этих песенок должны быть последними романтиками на нашей земле.

Она засмеялась.

– Вполне возможно, что так оно и есть. Ведь патефон теперь стал чем-то вроде альбома для посвящений. Раньше писали друг другу стишки в альбом, а теперь дарят пластинки. Если мне хочется вспомнить какой-нибудь эпизод из своей жизни, мне стоит лишь завести пластинку, которую я слушала тогда, и прошлое сразу оживет.

Я перевел взгляд на груды пластинок на полу.

– О, если судить по пластинкам, Эрна, то у вас есть о чем вспомнить.

Она встала с колен и откинула со лба непокорные рыжие волосы.

– Что верно, то верно, – сказала она, отодвигая ногой стопку пластинок. – Но я бы все свои воспоминания отдала за одно – настоящее...

Я вынул все, что закупил к ужину, и приготовил стол как умел. На помощь со стороны кухни рассчитывать не приходилось, отношения с Фридой у меня были слишком неважные. Уж она бы постаралась уронить что-нибудь на пол. Но я справился кое-как и сам, да так, что не мог узнать свою комнату в ее новом блеске. Кресла, лампа, накрытый стол – я чувствовал, как во мне растет беспокойное ожидание.

Я вышел из дома, хотя до условленного времени оставалось еще больше часа. На улице бушевал порывистый ветер, нападавший из-за угла. Фонари были уже зажжены. Сумерки между домами сгустились и посинели, как море. «Интернациональ» плавал в них, как фрегат со спущенными парусами. Я решил заглянуть туда на минутку.

– Гопля, Роберт, – встретила меня Роза.

– А ты что здесь поделываешь? – спросил я. – На дежурство не собираешься?

– Рановато еще.

Алоис словно соткался из воздуха.

– Одинарную? – спросил он.

– Тройную, – ответил я.

– Ого, резво ты начинаешь, – заметила Роза.

– Надо для куражу, – сказал я, опрокидывая ром.

– Сыграешь что-нибудь? – спросила Роза.

Я покачал головой:

– Неохота. Очень уж ветрено. Как твоя малышка?

Она улыбнулась всеми своими золотыми зубами.

– Не звонят, стало быть, все хорошо. Завтра опять к ней поеду. На этой неделе собралась приличная выручка: знать, весна уже задорит вас, старых козлов. Отвезу ей новое пальтишко. Из красной шерсти.

– О, красная шерсть – это последний крик моды, – сказал я.

Роза просияла.

– Какой ты джентльмен, Робби.

– Твоими бы устами да мед пить. Кстати, не выпить ли нам по одной? Тебе ведь анисовую?

Она кивнула. Мы чокнулись.

– Скажи-ка, Роза, а что, собственно, ты думаешь о любви? – спросил я. – Ведь ты в этих делах разбираешься.

Она рассмеялась звонким, раскатистым смехом.

– Ах, перестань, – сказала она, отсмеявшись. – Любовь! Хотя, конечно, и у меня был мой Артур... Как вспомню этого проходимца, так до сих пор чувствую слабость в коленках. Я вот что тебе скажу, Робби, если серьезно: человеческая жизнь слишком длинная для любви. Просто-напросто слишком длинная. Это мне мой Артур объяснил, когда удирал, на прощание. И это верно. Любовь – это чудо. Но для одного из двоих она всегда тянется слишком долго. А другой упрется как бык, и все ни с места. Вот и остается ни с чем – сколько бы ни упирался, хоть до потери пульса.

– Ясно, – сказал я. – Но и без любви человек – все равно что покойник в отпуске.

– А ты сделай как я, – сказала Роза. – Заведи себе ребенка. Вот и будет тебе кого любить и кем утешаться.

– Да уж, это идея! – засмеялся я. – Пожалуй, только этого мне не хватало.

Роза мечтательно покачала головой.

– Уж как меня, бывало, поколачивал мой Артур, а все равно – войди он сейчас сюда в своем котелке, эдак наискось сдвинутым на затылок... Милый ты мой! Да я вся трясусь, как только себе это представляю.

– Ну так давай выпьем за здоровье Артура.

Роза рассмеялась.

– Подлецу и юбочнику – долгие лета!

Мы выпили.

– До свидания, Роза. Желаю тебе побольше выручить сегодня вечером!

– Спасибо, Робби! До свидания!

Хлопнула дверь в подъезде.

– Хэлло, – сказала Патриция Хольман, – задумались?

– Ни о чем вовсе. А как вы поживаете? Выздоровели? Что с вами было?

– Пустяки, ничего особенного. Простудилась, поднялась немного температура.

Она вовсе не выглядела изнуренной болезнью. Напротив, ее глаза еще никогда не казались мне такими большими и сияющими, ее лицо покрывал легкий румянец, а движения были грациозны, как у гибкого, изящного животного.

– Выглядите вы великолепно, – сказал я. – Ни тени болезни! Мы можем наметить большую программу.

– Это было бы прекрасно, – сказала она. – Но сегодня, к сожалению, не получится. Сегодня я не могу.

Я уставился на нее, остолбенев.

– Не можете?

Она покачала головой:

– К сожалению.

Я все еще не мог ничего понять. Я решил, что она раздумала идти ко мне, но согласна пойти в другое место.

– Я звонила вам, – сказала она, – чтобы вы не приходили напрасно. Но вы уже ушли.

Наконец-то до меня дошло.

– Вы действительно не можете? У вас занят весь вечер? – спросил я.

– Сегодня да. Мне обязательно нужно в одно место. К сожалению, я узнала об этом всего полчаса назад.

– И вы не можете перенести это дело на другой день?

– Нет, не получится. – Она улыбнулась. – Это что-то вроде деловой встречи.

Меня словно стукнули по голове. Все, все я предусмотрел, но только не это. Я не верил ни одному ее слову. Деловая встреча! Нет, не такой у нее вид! Отговорка, по всей вероятности. В этом даже нет никаких сомнений. Какие могут быть вечером деловые переговоры? На это есть утренние часы! И за полчаса о таких вещах не сообщают. Просто ей расхотелось, вот и весь сказ.

Я был огорчен прямо-таки как ребенок. Только теперь я понял, насколько был рад предстоящему вечеру. Я был недоволен собой из-за того, что так огорчился, и мне не хотелось, чтобы она это заметила.

– Что ж, – сказал я, – коли так – ничего не поделаешь. До свидания.

Она испытующе посмотрела на меня.

– Ну, особой-то спешки нет. Я договорилась только на девять. Мы могли бы еще немного погулять. Я целую неделю не была на улице.

– Хорошо, – нехотя согласился я. Внезапно я почувствовал себя разбитым и опустошенным.

Мы пошли по улице. Вечернее небо прояснилось, и над крышами встали звезды. Мы шли вдоль газона, на котором темнело несколько кустов. Патриция Хольман остановилась.

– Сирень, – сказала она. – Пахнет сиренью.

– Я не чувствую никакого запаха, – возразил я.

– Ну как же! – Она склонилась над газоном.

– Это «дафне индика», сударыня, – раздался из темноты хриплый голос.

Там, прислонившись к дереву, стоял один из городских озеленителей в форменной фуражке с латунной кокардой. Слегка пошатываясь, он подошел к нам. Из его кармана высверкивало горлышко бутылки.

– Мы ее, слышь ты, сегодня высадили, – заявил он, прерывая свое сообщение сильнейшей икотой. – Тут она и есть.

– Да-да, спасибо, – сказала Патриция Хольман и, повернувшись ко мне, добавила: – Вы все еще не чувствуете никакого запаха?

– Нет, отчего же, – вяло возразил я. – Теперь я чувствую запах доброго пшеничного шнапса.

– Попадание – первый класс! – Человек в тени звучно рыгнул.

Я отчетливо различал густой сладковатый аромат цветения, растекавшийся по мягкому бархату ночи, но я бы ни за что на свете не признался в этом.

Девушка засмеялась и потянулась одними плечами.

– Ах, как это прекрасно, особенно для того, кто целую неделю проторчал дома. Как жаль, что надо уходить! Этот Биндинг – вечно он спешит, вечно сообщает обо всем в последний момент! Лучше бы он действительно перенес это на завтра!

– Биндинг? – переспросил я. – Вы договорились с Биндингом?

Она кивнула:

– С Биндингом и еще одним человеком. В этом-то человеке все дело. Серьезная деловая встреча. Представляете себе?

– Нет, – возразил я, – не представляю.

Она засмеялась и продолжала что-то говорить. Но я больше не слушал. Биндинг! Это имя прозвучало для меня как раскат грома. Я и думать не хотел о том, что она ведь знает его много дольше, чем меня, я только совершенно отчетливо и в каких-то преувеличенных размерах видел перед собой его сверкающий «бьюик», его дорогой костюм и его портмоне. Бедная моя, славная, изукрашенная берлога! И что это мне взбрело на ум! Лампа от Хассе, кресла от Залевски! Да эта девушка мне просто не пара! Кто я такой, в конце концов? Тротуарный шаркун, одолживший себе на вечер «кадиллак», жалкий пьянчужка – и ничего больше! Да такие шьются на каждом углу. Я уже видел, с каким подбострастием швейцар в «Лозе» приветствует Биндинга, видел светлые, теплые, великолепно обставленные помещения, утопающие в сигаретном дыму, видел элегантно одетых людей, небрежно расположившихся в них, слышал музыку и смех, смех надо мной. «Назад, – подумал я, – скорее назад! Что-то предчувствовать, на что-то надеяться – уже и это было смешно! Глупо предаваться таким иллюзиям. Так что только назад!»

– Мы могли бы встретиться завтра вечером, если хотите, – сказала Патриция Хольман.

– Завтра вечером у меня нет времени, – возразил я.

– Или послезавтра, или в какой-нибудь другой день на этой неделе. На ближайшие дни у меня нет никаких планов.

– Это будет трудно, – сказал я. – Сегодня мы получили срочный заказ, над которым придется работать всю неделю до поздней ночи.

Это был обман, но я не мог иначе. Столько во мне скопилось бешенства и стыда.

Мы пересекли площадь и пошли по улице вдоль кладбищенской ограды. Я увидел, как от «Интернационаля» навстречу нам движется Роза. Ее высокие сапоги сверкали. Я бы мог еще свернуть и в другое время так бы и сделал, но теперь я пошел прямо, ей навстречу. Роза скользнула взглядом мимо меня, как будто мы и в глаза друг друга не видели. Все это само собой разумелось: ни одна из этих девушек не узнавала на улице своих знакомых, если они были не одни.

– Привет, Роза, – сказал я.

Она озадаченно взглянула сначала на меня, потом на Патрицию Хольман, быстро кивнула и в полном смятении прошла мимо. Через несколько шагов после нее показалась Фрицци. С ярко намалеванными губами, она шла, помахивая сумочкой и вихляя бедрами. Она равнодушно смотрела сквозь меня, как сквозь стекло.

– Мое почтение, Фрицци, – сказал я.

Она наклонила голову, как королева, и ничем не выдала своего удивления; но я услышал, как каблучки ее застучали чаще, – она явно хотела обсудить происшедшее с Розой. Я все еще мог свернуть в переулок, ведь я знал, что сейчас появятся и остальные – как раз настал час первого большого обхода. Но я с каким-то особым упрямством решительно шагнул им навстречу – почему я должен избегать тех, кого знаю намного лучше, чем девушку рядом со мной с ее Биндингом и его «бьюиком»? Пусть все видит, пусть насмотрится вдоволь.

Они проследовали все по длинному коридору под фонарями – и красавица Валли, бледная, стройная, элегантная, и Лина с ее протезом, и кряжистая Эрна, и цыпленочек Марион, и краснощекая Марго, и педераст Кики в женской шубке, и под конец старушка Мими с ее уло-

ватыми венами, похожая на общипанную сову. Я приветствовал их всех, а уж когда проходили мимо котла с сосисками, то я и вовсе от души потряс «мамашину» руку.

– У вас тут много знакомых, – немного погодя сказала Патриция Хольман.

– Таких, как эти, да, – ответил я, задираясь.

Я заметил, как она на меня посмотрела.

– По-моему, нам пора возвращаться, – сказала она через какое-то время.

– По-моему, тоже, – ответил я.

Мы подошли к ее подъезду.

– Прощайте, – сказал я, – и приятных вам развлечений сегодня вечером.

Она не ответила. Не без труда я оторвал взгляд от кнопки звонка на входной двери и посмотрел на нее. И не поверил своим глазам. Вот она стоит прямо передо мной, и никаких следов оскорбленности на лице – в чем я был уверен, но – ничуть не бывало, губы ее подрагивали, глаза мерцали огоньками, а там прорвался и смех – раскатистый, свободный. Она от души смеялась надо мной.

– Сущий ребенок! – сказала она. – Нет, какой же вы еще ребенок!

Я уставился на нее.

– Ну да... как-никак... – пролепетал я и наконец-то все понял. – Вы, наверное, считаете меня полным идиотом, не так ли?

Она смеялась. Я быстро шагнул к ней и крепко прижал к себе: будь что будет. Ее волосы касались моих щек, ее лицо было близко-близко, я чувствовал слабый персиковый запах ее кожи; потом ее глаза выросли перед моими, и я вдруг ощутил ее губы на своих губах...

Она исчезла, прежде чем я успел сообразить, что случилось.

Я побрел назад и подошел к «мамашиному» котлу с сосисками.

– Дай-ка мне штучку побольше, – сказал я, весь сияя.

– С горчицей? – спросила «мамаша». На ней был чистенький белый передник.

– Да уж, мамаш, горчицы давай побольше!

Я с наслаждением ел сардельку, запивая ее пивом, которое Алоис по моей просьбе вынес мне из «Интернационаля».

– Странное все-таки существо человек, мамаша, а?

– Да уж, это точно! – подхватила она с пылом. – Вот хоть вчера приходит тут один, съедает две венские сосиски с горчицей, а потом вдруг – нате вам, платить ему нечем. Ну, дело-то было позднее, кругом ни души, что ж я могу, не бежать же за ним. А сегодня, представь-ка, он является снова, платит сполна за вчерашнее да еще дает мне на чай.

– Ну, это тип еще довоенный, мамаша. А как вообще-то дела?

– Плохо! Вчера вот семь пар венских да девять сарделек. Знаешь, если б не девочки, я б давно разорилась.

Девочками она называла проституток, которые поддерживали ее как могли. Подцепив клиента, они по мере возможности старались затащить его к «мамашиному» котлу и раскошелить на сардельку-другую, чтобы «мамаша» могла хоть что-нибудь заработать.

– Теперь уж потеплеет скоро, – продолжала она, – а вот зимой, когда сыро да холодно... Тут уж напаяливай на себя что хочешь, а все одно не убережешься.

– Дай-ка мне еще сардельку, – сказал я, – что-то меня сегодня распирает охота жить. А как дела дома?

Она взглянула на меня своими водянистыми маленькими глазками.

– Да все то же. Недавно вот кровать продал.

«Мамаша» была замужем. Лет десять назад ее муж, прыгая на ходу в поезд подземки, сорвался, и его переехало. В результате ему отняли обе ноги. Несчастье оказало на него странное действие. Он настолько стыдился перед женой своего вида, что перестал спать с ней. Кроме

того, в больнице он пристрастился к морфию. Это быстро потащило его на самое дно, он связался с гомосексуалистами, и теперь его можно было видеть только с мальчиками, хотя пятьдесят лет до этого он был нормальным мужчиной. Мужчин калека не стыдился. Ведь калекой он был только в глазах женщин, ему казалось, что он вызывает отвращение и жалость, и это было для него невыносимо. А для мужчин он оставался мужчиной, с которым случилось несчастье. Чтобы добыть деньги на мальчиков и морфий, он забирал у «мамаш» все, что только подворачивалось под руку, и продавал все, что только мог продать. Но «мамаша» держалась за него, хоть он ее частенько поколачивал. Она вместе с сыном каждую ночь до четырех стояла у своего котла. А днем стирала белье и скоблила лестницы. У нее был больной желудок, и весила она девяносто фунтов, но никто никогда не видел от нее ничего, кроме радушия и ласки. Она считала, что ей еще повезло в жизни. Иной раз муж, когда ему совсем уж становилось невмоготу, приходил к ней и плакал. И то были самые отрадные минуты ее жизни.

– А ты как? Держишься еще на своем таком хорошем месте?

– Да, мамаша. Я теперь зарабатываю неплохо.

– Смотри только, не потеряй его.

– Постараюсь, мамаша.

Я подошел к своему дому. У подъезда – вот уж Бог послал! – стояла служанка Фрида.

– Фрида, вы просто прелесть что за девочка, – сказал я, обуреваемый желанием творить добро.

Она сделала такое лицо, точнохватила уксусу.

– Да нет, я серьезно! – продолжал я. – Ну какой смысл вечно ссориться! Жизнь коротка, Фрида, и полна самых опасных случайностей. В наше время надо держаться друг друга. Давайте жить дружно!

Она даже не взглянула на мою протянутую руку, пробормотала что-то о проклятых пьянчужках и скрылась в подъезде, громыхнув дверью.

Я постучал к Георгу Блоку, из-под его двери пробивалась полоска света. Он зубрил.

– Пойдем, Георгий, пожую, – сказал я.

Он поднял на меня глаза. Бледное лицо его порозовело.

– Я сыт.

Он решил, что я предлагаю ему из жалости, поэтому и отказался.

– Да ты только взгляни, сколько там всего, – сказал я. – И все испортится. Так что окажи мне любезность.

Когда мы проходили по коридору, я заметил, что дверь Эрны Бениг приоткрыта на узенькую щелочку. За ней слышалось затаенное дыхание. «Ага», – подумал я и тут же услышал, как мягко щелкнул замок на двери Хассе и их дверь также приоткрылась на один сантиметр. Похоже, весь пансион подстерегает мою кухню.

Яркий свет люстры падал на парчовые кресла фрау Залевски. Сияла роскошью лампа Хассе, светился ананас, теснились куски ливерной колбасы высшего сорта, нежной, как осетр, ветчины, тут же была бутылка шерри-бренди...

Едва мы с онемевшим от изумления Георгом налегли на еду, как в дверь постучали. Я уже знал, что сейчас последует.

– Внимание, Георгий, – прошептал я, а громко сказал: – Войдите!

Дверь отворилась, и вошла сгорающая от любопытства фрау Залевски. Впервые в жизни она самолично принесла мне почту, какой-то рекламный проспект, призывавший меня питаться исключительно сырой пищей. Разодета она была в пух и прах – настоящая дама добрых старых времен: кружевное платье, шаль с бахромой и брошь с портретом блаженной памяти Залевски в виде медальона. Заготовленная слащавая улыбка так и застыла на ее лице,

она остолбенела, увидев перед собой смущенного Георга. Я разразился безжалостным смехом. Она быстро овладела собой.

– Так, стало быть, получил отставку, – ядовито заметила она.

– Вот именно, – согласился я, погруженный в разглядывание ее наряда. – Какое счастье, что визит не состоялся.

– А вам и смешно? Недаром я всегда говорила: там, где у других людей сердце, у вас – бутылка шнапса, – произнесла фрау Залевски, меряя меня взглядом прокурора.

– Хорошо сказано, – одобрил я ее речь. – Не окажете ли нам честь, сударыня?

Она поколебалась. Но потом одержало верх любопытство: вдруг удастся еще что-нибудь выведать? Я откупорил бутылку бренди.

Позже, когда все в доме стихло, я взял пальто и одеяло и пробрался по коридору на кухню. Я встал на колени перед столиком, на котором стоял телефонный аппарат, накрыл голову пальто и одеялом, снял трубку, подоткнув левой рукой конец пальто под аппарат. Так я мог быть уверен, что меня не подслушают. У пансионера Залевски были на редкость длинные и любопытные уши. Мне повезло. Патриция Хольман была дома.

– Давно ли вы вернулись с ваших таинственных переговоров? – спросил я.

– Почти час назад.

– Ах, если б я знал...

Она засмеялась.

– Нет-нет, это ничего бы не изменило, я сразу легла, у меня опять немного поднялась температура. Хорошо, что я рано вернулась.

– Температура? Сколько же?

– Ах, пустяки. Расскажите лучше, что вы еще делали сегодня вечером.

– Беседовал с хозяйкой о международном положении. А вы? Переговорили успешно?

– Надеюсь, что успешно.

Под моим покровом возникла тропическая жара. Поэтому всякий раз, когда говорила девушка, я делал себе отдушину, жадно хватал губами холодный воздух и снова опускал полог, когда настала моя очередь говорить в трубку, которую я прижимал к самому рту.

– Среди ваших знакомых нет никого, кого звали бы Робертом? – спросил я.

Она засмеялась.

– По-моему, нет...

– Жаль. Мне бы очень хотелось слышать, как вы произносите это имя. Может быть, все-таки попробуете?

Она снова засмеялась.

– Так, ради смеха, – сказал я. – Например, Роберт – осел.

– Роберт – ребенок...

– У вас чудесное произношение, – сказал я. – А теперь попробуем слово «Робби». Итак, Робби...

– Робби – пьяница, – медленно произнес тихий далекий голос. – А теперь мне пора спать: я уже приняла таблетку снотворного, и голова начинает гудеть...

– Да, конечно. Спокойной ночи. Приятного сна...

Я положил трубку и снял с себя пальто и одеяло. Потом поднялся на ноги – и опешил. Всего в шаге от меня застыл, как призрак, наш пансионер, бухгалтер, занимавший комнату рядом с кухней. Я сердито чертыхнулся.

– Тсс! – сказал он ухмыляясь.

– Тсс! – передразнил я его, еще раз мысленно послав его к черту.

Он значительно поднял палец.

– Я не выдам. Дело политическое, не так ли?

– Что? – поразился я.

Он подмигнул мне.

– Да вы не бойтесь! Я и сам держусь крайне правых позиций. Секретный политический разговор, не так ли?

Наконец до меня дошло.

– В высшей степени! – сказал я и тоже ухмыльнулся.

Он кивнул и сказал шепотом:

– Да здравствует его величество!

– Трижды виват! – ответил я. – Ну а теперь кое-что из другой оперы: знаете ли вы, собственно, кто изобрел телефон?

Он удивленно потряс лысым черепом.

– Я тоже не знаю, – сказал я, – но это наверняка был классный парень...

IX

Воскресенье. День гонок. Всю последнюю неделю Кестер тренировался каждый день. По вечерам после этого мы проверяли самочувствие «Карла», каждый его винтик, – смазывали, отлаживали. А теперь мы сидели у склада с запасными частями и ждали Кестера, который пошел к месту старта.

Мы все были в сборе: Грау, Валентин, Ленц, Патриция Хольман и, конечно, Юпп. Юпп был в гоночном комбинезоне, в гоночном шлеме и с гоночными очками. Он ехал в паре с Кестером, потому что был легче всех. Правда, Ленц выдвинул по этому поводу свои сомнения. Он утверждал, что огромные торчащие уши Юппа создают повышенное сопротивление воздуха и машина, таким образом, либо потеряет километров двадцать скорости, либо превратится в самолет.

– Каким образом, собственно, у вас оказалось английское имя? – спросил Ленц сидевшую рядом с ним Патрицию Хольман.

– Моя мать была англичанкой. Ее звали так же. Пат.

– А, Пат – это нечто иное. Выговаривается значительно легче.

Он достал стакан и бутылку.

– Будем настоящими товарищами, Пат! Меня зовут Готфрид.

Я с удивлением смотрел на него. Я лавирую и так и сяк с этим обращением, а он среди бела дня запросто проделывает такие трюки. И вот уже она смеется с ним и называет его Готфридом.

Но куда было Ленцу до Фердинанда Грау. Тот будто спятил и не мог оторвать глаз от девушки. Он то раскатисто декламировал стихи, то заявлял, что должен писать ее портрет. И в самом деле, пристроившись на каком-то ящике, он начал делать зарисовки.

– Послушай, Фердинанд, старый ворон, – сказал я, отнимая у него блокнот, – не трать себя на живых людей. Оставайся при своих покойниках. И не переходи на личности. В том, что касается этой девушки, я чувствителен.

– А вы потом пропьете со мной ту часть тетушкиного наследства, которая достанется мне от трактирщика?

– За всю часть не ручаюсь. Но уж какую-то ее долю – наверняка.

– Идет. В таком случае я тебя пощажу, мой мальчик.

Треск моторов пулеметной дробью завис над трассой. Пахло прогорклым маслом, бензином и касторкой. Волнующий, чудный запах, волнующий, чудный шум моторов!

Из соседних, хорошо оборудованных боксов доносились крики механиков. Сами мы были оснащены довольно скудно. Кое-какие инструменты, свечи зажигания, пара колес с запасными баллонами, доставшаяся нам задаром на одной фабрике, несколько мелких запасных деталей – вот и все. Ведь Кестер не представлял какой-нибудь автозавод. Нам приходилось платить за все самим, вот у нас и было всего в обрез.

Подошел Отто, а за ним Браумюллер, уже одетый для гонки.

– Ну, Отто, – сказал он, – если мои свечи сегодня выдержат, тебе хана! Да только они не выдержат.

– Посмотрим, – ответил Кестер.

Браумюллер погрозил кулаком «Карлу».

– Берегись моего «Щелкунчика»!

«Щелкунчиком» он называл свою новую тяжелую машину, которая считалась фаворитом.

– «Карл» еще утрет тебе нос, Тео! – крикнул ему Ленц.

Браумюллер хотел что-то ответить на привычном солдатском жаргоне, но, заметив Патрицию Хольман, поперхнулся, сделал масляные глаза, глупо осклабился и отошел.

– Полный успех! – удовлетворенно заметил Ленц.

На трассе залаяли мотоциклы. Кестеру пора было готовиться. «Карл» был заявлен по классу спортивных машин.

– Особой помощи мы тебе не окажем, Отто, – сказал я, кивая на инструменты.

Он махнул рукой.

– Да это и не нужно. Ежели «Карл» надорвется, то тут уж не поможет целая мастерская.

– Может, нам все-таки выставить щиты, чтобы ты видел, каким идешь?

Кестер покачал головой:

– Старт-то общий. И сам все увижу. Да и Юпп будет следить.

Юпп усердно закивал головой. Он весь дрожал от волнения и непрерывно жевал шоколад. Но таким он был только перед началом гонок. После стартового выстрела он становился спокоен, как черепаха.

– Ну, ни пуха!

Мы выкатили «Карла».

– Не застрянь только на старте, козырь ты наш, – произнес Ленц, поглаживая радиатор. – Смотри не огорчай своего старика отца, «Карл»!

«Карл» рванул с места. Мы смотрели ему вслед.

– Глянь, глянь, во рухлядь-то чудная! – сказал вдруг кто-то неподалеку от нас. – А задница как у страуса!

Ленц выпрямился.

– Вы имеете в виду белую машину? – спросил он, заливаясь краской, но еще спокойно.

– Знамо дело, ее, – небрежно через плечо бросил ему гигант механик из соседнего бокса и передал своему приятелю бутылку с пивом. Охваченный яростью Ленц уже собрался перелезть через низенькую загородку. К счастью, он еще не успел выпалить никаких оскорблений. Я оттащил его назад.

– Кончай эти глупости, – накинулся я на него, – ты нам нужен здесь. Зачем тебе раньше времени попадать в больницу?

Ленц с ослиным упрямством пытался вырваться у меня из рук. Он не выносил никаких замечаний в адрес «Карла».

– Вот видите, – сказал я, обращаясь к Патриции Хольман, – каков человек, который выдает себя за последнего романтика. Просто козел ненормальный! Вы можете поверить, что он когда-то писал стихи?

Это подействовало – я знал, где у Готфрида уязвимое место.

– Ну, это было еще задолго до войны, – сказал он извиняющимся тоном. – Кроме того, детка, свихнуться во время гонок – это не позор. А, Пат?

– Свихнуться никогда не позор.

Готфрид взмахнул рукой.

– Великие слова!

Рев моторов заглушил все. Воздух содрогнулся. Земля и небо содрогнулись. Стая машин пронеслась мимо.

– Предпоследний! – буркнул Ленц. – Эта скотина все же запнулась на старте.

– Ничего страшного, – сказал я, – старт – это слабое место у «Карла». Он разгоняется медленно, зато потом его не удержишь.

Едва стал затихать грохот моторов, как вступили репродукторы. Мы не поверили своим ушам. Бургер, один из главных конкурентов, так и остался стоять на старте.

Рокот машин снова стал приближаться. Машины подрагивали вдали, как кузнечики, потом выросли прямо на глазах и вот уже промчались мимо трибун и вошли в крутой поворот.

Пока их было шесть, Кестер все еще на предпоследнем месте. Мы держали все наготове. Отдававший эхом рев моторов за поворотом то стихал, то нарастал. И вот вся стая снова вынырнула из-за трибуны. Один из гонщиков вырвался вперед, двое других буквально висели у него на колесе, следом шел Кестер. Он чуть продвинулся вперед на повороте и теперь был четвертым.

Солнце выглянуло из-за облаков. Свет и тень легли широкими полосами на дорогу, превратив ее в тигровую шкуру. Тени облаков передвигались и по трибунам. Ураганный рев моторов взвинтил нас всех не хуже самой шальной музыки. Ленц переминался с ноги на ногу, я давно превратил свою сигарету в жвачку, а Патриция Хольман раздувала ноздри, как жеребенок на ранней зорьке. Только Валентин и Грау преспокойно посиживали себе, греясь на солнышке.

Снова накатил гул напряженного сердцебиения машин, выскочивших на линию трибун. Мы впились глазами в Кестера. Он покачал головой – мол, шины менять не буду. На обратном пути он несколько сократил разрыв и теперь сидел на колесе у третьего. Так, спаренные, они и мчались по бесконечной прямой.

– Проклятие! – Ленц сделал глоток из бутылки.

– Ничего, его козырь – повороты, – сказал я Патриции Хольман. – Их-то он и разучивал.

– Пригубим пузырек, Пат? – спросил Ленц.

Я сердито посмотрел на него, но он выдержал мой взгляд не моргая.

– Лучше бы из стакана, – ответила она. – Пить из горлышка я еще не научилась.

– То-то и оно! – Готфрид выудил из сумки стакан. – Вот они, плоды современного воспитания.

На последующих кругах стая машин распалась. Лидировал Браумюллер. Первая четверка оторвалась метров на триста. Кестер исчез за трибуной, держась нос в нос с третьим. Потом рев снова приблизился. Мы вскочили на ноги. А где же третий? Отто шел теперь в одиночестве за двумя передними. А-а, вот наконец приковыляла и бывшая третья. Задние колеса были разодраны в клочья. Ленц ухмыльнулся не без злорадства – машина остановилась у соседнего бокса. Гигант механик чертыхался. Через минуту машина вновь была на ходу.

На последующих кругах расстановка сил не изменилась. Ленц отложил в сторону секундомер и занялся подсчетами.

– У «Карла» еще есть резервы! – поведаль он через некоторое время.

– Боюсь, у других тоже, – сказал я.

– Маловер! – Он бросил на меня уничтожающий взгляд.

И на предпоследнем круге Кестер отрицательно помотал головой. Он решил рискнуть и не менять шины. Было еще не настолько жарко, чтобы риск был слишком велик.

Напряжение словно сковало трибуны и площадь незримой стеклянной цепью, когда машины пошли на последний круг.

– Подержитесь все за дерево, – сказал я, сжимая рукоять молотка. Ленц в ответ на это схватил мою голову. Я оттолкнул его. Он, ухмыляясь, взялся рукой за барьер.

Гул моторов перерос в рев, рев – в вой, вой – в грохот, затем в высокое, протяжное, свистящее пение мчащихся машин. Браумюллер влетел в поворот по внешней касательной. Вплотную за ним, но ближе к середине трассы, взметая пыль скрежещущими задними колесами, неся второй гонщик, он, по всей видимости, хотел выскочить вперед снизу.

– Ошибка! – закричал Ленц.

В этот момент пулей вылетел Кестер. Его машина с визгом взяла вираж по самому внешнему краю. Мы замерли. Казалось, «Карл» неминуемо перелетит за пределы шоссе, но мотор взревел, и машина прыжком вписалась в прямую.

– Он вошел в поворот на полном газу! – крикнул я.

– Сумасшедший! – кивнул Ленц.

Мы свесились далеко за барьер, дрожа от возбуждения в предчувствии удачи. Я помог Патриции Хольман взобраться на ящик с инструментами.

– Так вам будет лучше видно! Обопритесь о мое плечо. Смотрите внимательно, он и этого обставит на повороте.

– Уже обставил! – воскликнула она. – Он его проскочил!

– Он приближается к Браумюллеру! О Господи Боже мой и пресвятые угодники, – вскричал Ленц, – он действительно его проскочил и приближается к Браумюллеру!

Три автомобиля носились туда-сюда в сгустившихся сумерках от нависшей грозовой тучи. Мы кричали как сумасшедшие, теперь к нам присоединились Валентин и Грау с его оглушительным басом. Кестеру удался сей безумный замысел, он обошел второго на повороте сверху – тот переоценил свои возможности, избрав слишком крутую дугу, и вынужден был сбавить скорость. Теперь Кестер, как ястреб, бросился на Браумюллера, неожиданно сократив расстояние метров до двадцати. Было похоже на то, что у Браумюллера забарахлило зажигание.

– Дай ему, Отто! Дай! Расшелкай «Щелкунчика»! – ревели мы и махали руками.

Машины скрылись за последним поворотом. Ленц громко молился всем богам Азии и Южной Америки и потрясал своим амулетом. Я тоже извлек свой. Опершись на мои плечи и подавшись вперед, Патриция Хольман всматривалась в даль, напоминая русалку на носу галеры.

Наконец они показались. Мотор Браумюллера стучал все еще с перебоями, как будто чихал. Я закрыл глаза, Ленц повернулся к трассе спиной – мы делали все, чтобы умиловить судьбу. Чей-то вопль вывел нас из оцепенения. Мы еще успели увидеть, как Кестер первым проскочил финиш, оторвавшись метра на два.

Ленц просто обезумел. Он швырнул инструменты на землю и сделал стойку на руках на запасном колесе.

– Так как вы изволили выразиться? – снова встав на ноги, обратился он к механику-геркулесу. – Рухлядь, да?

– Слушай, не квакай, а? – не скрывая досады, ответил тот.

И впервые за все годы, что я его знал, оскорбленного последнего романтика не охватило бешенство; он хохотал и трясся, как в пляске святого Витта.

Мы поджидали Отто. У него еще были дела в судейской.

– Готфрид! – раздался позади нас хриплый голос. Мы обернулись и увидели не человека, а гору в слишком узких полосатых штанах, слишком узком пиджаке цвета маренго и черном котелке.

– Альфонс! – воскликнула Патриция Хольман.

– Собственной персоной, – подтвердил он.

– Мы выиграли, Альфонс! – выкрикнула она.

– Лихо, лихо. Так я, стало быть, опоздал?

– Ты никогда не опаздываешь, Альфонс, – сказал Ленц.

– Я, собственно, хотел вас немного подкормить. Принес вот холодной ветчины и солонины. Все уже нарезано.

– Золотце ты наше! Давай сюда и садись! – сказал Готфрид. – Сразу и заправимся.

Он развернул сверток.

– Бог мой, – воскликнула Патриция Хольман, – да тут на целый полк!

– Ну, это выяснится только после еды, – заметил Альфонс. – Кстати, имеется немного тминной. – Он достал две бутылки. – И пробки уже вынуты.

– Лихо, лихо, – сказала Патриция Хольман. Альфонс одобрительно подмигнул ей.

Протарахтев, подкатил «Карл». Кестер и Юпп выпрыгнули из машины. Юпп сиял, как юный Наполеон. Его уши светились что твои витражи в соборе. В руках он держал огромный и чудовищно безвкусный серебряный кубок.

– Уже шестой такой же, – со смехом сказал Кестер. – На что-нибудь другое у них фантазии не хватает.

– Один кувшин? – деловитым тоном осведомился Альфонс. – А тити-мити?

– Отсыпали кое-что, – успокоил его Отто.

– Ну, тогда мы просто купаемся в деньгах, – сказал Грау.

– Похоже, недурной получится вечерок.

– У меня?... – спросил Альфонс.

– Дело чести, – ответил Ленц.

– Гороховый суп со свиными потрохами, ножками и ушами, – произнес Альфонс, и даже Патриция Хольман изобразила на лице безусловное почтение. – Бесплатно, само собой, – добавил он.

Подошел Браумюллер, проклиная свое невезение, с пригоршней промасленных свечей зажигания.

– Успокойся, Тео, – сказал ему Ленц. – В ближайшей гонке детских колясок первый приз тебе обеспечен.

– Ну вы хоть дадите мне реваншироваться коньяком?

– Даже выставим его в пивных кружках, – сказал Грау.

– Ну тут у вас еще меньше шансов, господин Браумюллер, – сказал тоном эксперта Альфонс. – Я еще ни разу не видел Кестера пьяным.

– Я тоже ни разу не видел «Карла» впереди себя, – парировал Браумюллер. – А вот поди ж ты.

– Держись достойно, – сказал Грау. – Вот тебе стакан. Выпьем за гибель культуры под натиском машин.

Собравшись уезжать, мы хотели взять с собой остатки провианта. Его должно было хватить на несколько человек с избытком. Однако, хвativшись, мы обнаружили одну лишь бумагу.

– Что за дьяволыщина! – воскликнул Ленц. – А, вот в чем дело! – Он показал на Юппа, который стоял, смущенно улыбаясь, с руками, полными снеди, и с животом, набитым как барабан. – Тоже рекорд!

За ужином у Альфонса Патриция Хольман пользовалась, как мне показалось, слишком большим успехом. От меня не ускользнул и тот момент, когда Грау снова предлагал ей написать ее портрет. Рассмеявшись, она заявила, что это не по ней – длится слишком уж долго, и что фотография – дело куда более удобное.

– А это как раз по его части, – вставил я не без яда. – Может, он напишет ваш портрет по фотографии?

– Спокойно, Робби, – невозмутимо отреагировал Фердинанд, не спуская с Патриции своих огромных голубых детских глаз. – Ты от выпивки становишься злее, а я – человечнее. В этом разница поколений.

– Он лет на десять старше меня, – опять вставил я.

– В наше время это и составляет разницу в целое поколение, – продолжал Фердинанд. – Разницу в целую жизнь. В тысячелетие. Да что вы, сосунки, знаете о бытии! Вы пугаетесь собственных чувств. Вы больше не пишете писем – разговариваете по телефону, вы больше не мечтаете – выезжаете за город на уик-энд, вы разумны в любви и неразумны в политике, вы – жалкое племя!

Я слушал его лишь одним ухом, а вторым прислушивался к тому, как Браумюллер уговаривает Патрицию – уже не вполне трезвым голосом – брать у него уроки вождения автомобиля, обещая обучить ее всем своим трюкам.

Выждав удобный момент, я отозвал его в сторонку.

– Спортсмену вредно, Тео, слишком увлекаться женским полом.

– Мне – не вредно, я устроен замечательно, – заявил Браумюллер.

– Прекрасно. Но предупреждаю: тебе будет вредно, если я хвачу тебя бутылкой по башке.

Он ухмыльнулся:

– Спрячь шпагу, малыш. Знаешь, в чем отличие джентльмена? В том, что он соблюдает приличия, даже когда пьян. А знаешь, кто я?

– Пижон!

Я не опасался, что кто-нибудь из них станет всерьез отбивать ее – такое между нами не водилось. Но ведь я не знал еще в точности, как обстоит дело с ней самой. Вполне могло стать так, что она пленится кем-нибудь из них. Мы еще слишком мало знали друг друга, чтобы я мог быть уверен. Да и как вообще можно быть уверенным?

– Давайте незаметно исчезнем! – предложил я.

Она кивнула.

Мы шли по улицам. Стало сумрачно, улицы окутал серебристо-зеленый туман. Я взял руку Пат и сунул ее в карман своего пальто. Так мы шли долго.

– Устали? – спросил я.

Она покачала головой и улыбнулась.

– Не зайти ли нам куда-нибудь? – показал я на ряд кафе, мимо которых мы проходили.

– Нет. Нельзя же все время...

Мы побрели дальше и добрались так до кладбища. В каменном водовороте домов оно было как тихий остров. Деревья шумели. Их верхушек уже не было видно. Мы отыскивали пустую скамейку и сели. Вокруг фонарей, стоявших на краю тротуара, дрожали оранжевые нимбы. В сгущавшемся тумане вершилась волшебная игра света. Охмелевшие майские жуки медленно отделялись от липовых крон, окружали фонари, тяжело бились о влажные стекла. Туман преобразил все – приподнял, растворил; отель напротив нас уже плыл, как океанский лайнер, нависнув освещенными каютами над черным зеркалом асфальта; серой тенью торчавший за ним собор обернулся призрачным парусником с высокими мачтами, таявшими в багрово-сизом мареве... А в дымке за ними уже плыл караван домов...

Мы молча сидели рядом. Туман и нас, как и все вокруг, сделал какими-то нереальными. Я взглянул на девушку – в ее широко распахнутых глазах отражалось пламя фонарей.

– Иди ко мне, – сказал я, – поближе, а не то тебя унесет туман...

Она повернула ко мне лицо и улыбнулась: губы ее были слегка приоткрыты, поблескивали зубы, большие глаза смотрели прямо на меня, но мне чудилось, будто она меня вовсе не видит, будто она улыбается не мне, а чему-то в серебристо-сером тумане, будто она зачарована тихо шелестящим в ветвях ветром, звоном стекающих капель росы, будто она прислушивается к таинственному, беззвучному оклику того, кто прячется позади деревьев, позади всего мира, кто зовет ее встать и идти, наугад и без колебаний, следуя ему, темному и таинственному зову земли и жизни.

Никогда не забуду я это лицо, никогда не забуду, как оно безмолвно склонилось ко мне с тихим выражением глубокой нежности, нет; как оно просветлело и расцвело; никогда не забуду, как ее губы потянулись навстречу моим, как глаза приблизились к моим, как они стояли прямо передо мной, большие, серьезные, лучистые, с застывшим в них неммым вопросом, и как они потом закрылись, словно сдаваясь...

А туман все клубился, повисая ключьями на белесых могильных крестах. Я снял пальто и накинул его на нас сверху. Город затонул. Время исчезло...

Так просидели мы долго. Ветер понемногу усилился, перед нами в сизой мгле замелькали косматые тени. Я услышал скрип шагов и невнятное бормотание. Потом долетел приглушенный звук гитарных струн. Я приподнял голову. Тени приблизились, превратились в темные фигуры, которые затем образовали круг. Тишина. И вдруг ее разорвало громкое пение: «И тебя Иисус ожидает...»

Я вздрогнул, прислушался. Что это? Где мы? Уж не на Луне ли? Ведь это был настоящий хор – женский хор на два голоса...

«Грешный образ твой совлекает...» – загремело над кладбищем в такт военному маршу. Я посмотрел на Пат с недоумением.

– Ничего не понимаю, – сказал я.

«От тебя он ждет покаянья...» – наливался бодростью лад.

Наконец-то меня осенило.

– Бог мой! Да ведь это Армия спасения!

«И забвенья, и ликованья...» – зывали тени в нарастающей кантилене.

В карих глазах Пат зажглись искорки смеха. И губы, и плечи ее подрагивали.

Неудержимый хор гремел фортиссимо:

Вихря огонь и пламя ада —
Вот грехов твоих награда.
Иисус к тебе взывает,
На молитву уповает...

– Тихо, разрази вас сила небесная! – раздался вдруг в тумане сиплый сердитый голос.

Последовала минута озадаченного молчания. Однако ж Армию спасения мало что беспокоило. Тут же хор вступил с новой силой.

«Чего ты жаждешь в мире сем...» – зазвучал укоризненный унисон.

– Обжиматься, черт подери! – хрипел сердитый голос. – Хоть здесь-то можно этим заняться без помех?

«Где бесова соблазна окоем...» – прогремел на это пылкий ответ.

– Вы-то, старые гайки, давно уже никого не соблазняете! – незамедлительно воспоследовал ответ из тумана.

Я прыснул. Пат тоже не могла больше сдерживаться. Эта кладбищенская дуэль повергла нас в дикий хохот. Армии спасения было известно, что кладбищенские скамейки облюбовали парочки, не знавшие, где им уединиться посреди городского шума и гама. Было решено нанести по этому безобразию мощный удар. Во имя спасения душ «армейцы» вышли на воскресную облаву. Непоставленные голоса с истовой набожностью и такой же громкостью гнусавили заученный текст. Дело дополняли редкие и неуместные звуки гитары.

Кладбище ожило. Со всех сторон из тумана доносились выкрики и хихиканье. Складывалось впечатление, что были заняты все скамейки. Одиноким мятежникам любви получилась могучую поддержку незримых единомышленников. Формировался хор протеста. Нашлись, кажется, и старые вояки, которых возбудили маршевые ритмы, ибо в скором времени над кладбищем мощно зазвучало незабвенное: «Ах, как был я в Гамбурге-городе, видел мира цветущего рай...»

«В грехах погрязши, не упорствуй...» – собрался с последними силами пронзительный хор аскетов; по бурному колыханию форменных шляпок было заметно, что в Армии спасения начинался переполох.

Зло победило. Заглушая все, зычные глотки разом грянули:

Свое имя назвать не могу я —
Я за деньги любовь продаю...

— Пора идти, — сказал я Пат. — Эту песенку я знаю. В ней много куплетов — один хлеще другого. Бежим отсюда!

И снова город с его сиренами и жужжанием шин. Но волшебство сохранилось. Туман превратил автобусы в сказочных зверей, автомобили — в крадущихся кошек с горящими глазами, а витрины магазинов — в пестрые и прельстительные пещеры.

Мы прошли по улице вдоль кладбища и пересекли ярмарочную площадь. В мглистом воздухе вознеслись кипящие музыкой и огнями башни каруселей, чертово колесо разбрызгивало пурпур, золото и смех; а лабиринт мерцал голубыми огнями.

— Благословенный лабиринт! — сказал я.

— Почему? — спросила Пат.

— Мы когда-то были в нем вместе.

Она кивнула.

— У меня такое чувство, будто это было давным-давно.

— Может, заглянем туда еще раз?

— Нет, — сказал я. — Теперь это уже ни к чему. Не хочешь ли чего-нибудь выпить?

Она покачала головой. Она выглядела необыкновенно красивой. Туман, как легкие духи, подчеркивал ее очарование.

— Ты не устала? — спросил я.

— Нет еще.

Мы подошли к павильонам с кольцами и крюками. Перед ними горели карбидные фонари с белым искрящимся светом. Пат выжидательно посмотрела на меня.

— Нет-нет, — сказал я. — Сегодня я не буду бросать. Ни разу. Даже если б можно было выиграть винный подвал Александра Великого.

Мы пошли дальше через площадь и прилегающие к ней скверы.

— Где-то здесь должна быть «дафне индика», — сказала Пат.

— Да, ведь ею сильно пахнет еще издалека. Не правда ли?

Она взглянула на меня.

— Правда.

— Должно быть, она зацвела. Ее запах слышен теперь по всему городу.

Я осторожно поглядывал по сторонам в поисках свободной скамейки. Уж не знаю, что было тому виной — сирень, воскресный день или собственное невезение, но я ничего не нашел. Все были заняты. Я посмотрел на часы. Было уже больше двенадцати.

— Идем ко мне, — сказал я, — там нам никто не помешает.

Она ничего не ответила, но мы повернули назад.

У кладбища нас ждала неожиданность. Армия спасения подтянула резервы. К сестрам присоединились униформированные братья, выстроившиеся двумя рядами. Итого хор состоял теперь из четырех рядов. И пение лилось уже не на два высоких голоса, а на четыре и звучало как мощный орган. В ритме вальса над каменными надгробиями бушевало: «Небесный Иерусалим...»

Оппозицию больше не было слышно. Она была сметена. Как говаривал директор моей гимназии Хиллерманн: «Терпение и усердие лучше, чем беспутство и гениальность...»

Я открыл входную дверь. Поколебавшись секунду, включил свет. Кишка коридора открыла свой желтый отвратительный зев.

– Закрой глаза, – сказал я шепотом Пат, – это зрелище для задубелых натур.

Я подхватил ее на руки и медленно, своим обычным шагом, точно я был один, двинулся мимо чемоданов и газовых горелок к своей двери.

– Жуткий вид, а? – смущенно произнес я, глядя на представшую нам плюшевую мебель. Увы, ни парчовых кресел фрау Залевски, ни ковра, ни лампы от Хассе уже не было...

– Ну, не такой уж и жуткий, – сказала Пат.

– Жуткий, – сказал я, подходя к окну. – Зато вид из окна красивый. Может, пододвинем кресла к окну?

Пат расхаживала по комнате.

– Нет, здесь в самом деле не так плохо. Главное, замечательно тепло.

– Мерзнешь?

– Люблю тепло, – сказала она и зябко повела плечами. – Терпеть не могу дождь и холод. Просто не выношу.

– О небо, а мы сидели на улице в этом тумане...

– Тем приятнее теперь здесь...

Она потянулась и снова прошла по комнате своим красивым шагом. Я, весь в смущении, стал озираться – да нет, слава Богу, заброшено кругом не слишком много. Свои рваные шлепанцы я незаметно задвинул ногой под кровать.

Пат остановилась перед шкафом и задрала голову. На шкафу лежал старый чемодан, подаренный мне Ленцем. Он был весь в пестрых наклейках времен его авантурных странствований.

– Рио-де-Жанейро, – прочитала она, – Манаос, Сантьяго, Буэнос-Айрес, Лас-Пальмас...

Она задвинула чемодан и подошла ко мне.

– И во всех этих местах ты уже побывал?

Я что-то пробормотал. Она взяла меня под руку и сказала:

– Давай ты мне будешь рассказывать обо всех этих городах, а? Ведь как это здорово, наверное, путешествовать по дальним странам...

И что же я? Я видел ее перед собой, красивую, юную, полную трепетного ожидания, эту бабочку, залетевшую благодаря счастливой случайности в мою выдавшую виды, убогую комнату, в мою пустую, бессмысленную жизнь, бабочку, как будто ставшую моей, но еще не ставшую моей до конца, – одно неосторожное движение, и она может вспорхнуть и улететь. Браните меня, проклиняйте, но я не сумел, не смог отказаться от искушения, не смог признаться, что я там никогда не был, в эту минуту не смог...

Мы стояли у окна, туман, сгущаясь, словно напирал на стекла, и я почувствовал: что-то там снова прячется и подстерегает меня, что-то от бывшего, скрытого, стыдного, от серых липких будней, пустоты, грязи, осколков раздрызганного бытия, от растерянности, расточительной траты сил, разбазаренной жизни; зато здесь, прямо передо мной, в моей тени, ошеломляюще близко ее тихое дыхание, ее непостижное уму присутствие, теплота, сама жизнь, – я должен был это удержать, завоевать...

– Рио... – сказал я, – Рио-де-Жанейро – порт, похожий на сказку. Семью стрелами врежется море в берег, а над ним вздымается белый сверкающий город...

И я пустился рассказывать о знойных городах и бесконечных прериях, о желтых от ила потоках, о мерцающих островах и крокодилах, о лесах, пожирающих дороги, о том, как кричат по ночам ягуары, когда речной пароход скользит в темноте сквозь удушливое благоухание, свитое из запахов орхидей, ванили и тлена, – все эти рассказы я слышал от Ленца, но теперь мне почти казалось, что я и вправду бывал в тех краях; память о рассказанном и томительное желание самому это видеть соединились в стремлении привнести в мою скучную, бесцветную,

полную хаоса жизнь хотя бы толику блеска, чтобы не потерять это неизъяснимо милое лицо, эту внезапную надежду, этот благословенный цветок, для которого я как таковой мало значил. Потом, когда-нибудь, я ей все объясню, потом, когда стану сильнее, когда все будет прочнее, потом, потом... А теперь... «Манаос... – говорил я, – Буэнос-Айрес...», и каждое слово звучало как мольба и как заклинание.

* * *

Ночь. На улице пошел дождь. Капли падали мягко и ласково. Они не хлопали теперь по голым ветвям, как еще месяц назад, а тихо шуршали, сбегая вниз по молодой и податливой липовой листве, – мистическое празднество, таинственный ток влаги к корням, от коих она вновь поднимется вверх и сама станет листьями, ожидающими дождя весенней ночью.

Стало тихо. Улица смолкла, на тротуар бросал беспокойные снопы света одинокий фонарь. Нежные листочки деревьев, освещенные снизу, выглядели почти белыми, чуть не прозрачными, а верхушки мерцали, как светлые паруса...

– Прислушайся, Пат, – дождь...

– Я слышу...

Она лежала рядом. Темные волосы на белой подушке. И лицо из-за темных волос казалось необычайно бледным. Одно плечо было приподнято, оно тускло бронзовело от случайного блика. Узкая полоска света падала и на руку.

– Посмотри-ка, – сказала она, подставляя обе ладони лучу.

– Это, должно быть, от фонаря на улице, – заметил я.

Она приподнялась. Теперь освещенным оказалось и лицо, свет стекал по плечам и груди, желтый, как пламя восковой свечи, но вот он дрогнул и изменился, стал оранжевым, потом наплыли голубоватые волны, и вдруг над ее головой встало венчиком алеющее сияние – скользнуло ввысь и медленно покатилося по потолку.

– А это от рекламы – тут напротив рекламируют сигареты.

– Видишь, как у тебя красиво в комнате, – прошептала она.

– Красиво, потому что здесь ты, – ответил я. – Теперь эта комната уже никогда не будет такой, как прежде, – потому что здесь побывала ты.

Она встала на колени на постели – вся в бледно-голубом сиянии.

– Но ведь я буду теперь здесь часто, – сказала она, – очень часто.

Я лежал не шевелясь и смотрел на нее. Все было как в безмятежном, прозрачном сне – ласковом, умиротворенном и очень счастливым.

– Как ты красива, Пат! Так ты красивее, чем в любом платье.

Она улыбнулась и склонилась ко мне.

– Ты должен очень любить меня, Робби. Без любви я как без руля в жизни.

Ее глаза, не мигая, смотрели на меня. Лицо было совсем близко. Открытое, взволнованное, страстное.

– Ты должен крепко держать меня, – прошептала она, – мне так необходимо, чтобы меня крепко держали. Иначе я упаду. Мне страшно.

– На тебя это как-то совсем не похоже, – возразил я.

– Это я притворяюсь. На самом деле мне часто бывает страшно.

– Я буду держать тебя крепко, – сказал я, все еще не очнувшись от этого странного, зыбкого и прозрачного сна наяву. – Уж я-то удержу тебя, Пат, вот увидишь.

Она обхватила мое лицо руками.

– Правда?

Я кивнул. Ее плечи отливали зеленым светом, будто погруженные в воду. Я разнял ее руки и привлек ее к себе – о эта живая, дышащая, жаркая волна: набежав, она все поглотила.

Она спала на моей руке. Я часто просыпался и смотрел на нее. Мне хотелось, чтобы эта ночь никогда не кончалась. Мы плыли где-то по ту сторону времени. Все произошло так быстро, что я не успел опомниться. Я все еще не мог осознать, что меня кто-то любит. То есть я понимал, что для мужчины я могу быть товарищем на все сто, но чтобы меня любила женщина... Мне казалось, что это может длиться одну только ночь и что уже утром все кончится.

Темнота за окном посерела. Я лежал не шевелясь. Моя рука под головой Пат занемела, и я ее не чувствовал. Но я не двигался. Лишь когда она во сне повернулась, уткнувшись лицом в подушку, я смог высвободить руку. Я тихонько встал, без шума почистил зубы и побрился. Я даже протер себе шею и виски одеколоном. Было непривычно и странно без единого звука передвигаться в сумерках комнаты, наедине со своими мыслями и с темными силуэтами деревьев за окном.

Повернувшись, я увидел, что Пат лежит с открытыми глазами и наблюдает за мной. Я застыл на месте.

– Иди сюда, – сказала она.

Я подошел к ней и сел на кровать.

– Это все еще правда? – спросил я.

– Почему ты спрашиваешь?

– Не знаю. Может быть, потому, что наступило утро.

Стало светлее.

– Подай мне мои вещи, – попросила она.

Я поднял с пола ее белье из тонкого шелка. Оно было таким маленьким и таким легким. Я подержал его на руке. «Даже в этом есть что-то новое, необычное», – думал я. Кто носит такое белье, тот и сам должен быть человеком необычным. И я никогда не смогу его понять, никогда.

Я подал ей ее вещи. Она обвила мою шею рукой и поцеловала.

Потом я пошел ее провожать. Мы шли рядом в серебристых сумерках рани и почти не разговаривали. Тележки с молоком громыхали по асфальту, разносили газеты. Какой-то старик сидел перед домом и спал. Его подбородок дрожал, как подвешенный на веревочке. Мимо нас проехали велосипедисты с корзинами булочек. На улице остался запах свежего теплого хлеба. Высоко над нами в голубеющем небе летел самолет.

– Сегодня? – спросил я Пат перед ее дверью.

Она улыбнулась.

– В семь? – спросил я.

Она совсем не выглядела усталой. Была свежа, как будто долго спала. Она поцеловала меня на прощание. Я оставался стоять перед ее домом до тех пор, пока не увидел, как в ее комнате зажегся свет.

Потом я пошел обратно. По дороге мне пришло в голову многое из того, что я мог бы сказать ей, много прекрасных слов. Я бродил по улицам и думал о том, что я мог бы сказать и что сделать, если бы был совсем другим человеком. Потом я завернул на рынок. Фургоны с овощами, мясом и цветами были уже на своем месте. Я знал, что цветы здесь вдвое дешевле, чем в магазинах. И я накупил тюльпанов на все деньги, какие у меня еще оставались. Они были великолепны – совершенно свежие, с капельками влаги в бутонах. Мне досталась целая охапка. Продавщица обещала отослать их в одиннадцать часов Пат. Рассмеявшись, она приложила к букету еще толстый пучок фиалок.

– Они будут радовать вашу даму не меньше двух недель, – сказала она. – Надо только положить в воду пирамидон.

Я кивнул и отдал ей деньги. А потом медленно пошел домой.

Х

В мастерской стоял отремонтированный «форд». Новой работы не было. Нужно было что-то предпринимать. Мы с Кестером отправились на аукцион. Хотели взглянуть на такси, которое там шло с молотка. Такси всегда можно было с выгодой перепродать.

Аукцион помещался в глухом дворе на северной окраине города. Помимо такси, здесь продавалась еще куча разных вещей. Часть из них была выставлена во дворе. Кровати, шаткие столики, позолоченная клетка с попугаем, который кричал «Здравствуй, дорогой», напольные часы, книги, шкафы, старинный фрак, кухонные табуретки, посуда – жалкий мусор нищей, крошащейся, гибнущей жизни.

Мы пришли слишком рано, распорядителя аукциона еще не было. Я порылся в развале и полистал пару книг – зачитанные дешевые экземпляры древнегреческих и латинских авторов со множеством пометок на полях. Не стихи Горация и не песни Анакреона были на этих замусоленных, истрепанных страницах, то был вопль пропащей жизни с ее беспросветной нуждой и потерянностью. Для владельца этих книг они были последним прибежищем, и он цеплялся за них, сколько мог, и уж если расстался с ними, значит, дошел до точки.

Кестер заглянул мне через плечо.

– Грустное зрелище, а?

Я кивнул и показал на другие вещи.

– Как и все это, Отто. От хорошей жизни шкафы с табуретками сюда не потащишь.

Мы направились к машине, которая стояла в углу двора. Лак потрескался, местами облупился, но в целом машина была чистенькой, и даже крылья были в порядке. Неподалеку стоял коренастый мужчина; свесив жирные руки, он тупо наблюдал за нами.

– А мотор ты проверил? – спросил я Кестера.

– Вчера, – сказал он. – Порядком изношен, но ухожен отменно.

Я кивнул:

– Да, вид у машины именно такой. Наверняка ее мыли еще сегодня утром, Отто. И вряд ли этим занимался этот бездельник-аукционист.

Кестер посмотрел на коренастого мужчину.

– Наверное, это и есть владелец. Он и вчера тут был и машину чистил.

– Ну и вид у него, черт возьми, – сказал я, – как у раздавленной собаки.

Какой-то молодой человек пересек двор и подошел к машине. На нем было пальто с поясом, его пижонский вид отталкивал.

– А, так вот она, колымага, – сказал он, обращаясь не то к нам, не то к мужчине, и постукал тростью по капоту. Я заметил, как в глазах мужчины что-то дрогнуло.

– Пустяки, чего там, – снисходительно бросил подпоясанный, – лакировке все равно уже грош цена. Да, почтенная рухлядь. Ее бы в музей, да? – сказал он и залился смехом от собственного остроумия, поглядывая на нас в поисках сочувствия. Мы не смеялись. Он повернулся к владельцу машины. – Сколько же вы хотите за это ископаемое?

Мужчина проглотил слюну и промолчал.

– Видимо, пойдет по цене металлолома, а? – продолжал трещать юнец, пребывая в радужном настроении. Он снова повернулся к нам. – А вы, господа, тоже интересуетесь? – И понизив голос: – Можем обтяпать дельце. Отыграем ее по какой-нибудь тухлой цене, а выручку пополам. Что, а? А чего ради навешивать им лишние деньги! Кстати, позвольте представиться. Гвидо Тисс из фирмы «Аугека».

Он вертел своей бамбуковой тростью и подмигивал нам с видом доверительного превосходства. «Эта тля в свои двадцать пять прошла уже огни и воды», – подумал я с ненавистью. Мужчину рядом с машиной было искренне жаль.

– Тисс... – произнес я. – Эта фамилия вам не очень подходит.

– Неужели, – сказал он, явно польщенный. Как видно, он привык получать комплименты за свою бойкость.

– Ну конечно, – продолжал я. – Сопляк – вот бы вам что подошло. Гвидо Сопляк!

Он отпрянул.

– Ну да, конечно, – промямлил он, приходя в себя, – двое на одного...

– Если дело в этом, – сказал я, – то я готов и один пройти с вами, куда прикажете.

– Нет уж, благодарю, – ответил Гвидо деревянным голосом, – покорно благодарю! – И удалился.

Коренастый мужчина с потерянным лицом не отрываясь смотрел на машину, как будто все это его не касалось.

– Не надо нам ее покупать, Отто, – сказал я.

– Ну так ее купит эта мразь с поясом, – возразил Кестер. – И мы тогда владельцу ничем не поможем.

– Это верно, – сказал я. – И все-таки есть в этом что-то нехорошее.

– А в чем в наше время нет нехорошего, Робби? Поверь, для него же лучше, что мы здесь. Так он хоть получит за машину побольше. Но я тебе обещаю: если эта мразь препоясанная ничего не предложит, то я тоже буду молчать.

Пришел аукционист. Дел у него, видно, было много, и он спешил. Ведь каждый день проводились десятки аукционов. Сопровождая слова отточенными плавными жестами, он приступил к распродаже жалкого скарба. У него был чутунный юмор и деловитый тон человека, ежедневно соприкасающегося с нищетой, но не задетого ею.

Вещи расходились за пфенниги. Большую часть приобрели всего несколько торговцев. Встречая взгляд аукциониста, они небрежно поднимали один палец или отрицательно качали головой. Но порой за взглядами аукциониста следовали взгляды других глаз; эти глаза с изможденных женских лиц взирали на пальцы торговцев как на заповеди Господни – с надеждой и страхом. За такси трое людей – первым Гвидо – предложили три сотни марок. Не цена, а насмешка. Коренастый подошел поближе, шевеля губами. Казалось, он тоже хочет что-то предложить. Но рука его, приподнявшись, тут же и опустилась, и он отошел. Затем было предложено четыреста марок. Гвидо пошел на четыреста пятьдесят. Возникла пауза. Аукционист переводил глаза с одного покупателя на другого.

– Кто больше! Четыреста пятьдесят – раз, четыреста пятьдесят – два...

Мужчина стоял у своего такси понурившись и с выпученными глазами, как будто ожидал удара в затылок.

– Тысяча, – сказал Кестер. Я посмотрел на него. – Она стоит трех, – шепнул он. – Видеть не могу, как они его режут.

Гвидо подавал нам отчаянные знаки. Он и «сопняка» забыл, как дело коснулось денег.

– Тысяча сто, – проблеял он и стал моргать нам обоими глазами. Будь у него еще один глаз сзади, он стал бы моргать и им.

– Полторы, – сказал Кестер.

Аукциониста обуял азарт. Он пританцовывал, помахивая молотком, точно капельмейстер дирижерской палочкой. Да, тут речь пошла не о двух-трех марках, как до этого.

– Тысяча пятьсот десять, – заявил Гвидо, утирая пот со лба.

– Тысяча восемьсот, – сказал Кестер.

Гвидо, постучав пальцем по лбу, сдался. Аукционист вертелся волчком. Я вдруг вспомнил о Пат.

– Тысяча восемьсот пятьдесят, – вырвалось у меня помимо воли.

Кестер с удивлением повернул ко мне голову.

– Полсотни я добавлю сам, – поспешно сказал я. – Так надо – на всякий случай.

Он кивнул.

Аукционист ударил молотком, присудив нам машину. Кестер немедленно заплатил.

– Нет, надо же! – все никак не мог успокоиться Гвидо, подошедший к нам с таким видом, будто ничего не случилось. – Мы бы могли иметь ее за тыщу! Третьего мы бы быстро вывели из игры.

– Здравствуй, дорогой! – произнес у него за спиной жестяной голос.

То был попугай в позолоченной клетке, до которого теперь дошла очередь.

– Сопляк, – добавил я. Гвидо, пожав плечами, исчез.

Я подошел к мужчине, которому принадлежала машина. Рядом с ним теперь была бледная женщина.

– Итак... – сказал я.

– Знаю, знаю... – ответил он.

– Мы бы предпочли этого не делать, – сказал я. – Но тогда вы бы получили меньше.

Он кивнул, нервно теребя руки.

– Машина хорошая, – сказал он внезапно и как-то захлебываясь, – хорошая, этих денег она стоит, уж это точно, вы не переплатили, не думайте, дело тут не в машине, – нет, тут другое.

– Я понимаю, – сказал я.

– Этих денег мы все равно не увидим, – сказала женщина, – все отдать придется.

– Ничего, мать, все образуется, – сказал он. – Все образуется!

Она не ответила.

– Там поскребывает маленько – при переключении на вторую, но это ничего, не дефект, так сразу было, еще когда она была новой, – сказал мужчина таким тоном, будто вел речь о своем ребенке. – Она у нас три года, и ни одной поломки. Просто я тут разболелся, ну а мне тем временем подложил свинью один... друг...

– Один негодяй, – сказала женщина с каменным лицом.

– Да ладно, мать, – посмотрел на нее мужчина, – я еще выкарабкаюсь, увидишь. А, мать? Женщина не ответила. Мужчина весь взмок от пота.

– Оставьте мне свой адрес, – сказал Кестер. – Может быть, нам понадобится водитель.

Мужчина торопливо, но старательно вывел свой адрес тяжелой честной рукой. Я переглянулся с Кестером, мы оба понимали, что должно произойти чудо, чтобы из этого что-нибудь вышло. Но время чудес миновало. Чудеса теперь бывают разве что в худшую сторону.

А мужчина все говорил и говорил, будто в бреду. Аукцион уже кончился. Мы остались одни во дворе. Он рассказывал нам, как пользоваться стартером зимой. И то и дело трогал машину руками. Но потом как-то сразу стих.

– Ну пойдем же, Альберт, – сказала женщина.

Мы подали ему руку. Они ушли. Мы подождали, пока они скрылись из виду, а потом завели машину.

Выезжая со двора, под аркой мы увидели, как старушка с попугаевой клеткой в руках отбивается от ребятишек. Кестер остановился.

– Вам куда? – спросил он старушку.

– Господь с вами, – сказала она, – нет у меня денег на катание.

– Не надо денег, – сказал Отто. – У меня сегодня день рождения, поэтому катаю бесплатно.

Она, недоверчиво глядя, прижала к себе клетку с попугаем.

– Да, а потом выяснится, что надо платить.

Мы успокоили ее, и она села в машину.

– Зачем это вы купили себе попугая, бабушка? – спросил я, когда она выходила из машины.

– А для вечеров, – сказала она. – Как вы думаете, корм-то дорог ли нынче?

– Нет, – сказал я. – А что значит для вечеров?

– Так ведь он говорящий, – ответила она, посмотрев на меня выцветшими старческими глазами. – Будет хоть с кем слово перемолвить.

– Ах вот как... – сказал я.

После обеда явился булочник забирать свой «форд». Вид у него был унылый и сумрачный. Он застал меня одного на дворе.

– Как вам цвет? – спросил я.

– Подходящий, – ответил он, рассеянно взглянув на машину.

– Верх получился очень красивым.

– Действительно...

Он все мялся, не решаясь уехать. Я ждал, что он попытается оттяпать у нас еще что-нибудь на дармовщинку – какой-нибудь домкрат или пепельницу.

Но вышло иначе. Потоптавшись и посопев, он поднял на меня свои в красных прожилках глаза и сказал:

– Подумать только – всего несколько недель назад она сидела в этой машине жива-невредима...

Я слегка удивился, увидев его таким размякшим, и решил, что та бойкая чернявенькая стервочка, что была с ним последний раз, уже начала действовать ему на нервы. Ведь огорчения скорее делают людей сентиментальными, чем любовь.

– Она была очень славная, добрая женщина, просто душа человек, – продолжал он. – Никогда никаких претензий. Десять лет носила одно пальто. Блузки, кофточки там всякие шила себе сама. И все хозяйство было на ней одной, обходилась без прислуги.

«Вот оно что, – подумал я, – новенькая, стало быть, ничего этого не делает».

Булочнику хотелось выговориться. Он рассказал мне, какой экономной была жена. И было странно наблюдать, какой прилив умиления вызывали воспоминания о сэкономленных деньгах в душе этого завсегдатая пивной и кегельбана. И не фотографировалась-то она никогда, потому что берегла деньги. Так что осталась у него только свадебная фотография да несколько моментальных снимков.

Это навело меня на мысль.

– Вам бы надо заказать хороший портрет своей жены у художника, – сказал я. – Вот уж вещь так вещь – навсегда. А фотографии, что ж – они со временем выцветают. Есть тут один художник, который этим занимается.

И я рассказал ему о деятельности Фердинанда Грау. Он сразу насторожился и сказал, что это, видимо, слишком дорого. Я заверил его, что могу устроить ему это дело по сходной цене. Он стал отнекиваться, но я наседаю, говоря, что если ему дорога память о жене, то расходы покажутся ему пустяковыми. Наконец он клюнул. Я позвонил Фердинанду Грау и предупредил его обо всем. А потом поехал с булочником за фотографиями его жены.

Чернявенькая выкатилась из булочной нам навстречу и забежала вокруг «форда».

– Красное было бы лучше, киса! Но ведь ты обязательно должен настоять на своем.

– Отстань! – раздраженно бросил ей киса.

Мы поднялись в гостиную. Чернявенькая последовала за нами. Ее шустренькие глазки успевали повсюду. Булочник стал нервничать. Он не хотел искать фотографии при ней.

– Оставь-ка нас одних, – наконец сказал он грубо.

Она удалилась, гордо выставив осанистую грудь, туго обтянутую джемпером. Булочник извлек из зеленого плюшевого альбома несколько фотографий и протянул их мне. Его жена в свадебной фате, а рядом он с лихо закрученными усами. Тут она еще улыбалась. И другая фотография: похудевшая, изможденная, с испуганными глазами, она сидит на краешке стула. Всего две маленькие фотографии – и вся жизнь как на ладони.

– Годится, – сказал я. – Этого ему будет вполне достаточно.

Фердинанд Грау принял нас в сюртуке. У него был солидный и торжественный вид. Все это составляло часть его деловой программы. Он знал, что для многих скорбящих почтение к их страданию важнее самого страдания.

На стенах мастерской в золоченых багетах висели парадные портреты, выполненные маслом, под ними – соответственные маленькие фотографии. Всякий клиент мог самолично удостовериться, что получалось из иной раз довольно смазанных моментальных снимков.

Фердинанд водил булочника вдоль стен, спрашивая, какую манеру он предпочитает. В свою очередь, булочник поинтересовался, находятся ли цены в соответствии с размерами изображений. Фердинанд объяснил, что цена зависит не от квадратного метра, но от проработанности произведения, после чего булочнику немедленно понравился портрет максимальных размеров.

– У вас хороший вкус, – похвалил Фердинанд, – это портрет принцессы Боргезе. Он стоит восемьсот марок. С рамой.

Булочник вздрогнул.

– А без рамы?

– Семьсот двадцать.

Булочник предложил четыреста марок. Фердинанд помотал своей львиной гривой.

– За четыреста марок вы можете иметь в лучшем случае головной портрет в профиль. Но никоим образом портрет до колен анфас. Тут двойная работа.

Булочник выразил готовность удовольствоваться головным портретом в профиль. Фердинанд обратил его внимание на то обстоятельство, что обе фотографии сняты прямой наводкой. И тут уж сам Тициан не смог бы написать профиль. Булочник покрылся испариной, на лице его было написано отчаяние из-за того, что в свое время он не оказался достаточно предусмотрительным. Он вынужден был признать, что Фердинанд прав: анфас состоит из двух половинок лица и, следовательно, здесь в два раза больше работы. Так что более высокая цена действительно оправданна. Его мучили колебания. Фердинанд до этого был очень сдержан, теперь же он принялся уговаривать. Его могучий бас покатился по мастерской вкрадчивыми волнами. Я в таких вещах знаю толк и могу сказать, что он работал безукоризненно. Да и булочник вскоре дозрел – особенно после того, как Фердинанд в красках изобразил ему, как подействует столь роскошное произведение на завистливых соседей.

– Ну ладно, – согласился он, – но при оплате наличными вы уж уступите десять процентов.

– По рукам, – сказал Фердинанд. – Десять процентов скидки и триста марок задатка – на издержки, связанные с приобретением красок и холста.

Начался новый раунд пререканий, но наконец обе стороны достигли взаимопонимания и перешли к обсуждению деталей. Булочник желал, чтобы на портрете были пририсованы жемчужное ожерелье и золотая брошь с алмазами, хотя их не было на фотографиях.

– Ну разумеется, – заявил Фердинанд, – драгоценности вашей жены будут изображены. Было бы лучше всего, если бы вы занесли их сюда на часок – чтобы можно было запечатлеть их во всей натуральности.

Булочник покраснел.

– У меня их больше нет. Они... я отдал их родственникам.

– Вот как? Ну что ж, обойдемся и так. Не похожа ли ваша брошь на ту, что изображена на этом портрете?

Булочник кивнул.

– Только не такая большая.

– Вот и прекрасно. Такой мы ее и изобразим. А ожерелье нам и вовсе не нужно. Ведь жемчужины всегда выглядят одинаково.

Булочник вздохнул с облегчением.

– А когда будет готово?

– Через шесть недель.

– Хорошо. – Булочник простился.

Мы с Фердинандом посидели еще какое-то время в мастерской.

– Неужели тебе потребуется на это шесть недель? – спросил я.

– Какое там. Дня четыре, от силы пять. Но ведь этому субчику правду не скажешь, не то он сразу примется высчитывать, сколько я зарабатываю в час, и почувствует себя обманутым. А вот шесть недель его устраивают. Как и принцесса Боргезе. Такова человеческая природа, дорогой Робби. Скажи я ему, что это швея, и портрет собственной жены уже не показался бы ему таким ценным. Кстати, это уже в шестой раз выясняется, что почившие в бозе женщины носили точно такие же драгоценности, как на этом вот портрете. Игра случая, что поделаешь. Неотразимого обаяния реклама – этот портрет славной Луизы Вольф.

Я огляделся. Неподвижные лица на стенах пристально смотрели на меня глазами, которые в действительности давно истлели. Это были портреты, не востребованные или не оплаченные родственниками. И все это были люди, которые тоже когда-то надеялись и дышали.

– Не настраивают ли они тебя на меланхолический лад, Фердинанд?

Он пожал плечами:

– Нет, скорее уж на цинический. Меланхолия возникает, когда думаешь о жизни, а цинизм – когда видишь, что делает из жизни большинство людей.

– Ну, иные все-таки живут по-настоящему...

– Конечно. Но они не заказывают портретов. – Он встал. – И слава Богу, Робби, что у людей есть эти мелочи, которые им кажутся важными, которые их поддерживают и защищают. Потому что одиночество – настоящее, без всяких иллюзий – это уже ступень, за которой следуют отчаяние и самоубийство.

Большое голое пространство мастерской заливали волнами сумерки. За стеной кто-то тихо ходил взад и вперед. Это была хозяйка. Она никогда не показывалась, если приходил кто-нибудь из нас. Она ненавидела нас, потому что думала, что мы натравливаем против нее Фердинанда.

Я вышел на улицу. Шумная сутолока ударила мне в грудь банным паром.

XI

Я шел к Пат. Впервые за все это время. До сих пор мы встречались всегда у меня или, когда мы куда-нибудь шли, она поджидала меня, около своего дома. И всегда все выглядело так, будто она заглянула сюда ненадолго. Я хотел знать о ней больше. Я хотел знать, как она живет. Мне пришло в голову, что не худо было бы прийти к ней с цветами. Это было нетрудно: городские скверы за ярмаркой зацвели пышным цветом. Я перелез через ограду и стал обрывать белую сирень.

– А вы что здесь делаете? – загремел вдруг надо мной раскатистый голос. Я выпрямился. На меня сердито смотрел мужчина с лицом цвета бургундского и лихо закрученными седыми усами. Не полицейский и не парковый сторож. Один из высших военных чинов в отставке, это сразу бросалось в глаза.

– Это не так трудно определить, – вежливым тоном ответил я. – Я здесь обламываю ветви сирени.

На миг мужчина потерял дар речи.

– А вы знаете, что здесь городской парк? – заорал он потом возмущенно.

Я рассмеялся.

– Разумеется, знаю! Или вы полагаете, что я держу это место за Канарские острова?

Мужчина позеленел от злости. Я испугался, что его хватит удар.

– А ну, немедленно вон отсюда, паршивец! – заорал он первоклассным казарменным басом. – Вы покушаетесь на общественное добро! Я велю вас забрать!

Тем временем я собрал достаточный букет.

– Да ты сначала поймай меня, дед! – поддразнил я старика, перемахнул через ограду и был таков.

Перед домом Пат я еще раз осмотрел свой костюм. Потом поднялся по лестнице, все время глядя по сторонам. Дом был новый, современной постройки – никакого сравнения с моим обветшалым помпезным баракком. На лестнице – красная дорожка, чего у фрау Залевски также не было. Не говоря уже о лифте.

Пат жила на третьем этаже. На двери красовалась внушительная латунная табличка: «Подполковник Эгберт фон Хаке». Я долго взирал на нее. Потом, прежде чем позвонить, машинально поправил галстук.

Открыла девушка в белой наколке и белоснежном переднике – не чета нашей косой Фриде. Мне вдруг стало как-то не по себе.

– Господин Локамп? – спросила она.

Я кивнул.

Она провела меня через небольшую переднюю и открыла дверь в комнату. Я бы не особенно удивился, если бы обнаружил в ней подполковника Эгберта фон Хаке при эполетах, поджидающего меня для допроса, – столь серьезное впечатление произвели на меня вывешенные в передней парадные портреты многочисленных генералов, мрачно уставившихся на меня, штафирку. Но навстречу мне своей красивой широкой походкой уже шла Пат, и комната немедленно превратилась в остров тепла и радушия. Я закрыл дверь и первым делом осторожно обнял ее. Потом вручил ей уворованную сирень.

– Вот! – сказал я. – С приветом от городской управы!

Она поставила ветки в большую глиняную вазу, стоявшую на полу у окна. Я тем временем огляделся в ее комнате. Мягкие приглушенные тона, немного старинной красивой мебели, дымчато-голубой ковер, пастельных оттенков занавеси, маленькие удобные кресла, обитые блеклым бархатом...

– Боже мой, Пат, как это тебе удалось найти такую комнату? – спросил я. – Ведь обычно комнаты сдают только с никому не нужной рухлядью да бессмысленными подарками, полученными ко дню рождения.

Она осторожно отодвинула вазу с цветами к стене. Я смотрел на ее узкий изогнутый затылок, прямые плечи и худющие руки. Смотрел и думал, что вот так, на коленях, она похожа на ребенка, который нуждается в защите. У нее были движения гибкого животного, и когда она поднялась и прижалась ко мне, то в ней уже ничего не осталось от ребенка, в глазах и губах опять появилось то выражение вопроса и тайны, которое свело меня с ума, так как я уже давно не верил, что оно еще есть в этом грязном мире.

Я положил руки ей на плечи. Было так хорошо чувствовать ее близость.

– Все это мои собственные вещи, Робби. Квартира принадлежала раньше моей матери. После ее смерти я отдала все, оставив себе две комнаты.

– Так, значит, это твоя квартира? – спросил я с облегчением. – А подполковник Эгберт фон Хаке проживает здесь на правах квартиранта?

– Нет, теперь уже не моя, – покачала она головой. – Мне не удалось сохранить ее за собой. От квартиры пришлось отказаться, а всю лишнюю мебель продать. Так что теперь я здесь сама квартирантка. Но что ты имеешь против старика Эгберта?

– Ничего. У меня лишь естественная робость перед полицейскими и штабс-офицерами. Я вынес ее со времен своей военной службы.

Она рассмеялась:

– Мой отец тоже был майор.

– Ну, майор – это еще терпимо, – сказал я.

– А ты знаешь старика Хаке? – спросила она.

Внезапно меня охватило недоброе предчувствие.

– Не такой ли это бравый коротыш с красным лицом, седыми усами да громовым голосом? Из тех, что любят прогуливаться в городском парке?

– Ага, попался! – рассмеялась она, посмотрев на букет сирени. – Нет, он высокий, бледный и в роговых очках.

– Тогда я его не знаю.

– Хочешь, я тебя с ним познакомлю? Очень милый человек.

– Избави Боже! Мой круг пока что очерчен мастерской и пансионом фрау Залевски.

В дверь постучали. Та же горничная вкатила низкий столик на колесиках. Тонкий белый фарфор, серебряный подносик с пирожными и еще такой же с неправдоподобно крошечными бутербродиками, салфетки, сигареты и бог весть что еще, – пораженный, я не мог оторвать от всего этого взгляда.

– Смилуйся, Пат! – наконец произнес я. – Да ведь это все как в кино. Я еще в парадной заметил, что мы стоим на разных ступенях социальной лестницы. Не забывай, что я привык есть с засаленной бумаги на подоконнике фрау Залевски в соседстве с доброй и верной спиртовкой. Сжался над обитателем убогих пансионов, ежели он, потрясенный, раскокает тебе чашку!

Она рассмеялась.

– Нет уж, пожалуйста, не надо. Честь автомобилиста тебе этого не позволит. Ты ведь обязан быть ловким. – Она взялась за ручку маленького чайника. – Хочешь чаю или кофе?

– Чаю или кофе? А что, есть и то и другое?

– Да. Вот смотри!

– Великолепно! Как в лучших ресторанах! Недостает только музыки.

Она отклонилась в сторону и включила маленький портативный приемник, который я не заметил сразу.

– Итак, чего же ты хочешь – чаю или кофе?

– Кофе, простецкого кофе, Пат. Ведь я человек сельский. А что будешь ты?

– Я выпью с тобой кофе.

– А вообще ты пьешь чай?

– Да.

– Вот тебе на!

– Я уже начинаю привыкать к кофе. С чем ты будешь – с пирожными или бутербродами?

– И с тем и с другим, Пат. Нельзя упускать такие возможности. Потом я выпью и чаю.

Хочу попробовать все, что у тебя есть.

Она со смехом наполнила мне тарелку. Я запротестовал:

– Довольно, довольно! Не забывай, что рядом с нами подполковник! А начальство любит умеренность в нижних чинах.

– Только в питье, Робби. Старик Эгберт сам обожает пирожные с кремом.

– Умеренность в комфорте тоже, – заметил я. – В свое время они здорово нас от него отучили.

Я стал перекачивать столик на резиновых колесиках взад и вперед. Его бесшумный ход по ковру был настолько приятен, что хотелось длить эту игру. Я огляделся. Все здесь гармонировало одно с другим.

– Да, Пат, – сказал я, – так, стало быть, жили наши предки!

Она рассмеялась.

– Ну что ты выдумываешь!

– Я не выдумываю. Констатирую ход времени.

– Ведь все это чистый случай, Робби, что у меня сохранились некоторые вещи.

Я покачал головой:

– Это не случай. И дело не в вещах. Дело в том, что стоит за ними. Прочность. Тебе этого не понять. Это может понять лишь тот, кто этого лишен.

Она посмотрела на меня.

– Но ведь и ты мог бы все это иметь, если б всерьез захотел.

Я взял ее за руку.

– Но я не хочу, Пат, это верно. Я бы самому себе показался тогда авантюристом. Нашему брату лучше всего жить в раздрызге. К этому привыкаешь. Это в духе времени.

– И весьма удобно.

Я засмеялся.

– Может быть, и так. А теперь налей-ка мне чаю. Хочется попробовать.

– Нет, – сказала она, – останемся пока при кофе. Ты лучше съешь чего-нибудь. Для раздрызга.

– Хорошая идея. Но не рассчитывает ли Эгберт, сей прилежный пожиратель пирожных, что и ему еще кое-что перепадет?

– Может, и рассчитывает. Но он должен считаться и с возможной местью нижних чинов. Это ведь тоже в духе времени. Так что можешь спокойно съесть все, не оставив ему ни крошки.

Ее глаза сияли, выглядела она великолепно.

– А знаешь ли ты, – спросил я, – когда вдруг наступает безжалостный конец раздрызгу моей жизни? – Она молча смотрела на меня, не отвечая. – Когда я с тобой! Ну а теперь – к оружию! И без тени раскаяния – вперед на Эгберта!

В обед я проглотил лишь чашку бульона в шоферской столовке. Поэтому мне не составило особого труда съесть все, что было. Заодно, поощряемый Пат, я выпил и весь кофе.

Мы сидели у окна и курили. Вечер алел над крышами.

– Красиво у тебя, Пат, – сказал я. – И очень понятно, что отсюда не хочется выходить по неделям, сидеть тут до тех пор, пока не позабудешь обо всем, что творится на свете.

Она улыбнулась:

– Было время, когда я и не надеялась отсюда выйти.

– Когда же это?

– Когда болела.

– Ну, это другое. А что с тобой было?

– Да ничего особенно страшного. Просто я должна была лежать. Вероятно, я слишком быстро выросла, получая слишком мало еды. Во время войны да и после с этим ведь было трудно.

Я кивнул.

– Сколько же ты пролежала?

Она чуть помедлила с ответом.

– Примерно год.

– О, это очень долго! – Я внимательно посмотрел на нее.

– Это было давно и почти забылось. Но тогда мне это показалось вечностью. Помнишь, ты рассказывал мне как-то в баре о твоём друге Валентине? О том, что после войны он мог думать только о том, какое это счастье – жить? И что по сравнению с этим все остальное не имеет значения?

– Ты хорошо запомнила, – сказал я.

– Потому что я хорошо это понимаю. Я с тех пор тоже радуюсь любому пустяку. Помоему, я очень поверхностный человек.

– Поверхностны только те люди, которые убеждены в обратном.

– Нет, я поверхностна, это точно. Я ничего не смыслю в серьезных вопросах жизни. И воспринимаю только красивое. Вот этот букет сирени уже делает меня счастливой.

– Это не поверхностность, это – целая философия.

– Но только не у меня. Я человек поверхностный и легкомысленный.

– Я тоже.

– Не настолько, как я. Ты вон говорил об авантюризме. А я и есть настоящая авантюристка.

– Я думал об этом, – сказал я.

– Да, да. Мне давно бы пора поменять квартиру, обзавестись профессией и зарабатывать деньги. Но я все откладываю и откладываю. Хотелось пожить какое-то время так, как хочется. Не важно, разумно ли это. Вот я так и жила.

Я засмеялся.

– А почему это у тебя вдруг появилось такое строптивное выражение лица?

– Да потому что я привыкла слышать со всех сторон, что это легкомыслие – так жить, что нужно экономить деньги, искать себе место. Но мне хотелось наконец легкости, радости, а не угнетенности. Хотелось делать что хочу. Такое настроение возникло после смерти матери и после того, как я так долго лежала.

– У тебя есть братья и сестры? – спросил я.

Она покачала головой.

– Я так и думал, – сказал я.

– Ты тоже считаешь, что я была легкомысленной?

– Нет. Ты была мужественной.

– Ах, какое там мужество... Нет, это не про меня. Мне очень часто бывало страшно. Как человеку, который сидит в театре на чужом месте и все-таки не уходит.

– Вот поэтому ты и была мужественной. Мужество не бывает без страха. Кроме того, это было и разумно. Иначе ты бы просто потеряла свои деньги. А так ты хоть что-то от них имела. А что же ты делала?

– Да ничего, собственно. Жила себе, и все.

– Снимаю шляпу! Так живут только избранные натуры.

Она улыбнулась:

– Но скоро этому конец. В ближайшее время я начну работать.

– Кем же? Не об этом ли были у тебя тогда переговоры с Биндингом?

Она кивнула:

– С Биндингом и доктором Максом Матушейтом, директором «Электролы» – есть такая фирма по продаже пластинок. Продавщица с музыкальным образованием.

– А ничего другого этому Биндингу в голову не пришло? – спросил я.

– Пришло. Но я не захотела.

– А я бы ему не советовал. Когда же ты начнешь работать?

– Первого августа.

– Ну, до тех пор еще много времени. Может быть, мы еще подыщем что-нибудь получше. Но во всяком случае, в нашем лице клиентура тебе обеспечена.

– Разве у тебя есть патефон?

– Нет, но я, конечно же, немедленно его себе заведу. Хотя вся эта история мне не очень-то нравится.

– А мне нравится. Я ведь ни на что толком не гожусь. И все это значительно проще для меня с тех пор, как есть ты. Но я, наверное, не должна была тебе об этом рассказывать.

– Нет, должна была. Ты должна мне рассказывать обо всем.

Она посмотрела на меня и сказала:

– Хорошо, Робби. – Потом встала и подошла к шкафчику. – Знаешь, что у меня тут есть? Ром для тебя. Хороший, по-моему.

Она поставила на стол рюмку и выжидательно посмотрела на меня.

– Что он хороший, я унюхиваю издали, – сказал я. – Но видишь ли, Пат, не лучше ли теперь быть немного поэкономнее с деньгами? Чтобы потянуть как можно дольше с этими патефонами?

– Нет, не лучше.

– Тоже верно.

Ром, я это заметил уже по цвету, был смешан. Торговец, конечно же, обманул Пат. Я выпил рюмку до дна.

– Высший класс, – сказал я, – налей мне еще. Откуда он у тебя?

– Купила тут на углу.

«Ну конечно, – подумал я. – Один из этих магазинчиков, что торгуют деликатесами, будь они прокляты». Я решил при случае заглянуть туда и перекинуться парой слов с владельцем.

– Наверное, я должен теперь уйти, Пат, да? – спросил я.

Она посмотрела на меня.

– Нет еще...

Мы стояли у окна. Внизу пламенели огни.

– Покажи мне и спальню, – сказал я.

Она открыла дверь в соседнюю комнату и включила свет. Я заглянул в комнату, оставаясь на пороге. В голове роилась всякая всячина.

– Так это, стало быть, твоя кровать, – произнес я наконец.

Она улыбнулась:

– Ну а чья же еще, Робби?

– И в самом деле! А здесь, значит, телефон. Тоже буду знать. Ну а теперь я пойду. Прощай, Пат.

Она взяла мою голову в свои ладони. Как было бы чудесно никуда не идти, встречать с ней наступающую ночь, тесно прижавшись друг к другу под мягким голубым одеялом в этой

спаленке... Но было что-то, что меня удерживало от этого. Не скованность, не страх и не осторожность – нежность скорее, огромная нежность, которая была сильнее вождения.

– Прощай, Пат, – сказал я. – Мне было очень хорошо у тебя. Много лучше, чем ты можешь себе представить. И этот ром... что ты подумала даже об этом...

– Но это так просто...

– Для меня – нет. Я к этому не привык.

Снова казарма фрау Залевски. Посидел, поскучал. Не нравилось мне, что Пат будет чем-то обязана Биндингу. И я двинулся коридором к Эрне Бениг.

– Я по серьезному делу, – сказал я. – Как обстоят дела на женской бирже труда, а, Эрна?

– Ого! – сказала она. – Ничего себе вопросик на засыпку! Но вообще-то неважно обстоят.

– Ничего нельзя предпринять? – спросил я.

– А в каком плане?

– Ну, секретарша, ассистентка...

Она махнула рукой.

– Тысяч сто без места. А специальность у нее есть?

– Она великолепно выглядит, – сказал я.

– Сколько слогов? – спросила Эрна.

– Что?

– Сколько слогов она записывает в минуту? На скольких языках?

– Понятия не имею, – сказал я, – но вот представлять...

– Дорогой мой, – заметила Эрна, – у меня уже в ушах вянет от этого: «Дама из хорошей семьи вследствие изменившихся обстоятельств вынуждена...» – и так далее. Дело безнадежное, это я вам говорю. Разве что кто-нибудь проявит к ней интерес и куда-нибудь приткнет. Сами понимаете, из каких соображений. Но ведь этого вы не хотите?

– Странный вопрос, – сказал я.

– Ну, не такой уж и странный, как вы думаете, – возразила Эрна с горечью. – Бывает всякое. – Мне вспомнилась ее история с шефом. – Но могу вам дать хороший совет, – продолжала она. – Постарайтесь зарабатывать на двоих. Женитесь. Вот самое простое решение.

– Ничего себе решение, – рассмеялся я. – Хотел бы я стать когда-нибудь таким самонадеянным.

Эрна посмотрела на меня каким-то особенным взглядом. При всей своей живости она показалась мне вдруг заметно постаревшей и даже несколько увядшей.

– Вот что я вам скажу, – произнесла она. – Я живу хорошо, у меня есть все и даже больше, чем мне нужно. Но если бы сейчас пришел кто-нибудь и предложил жить вместе – по-настоящему, честно, то, верите ли, я бы бросила все эти пожитки и отправилась с ним хоть на чердак... – Лицо ее приняло прежнее выражение. – Ну да ладно, разнюнилась... Поскрести, так у каждого наберется малость сентиментальности. – Она подмигнула мне сквозь дым своей сигареты. – Даже у вас, как видно?

– Откуда? – сказал я.

– Ладно, ладно, – заметила Эрна. – Кто ничего не ждет, того-то и прихватывает всего скорее...

– Но не меня, – возразил я.

До восьми я продержался в своей берлоге, потом мне стало невмоготу сидеть одному, и я пошел в бар в надежде кого-нибудь встретить.

Валентин был на своем месте.

– Садись, – сказал он. – Что будешь пить?

– Ром, – ответил я. – К рому у меня сегодня особенное отношение.

– Ром – это молоко для солдата, – сказал Валентин. – Слушай, ты прекрасно выглядишь, Робби.

– Да?

– В самом деле помолодел.

– Уже неплохо, – сказал я. – Будь здоров, Валентин.

– Будь здоров, Робби.

– Прекрасные слова – будь здоров, а?

– Лучшие из всех слов.

Мы повторили еще несколько раз. Потом Валентин ушел.

Я остался за столом. Никого, кроме Фреда, не было. Я разглядывал старые, светящиеся изнутри карты, кораблики с пожелтевшими парусами и думал о Пат. Хотелось ей позвонить, но я запретил себе это делать. Запретил себе слишком много думать о ней. Я хотел воспринимать ее как неожиданный счастливый подарок, не больше. Как явился, так и исчезнет. Я подавлял в себе мысль, что это может быть что-то большее. Я слишком хорошо знал, что всякая любовь хочет быть вечной и в этом ее вечная мука. А вечного ничего нет. Ничего.

– Дай-ка мне еще стаканчик, Фред, – сказал я.

Вошли мужчина и женщина. Выпили по бокалу коктейля у стойки. Вид у женщины был усталый, но мужчина смотрел на нее с вожделением. Вскоре они ушли.

Я допил свой стакан. Может, и не стоило мне ходить к Пат. Мне теперь не избавиться от этой картины: комната, плывущая в полумраке, синие тени вечера за окном и прекрасная девушка, которая сидит, поджав ноги, и глухим, низким голосом рассказывает мне о своей жизни и о своем желании жить... Черт подери, не становлюсь ли я сентиментальным? Но разве не растворилось уже в дымке нежности то, что поначалу казалось ошеломительным и завораживающим приключением, разве не захватило меня все это сильнее и глубже, чем я хотел, чем я мог себе в этом признаться, разве не ощутил я сегодня, именно сегодня, насколько я изменился? Почему я ушел, почему не остался у нее, как хотел? К черту, хватит думать об этом, хватит перебирать в голове то да се. Будь что будет, пусть я сойду с ума, когда потеряю ее, но теперь-то она здесь, теперь-то она со мной, а все остальное не важно, все остальное пусть катится к черту! Что толку городить всякие маленькие подпорки, если однажды можем потоком все равно смоем все.

– Не выпьешь ли со мной, Фред? – спросил я.

– Уж это завсегда, – сказал он.

Мы выпили по рюмке абсента. Потом кинули жребий, кому платить за две следующие. Я выиграл, но мне было неловко, и мы стали кидать жребий дальше. Проиграл я только на пятый раз, зато потом трижды кряду.

– Слушай, я пьян или действительно гремит гром? – спросил я.

Фред прислушался.

– Гремит в самом деле. Первая гроза в этом году.

Мы пошли к выходу взглянуть на небо. Но ничего не было видно. Было только тепло, и время от времени гремел гром.

– Собственно говоря, за это не мешало бы выпить еще по одной, – сказал я. Фред не возражал.

– Чертов мыльный пузырь, – сказал я, ставя пустую рюмку на стойку. Фред также полагал, что надо бы дернуть чего-нибудь позабористее. Он полагал – вишневки, я стоял за ром. Без лишних споров выпили и того и другого. Чтобы Фред не перетрутился, разливая, взяли рюмки побольше. Настроение у нас теперь было блестящее. Несколько раз мы выходили на улицу смотреть молнию. Очень нам хотелось увидеть молнию, но нам не везло. Они сверкали всякий раз тогда, когда мы сидели под крышей. Фред рассказывал о том, что у него есть невеста, дочь

владельца ресторана-автомата. Но с женитьбой Фред не спешил, ожидая, пока старик умрет, чтобы уж наверняка знать, достанется ли ей ресторан. Я пенял ему за чрезмерную осторожность, а он доказывал мне, что старик непредсказуем, как угорь, вильнет в последний момент и откажет ресторан общине методистов. Тут я соглашался. Впрочем, Фред был настроен оптимистически. Старик недавно простудился и заболел, Фред думает, что гриппом, а это штука опасная. Я вынужден был его разочаровать, сказав, что алкоголикам грипп не страшен, напротив, и самые доходяги среди них от гриппа прямо-таки хорошеют и даже набирают жирку. Фред сказал, что на это, в общем, плевать, может, он еще попадет под какую машину. Я признал, что возможность такая существует, особенно на мокром асфальте. Тут Фред поднялся и пошел посмотреть, не начался ли дождь. Но было еще сухо. Только гром гремел сильнее. Я дал ему выпить стакан лимонного сока и пошел к телефону. Однако в последний момент я вспомнил, что запретил себе звонить. Я раскланялся с аппаратом и хотел снять перед ним шляпу. Но тут заметил, что никакой шляпы на мне нет.

Вернувшись в зал, я застал Кестера и Ленца.

– Ну-ка дыхни на меня, – сказал Готфрид.

Я дыхнул.

– Ром, вишневка и абсент, – сказал он. – Абсент, поросячья ты морда!

– Если ты думаешь, что я пьян, то ты ошибаешься, – сказал я. – Где вы были?

– На одном политическом собрании. Да только Отто оно показалось пустопорожним. А что это пьет Фред?

– Лимонный сок.

– Выпей и ты стаканчик.

– Завтра, – сказал я. – А сейчас я лучше чего-нибудь съем.

Кестер все это время смотрел на меня с явной тревогой.

– Не смотри на меня так, Отто, – сказал я, – я слегка налимонился от полноты жизни, а не от горя.

– Ну тогда все в порядке, – сказал он. – Но все равно пойдем с нами. Поедим вместе.

К одиннадцати часам я уже снова был трезв как стеклышко. Кестер предложил пойти посмотреть, что с Фредом. Мы вернулись в бар и нашли его валяющимся под стойкой, он был в стельку пьян.

– Уведите его, – сказал Ленц, – а я пока возьму обслуживание на себя.

Мы с Кестером привели Фреда в чувство, дав ему теплого молока. Оно подействовало незамедлительно. Затем мы усадили его на стул и сказали, чтобы он отдохнул с полчаса, а Ленц тем временем за него поработает.

Готфрид и в самом деле хорошо управлялся. Он знал все цены и все популярные рецепты коктейлей. Он так лихо тряс миксер, будто отроду только этим и занимался.

Спустя час появился Фред. С выпотрошенным желудком он быстро пришел в себя.

– Прости, Фред, – сказал я. – Нам надо было сначала что-нибудь съесть.

– Ничего, я уже в полном порядке, – ответил Фред. – Иногда это невредно.

– Что правда, то правда.

Я подошел к телефону и позвонил Пат. Мне стало совершенно безразлично все, что я тут надумал и порешил. Она взяла трубку.

– Через четверть часа я буду у твоего подъезда! – выкрикнул я и быстро повесил трубку. Я боялся, что она устала, что она и слышать ни о чем не захочет. А мне надо было ее видеть.

Она вышла. Пока она открывала дверь, я поцеловал стекло в том месте, где была ее голова. Она хотела что-то сказать, но я не дал ей произнести ни слова. Я поцеловал ее, и мы двинулись вниз по улице, пока не поймали такси. Гремел гром, сверкали молнии.

– Быстрее, пока не пошел дождь! – крикнул я.

Мы сели в машину, и в это мгновение по крыше застучали первые капли. Машину подбрасывало на неровной брусчатке. Это было чудесно, потому что так я ближе чувствовал Пат. Все было чудесно – дождь, город, хмель. Все слилось, и все было прекрасно. Я был в том бодром и светлом настроении, какое бывает после того, как выпил и уже отошел от хмеля. От скованности ни следа, ночь полна свежей силы и блеска, ничто не грозит, и ничто не поддельно.

Дождь пошел, когда мы вылезли из машины. Пока я расплачивался, мостовая была вся еще в темных пятнышках дождя, как пантера, но мы еще не добежали до двери, как на черных камнях запрыгали серебряные фонтанчики, полило сразу как из ведра.

Я не стал включать свет. В комнате было светло от молний. Гроза стояла над самым центром города, и один гром перекатывался в другой.

– Вот теперь мы можем здесь хоть кричать – и никто нас не услышит! – крикнул я Пат.

Окно озарилось вспышкой. На секунду на бело-голубом небе проступили черные силуэты кладбищенских деревьев – и тут же с трескучим грохотом ночь поглотила их; на какое-то мгновение меж тьмой и тьмой мелькнула гибкая и фосфоресцирующая фигурка Пат – я нашел ее плечи, она прижалась ко мне, я ощутил ее губы, ее дыхание и ни о чем больше не думал...

XII

Мастерская наша все еще пустовала, как амбар перед жатвой. Вот мы и решили не продавать сразу такси, приобретенное на аукционе, а покамест использовать его по назначению. Мы с Ленцем должны были ездить по очереди. А Кестер с помощью Юппа вполне мог управиться в мастерской, пока не было настоящего дела.

Кинули жребий, кому ехать первым. Выиграл я. Набил карманы мелочью, взял документы, сел в такси и не торопясь двинулся в путь, для начала подыскивая стоянку получше. Чувство на первых порах было странное. Ведь любой идиот мог меня остановить и распорядиться по своему усмотрению. Не очень-то это приятно.

Я приискал себе место, где стояло всего пять машин. Против отеля «Вальдекер гоф», в самой гуще делового района. Такая стоянка дарила надежду на шуструю деятельность. Я выключил зажигание и вышел. Тут же от одной из передних машин отделился верзила в кожаном пальто и подступил ко мне.

– Уматывай отсюда, – мрачно процедил он сквозь зубы.

Я спокойно смотрел на него, прикидывая, как сбивать его с ног, ежели придется. Лучше всего апперкотом снизу. В этакое пальто так быстро руки не вскинуть.

– Не дошло? – спросило кожаное пальто, сплевывая окурок мне под ноги. – Сказано – уматывай! И без тебя народу хватает! Под завязку!

Конечно, пополнение пришлось ему не по нутру, дело понятное, но ведь и я был в своем праве – стоять где хочу.

– Как новичок ставлю пару бутылок на бочку, – сказал я.

Этим вопрос был бы исчерпан. Да так и было заведено, когда кто-нибудь появлялся впервые. К нам подошел молодой шофер.

– Годится, приятель. Не лезь к нему, Густав...

Но Густаву что-то во мне не нравилось. И я знал что. Он догадывался, что я новичок в этом деле.

– Считаю до трех... – заявил он. Он был на голову выше меня, на это и возлагал надежды.

Стало ясно, что держать речи тут бесполезно. Надо уезжать или драться. Случай проще простого.

– Раз... – произнес Густав, расстегивая пальто.

– Да бросьте вы, парни... – предпринял я все же еще одну попытку. – Пошли бы лучше смочили горло...

– Два, – выдал из себя Густав.

Было видно, что он собирается отделать меня по всем правилам.

– Плюс один – равняется... – Он поправил козырек фуражки.

– Заткнись, идиот! – внезапно заорал я. От неожиданности он раскрыл рот и сделал шаг вперед. И оказался там, где он мне был нужен. Я сразу же ударил. Это был удар-молот, всем корпусом. Меня ему научил Кестер. Собственно, других приемов я не знал да и не считал это нужным – ведь все зависит по большей части от первого удара. Этот вышел что надо. Густав рухнул, как мешок.

– Так ему и надо, – сказал молодой шофер. – А то вечно задирается. – Мы оттащили Густава к его машине. – Ничего, оклемается.

На душе у меня было беспокойно. В спешке я не так поставил большой палец и вывихнул его при ударе. Когда Густав придет в себя, он может сделать со мной что хочет. Я сказал об этом молодому шоферу и спросил, не лучше ли мне сматывать удочки.

– Глупости, – сказал он. – Инцидент исчерпан. Теперь айда в кабак – выставишь обещанное. Ты ведь не профессиональный шофер?

– Нет.

– И я нет. Я актер.

– Ну и как?

– Ничего, жить можно... – сказал он со смехом. – А театра и здесь хватает.

Нас в пивной было пятеро, двое пожилых и трое молодых. Немного погодя появился и Густав. Он исподлобья зыркнул в нашу сторону и подошел. Я нащупал левой рукой связку ключей в кармане, решив в любом случае сопротивляться до последнего.

Однако до этого не дошло. Густав придвинул ногой стул и упал на него всем своим телом. Вид у него был угрюмый. Владелец пивной поставил перед ним рюмку. Разлили по первой. Густав выпил одним глотком. Тут же налили по второй. Густав искоса взглянул на меня и поднял рюмку.

– Будь здоров, – сказал он мне, при этом, однако, мерзко поморщившись.

– Будь здоров, – ответил я и опрокинул свою рюмку.

Густав вынул пачку сигарет и протянул мне, не глядя.

Я взял одну и предложил ему за это огня. Потом я заказал двойную порцию кюммеля на всех. Мы выпили и кюммель. Густав снова скосил на меня глаза.

– Пижон, – сказал он. Но тон был такой, как надо.

– Обалдуй, – в том же тоне ответил я.

Он повернулся ко мне.

– Ничего ударчик...

– Случайный. – Я показал ему свой палец.

– Не повезло, – сказал он ухмыляясь. – Между прочим, меня зовут Густав.

– Меня – Роберт.

– Лады. Значит, все в порядке, Роберт, да? А я думал, ты из маменькиных сынков.

– Все в порядке, Густав.

С тех пор мы стали друзьями.

Наша очередь из машин медленно подвигалась вперед. Актеру, которого звали Томми, достался блестящий рейс – на вокзал. Густаву – коротенький, до ближайшего ресторана, всего на тридцать пфеннигов. Он чуть не лопнул от злости, так как из-за десяти пфеннигов пришлось ему снова встать в хвост. На мою долю выпало нечто редкое – старуха англичанка, желавшая осмотреть город. Мы с ней ездили не меньше часа. Возвращаясь, я еще урвал несколько мелких заказов. За обедом, когда мы, снова собравшись в пивной, жевали наши бутерброды, я уже казался себе бывалым таксистом. Эта среда чем-то напоминала мне фронтовое братство. Тут сходились люди самых разных профессий. Профессиональных шоферов было не больше половины, остальные оказались в этом деле случайно.

Под вечер, усталый и возбужденный, я въехал во двор мастерской. Ленц и Кестер уже ждали меня.

– Ну, братцы, что вы наработали? – спросил я.

– Семьдесят литров бензина, – доложил Юпп.

– Только-то?

Ленц, сделав яростное лицо, обратил его к небу.

– Дождя бы! И небольшого столкновения на мокром асфальте прямо у нас под носом! Никаких жертв! Один только маленький, миленький ремонтник!

– Смотрите сюда! – Я показал им на вытянутой ладони тридцать пять марок.

– Великолепно, – сказал Кестер. – Тут двадцать марок прибыли. Ими-то мы и тряхнем сегодня. Надо же обмыть первый денечек!

– Да, тяпнем крюшончика, – осклабился Ленц.

– Какого еще крюшончика? – спросил я.

– Да ведь с нами пойдет Пат.

– Пат?

– Не разевай так варежку, – сказал последний романтик, – мы уже давно обо всем договорились. В семь заедем за ней. Она в курсе. Приходится и нам что-то делать, раз ты не ловишь мышей. В конце концов, ты познакомился с ней благодаря нам.

– Отто, – сказал я, – ты когда-нибудь видел такого стервеца, как этот салага?

Кестер рассмеялся.

– Что это у тебя с рукой, Робби? Ты все держишь ее как-то набок.

– Кажется, вывих. – Я рассказал, как было дело с Густавом.

Ленц осмотрел мою руку.

– Так и есть! Ну ничего – как христианин и студент-медик в отставке я тебе ее, так и быть, помассирую, невзирая на все твои грубости. Пойдем уж, ты, чемпион по боксу.

Мы прошли в мастерскую, и Ленц, вылив мне на руку немного масла, принялся растирать ее.

– Слушай, а ты сказал Пат, что мы празднуем однодневный юбилей нашей таксистской деятельности? – спросил я его.

Он присвистнул.

– Неужели ж ты этого стыдишься, хмырь?

– Заткнись, – сказал я. Тем более что он был прав. – Так ты сказал или нет?

– Любовь, – заявил Ленц с невозмутимой миной, – это нечто возвышенное. Но она портит характер.

– Зато длительное одиночество делает человека бестактным. Вот как тебя, например, с твоим мрачным соло.

– Такт – это молчаливое соглашение не замечать недостатки друг друга, вместо того чтобы их исправлять. Жалкий компромисс, одним словом. Это не для немецкого ветерана, детка.

– А что бы ты стал делать на моем месте, – сказал я, – если бы, положим, твое такси вызвали по телефону, а потом бы вдруг оказалось, что это Пат?

– Во всяком случае, сын мой, я не стал бы брать с нее деньги за проезд, – ухмыльнулся он.

Я дал ему такого тумака, что он слетел с треножника.

– А знаешь, попрыгунчик, что сделаю я? Заеду за ней сегодня вечером на нашем такси.

– Воистину так! – Готфрид поднял руку для благословения. – Главное – не терять свободу! Свобода дороже любви. Но это понимаешь всегда только задним числом. Тем не менее такси ты не получишь. Оно нужно для Фердинанда Грау и Валентина. Вечер обещает быть чинным, но грандиозным.

Мы сидели в саду небольшого трактира в пригороде. Мокрая луна красным факелом повисла над лесом. Мерцали бледные канделябры цветущих каштанов, одуряюще пахло сиренью, а на столе перед нами, распространяя аромат ясенника, стояла большая стеклянная чаша с крошоном, в неверном свете густеющих сумерек она походила на опал, вобравший в себя последние голубовато-перламутровые отблески уходящего дня. По нашей просьбе чашу наполняли уже в четвертый раз за этот вечер.

За столом председательствовал Фердинанд Грау. Пат сидела с ним рядом, приколов к платью бледно-розовую орхидею, которую он ей принес.

Фердинанд выудил из своего бокала крошечного мотылька и осторожно посадил его на стол.

– Вы только посмотрите, – сказал он. – Какие крылышки! Да рядом с ними любая парча все равно что тряпка! И эдакое существо живет всего один день, и баста. – Он оглядел всех нас. – Знаете, что самое жуткое на этом свете, братцы?

– Пустой стакан, – вставил Ленц.

Фердинанд презрительно отмахнулся.

– Самое позорное для мужчины, Готфрид, – быть шутком. – Затем он снова обратился к нам: – А самое жуткое, братцы, – это время. Время. То мгновение, в течение коего мы живем и коим все же не обладаем. – Он вынул часы из кармана и поднес их к самым глазам Ленца. – Вот она, прислушайся, бумажный романтик! Адская машина. Тикает и тикает – неумолчно тикает, неостановимо, все на свете приближая к небытию. Ты можешь сдержать лавину, оползень – но этого ты не удержишь.

– Очень надо, – заявил Ленц. – Ничего не имею против того, чтобы благополучно составить. Люблю разнообразие.

– Человек этого не выносит, – продолжал Грау, не обращая на него внимания. – Человек не может этого вынести. Вот он и придумал себе в утешение мечту. Древнюю, трогательную, безнадежную мечту всего человечества о вечности.

Готфрид засмеялся.

– Самая тяжелая болезнь на свете, Фердинанд, – это привычка думать. Она неизлечима.

– Если б эта болезнь была единственной, ты был бы бессмертен, – заметил Грау. – Недолговременная комбинация углеводов, извести, фосфора и небольшого количества железа, названная на этой земле Готфридом Ленцем...

Готфрид добродушно осклабился. Фердинанд тряхнул своей львиной гривой.

– Жизнь, братцы, – это болезнь, и смерть начинается уже с рождения. Каждый вдох и каждый удар сердца – это кусочек смерти, маленький шагоч навстречу концу.

– И каждый глоток – тоже, – вставил Ленц. – Будь здоров, Фердинанд! Иной раз смерть – это дьявольски легкая штука.

Грау поднял свой бокал. По его большому лицу бесшумной грозой прокатилась улыбка.

– Будь здоров, Готфрид, наша бодрая блошка на гремучем загравке времени! И о чем только думала таинственная сила, движущая нами, когда создавала тебя?

– Это уж ее заботы. Да и не тебе скорбеть о порядке вещей, Фердинанд. Если б люди были бессмертны, ты, старый, бравый паразит смерти, остался бы без работы.

Плечи Грау затряслись. Он смеялся. А потом обернулся к Пат:

– Ну что вы скажете о нас, болтунах, вы, изящный цветок на буйно пляшущих водах!

Потом мы прошли вдвоем с Пат по саду. Луна поднялась и залила лужайки волнами серого серебра. Темными указателями в незнаемое пролегли на них длинные черные тени деревьев. Мы спустились к пруду, потом повернули обратно. По дороге наткнулись на Готфрида Ленца, который втащил прихваченный им складной стул в самые заросли сирени. Там он и сидел, затаившись, и только соломенный чуб и огонек сигареты светились в темноте. Рядом с ним на земле покоились стакан и знакомая чаша с остатками пахучего питья.

– Какое местечко! – сказала Пат. – В самой гуще сирени.

– Местечко неплохое, – согласился Ленц, вставая. – Попробуйте посидеть.

Пат села на стул. Ее лицо утонуло в цветах.

– Я с ума схожу по сирени, – сказал последний романтик. – Для меня тоска по родине – это тоска по сирени. Весной тысяча девятьсот двадцать четвертого года я сломя голову бросился сюда из Рио-де-Жанейро только потому, что мне взбрело на ум, что здесь, должно быть, цветет сирень. Ну а когда приехал, выяснилось, что сирень, разумеется, давно отцвела. – Он рассмеялся. – Вот так всегда и бывает.

– Рио-де-Жанейро... – Пат притянула к себе ветку сирени. – Вы что же, вместе там были?

Готфрид поперхнулся. У меня по спине побежали мурашки.

– Вы только гляньте, какая луна? – быстро произнес я, выигрывая время для того, чтобы ногой подать Ленцу умоляющий знак.

В слабой вспышке его сигареты я заметил, что он слегка улыбнулся и подмигнул мне. Я был спасен.

– Нет, вместе мы там не были, – заявил Готфрид. – В тот раз я был один. А как вы насчет того, чтобы сделать по последнему глотку сего божественного напитка?

Пат покачала головой:

– Больше не надо. Не могу пить так много.

Мы услышали, как Фердинанд криком сзывает нас, и пошли к нему.

Он стоял в дверях, занимая весь проем своей массивной фигурой.

– Давайте под кров, дети мои, – сказал он. – Таким, как мы, ночью нечего искать у природы. Ночью она хочет побыть одна. Крестьянин или рыбак – это еще дело другое, а у нас, горожан, все инстинкты давно отмерли. – Он положил руку на плечо Готфриду. – Ночь – это протест природы против засилья цивилизации, Готфрид! Приличный человек не в состоянии подолгу выносить это. Он замечает, что его вытолкнули из немого круга деревьев, животных, звезд и бессознательной жизни. – Он улыбнулся своей странной улыбкой, о которой нельзя было сказать, является ли она выражением радости или печали. – Входите же, дети мои! Согреем руки у костра воспоминаний. О чудесное время, когда мы были еще хвощами и ящерицами, лет эдак пятьдесят – шестьдесят миллионов назад... Господи, как же мы с тех пор опустились...

Он взял Пат за руку.

– И если бы мы не сохранили в себе хоть немного чувства красоты, все было бы потеряно. – С нежностью медведя он положил ее ладони на свой локоть. – Серебряная капелька звездной магмы, повисшая над грохочущей бездной, не согласитесь ли выпить стаканчик с первобытных времен человеком?

– Соглашусь, – сказала она. – Со всем, что хотите.

Они пошли в дом. Они выглядели как отец и дочь.

Стройная, смелая и юная дочь усталого великана, уцелевшего от былинных времен.

В одиннадцать часов мы поехали обратно. Валентин с Фердинандом в такси, которое вел Валентин. Остальных вез «Карл». Ночь была теплой, и Кестер поехал окольным путем, мимо вереницы деревень, прикорнувших у дороги. Они провожали нас редкими огоньками и одиноким лаем собак. Ленц сидел впереди рядом с Отто и пел песни; мы с Пат примостились сзади.

Кестер замечательно вел машину. Повороты он брал как птица. Он все делал будто играючи, столько в нем было уверенной в себе силы. Он ехал вовсе не жестко, как большинство гонщиков. Можно было спать, не просыпаясь и на виражах, настолько спокойно и плавно шла машина. Скорость совершенно не ощущалась.

По звуку шин мы узнавали об очередной смене дорожного покрытия. На асфальте они посвистывали, на брусчатке глухо рокотали. Лучи наших фар убегали далеко вперед, как две гончие светлой масти, вырывая из темноты то трепещущую на ветру березовую аллею, то строй тополей, то вознесенные над приземистыми домами телеграфные столбы, то застывшие, как на параде, ряды лесных просек. Беспредельно высоко над нами, пронизанный тысячью звезд, курился и таял бледный дым Млечного Пути.

Темп нарастал. Я укрыл Пат еще и своим пальто. Она улыбнулась мне.

– Ты меня любишь? – спросил я.

Она покачала головой.

– А ты меня?

– Нет. Какое счастье, не правда ли?

– Великое.

– Ведь в таком случае с нами ничего не может случиться, а?

– Ничегошеньки, – сказала она и нашла под пальто мою руку.

Шоссе спикировало по широкой дуге к железной дороге. Поблескивали рельсы. Далеко впереди раскачивались красные огоньки. «Карл» взревел и ринулся к этой цели. То был скорый поезд со спальными вагонами и ярко освещенным вагоном-рестораном. Мы догнали его и какое-то время шли вровень. Из окон поезда нам махали, но мы не махали в ответ. Мы вырвались вперед. Я оглянулся. Паровоз извергал дым и искры. Он тяжело дышал, чернея на синем небе. Мы его обогнали – но мы ехали в город, туда, где такси, мастерские и мебелирашки. А он пыхтел, но бежал сквозь леса и поля и реки в дальнюю даль, на простор приключений.

Надвинулись улицы с их домами. «Карл» чуть унял свой норов, но все равно ревел диким зверем.

Кестер остановил машину недалеко от кладбища. Он не поехал ни к Пат, ни ко мне, просто высадил нас где-то поблизости, вероятно, решил, что нам надо побыть вдвоем. Мы вышли. Машина тут же со свистом умчалась, и оба даже не оглянулись. Я смотрел им вслед. На миг мне все показалось таким странным. Они уехали, мои товарищи уехали, а я остался. А я остался.

Но я тут же стряхнул с себя оцепенение.

– Пойдем, – сказал я Пат, которая смотрела на меня и, кажется, угадала мое состояние.

– Поезжай с ними, – сказала она.

– Нет, – сказал я.

– Тебе ведь хочется поехать с ними...

– Ну что ты... – сказал я, понимая, что она права. – Пойдем.

Мы пошли вдоль кладбища, еще слегка пошатываясь и от ветра, и после поездки.

– Робби, – сказала Пат, – мне лучше пойти домой.

– Почему?

– Я не хочу, чтобы ты из-за меня отказывался от чего-то.

– Да почему ты решила, что я от чего-то отказываюсь? И от чего?

– От своих товарищей...

– Да не отказываюсь я от них вовсе – завтра же утром увижу их снова.

– Ты ведь понимаешь, что я имею в виду, – сказала она. – Раньше ты был гораздо больше с ними.

– Потому что у меня не было тебя, – сказал я, открывая дверь.

Она покачала головой:

– Это совсем другое.

– Разумеется, это другое. И слава Богу.

Я взял ее на руки и пронес по коридору в свою комнату.

– Тебе нужны товарищи, – прошептала она прямо мне в ухо.

– Ты тоже нужна мне, – возразил я.

– Но не настолько...

– Это мы еще посмотрим...

Я ногой распахнул свою дверь и осторожно поставил Пат на пол. Она не отпускала меня.

– Я, знаешь ли, очень плохой товарищ, Робби.

– Надеюсь, что так, – сказал я. – Я и не хочу себе в товарищи женщину. Мне нужна возлюбленная.

– А я и не возлюбленная, – пробормотала она.

– А кто же ты?

– Так, ни то ни се. Некий фрагмент...

– А это самое лучшее, – сказал я. – Это возбуждает фантазию. Таких женщин любят вечно. Женщины определенно-законченные быстро надоедают. Цельно-совершенные тоже. Фрагменты же – никогда.

Было четыре часа утра. Я проводил Пат домой и возвращался к себе. Небо уже слегка посветлело. Пахло утренней прохладой.

Я уже прошел кладбище и кафе «Интернациональ» и приближался к дому. Тут открылась дверь шоферской закуской рядом с домом профсоюзов, и вышла девушка. Беретик, старенькое красное пальтецо, лаковые сапожки на высоком каблуке – я уже почти прошел мимо, как вдруг узнал ее.

– Лиза...

– О, тебя еще можно встретить...

– Откуда это ты? – спросил я.

Она слегка кивнула в сторону закуской.

– Ждала тут кое-кого. Тебя, например. Ты ведь обычно в это время возвращаешься домой.

– Да, верно...

– Пойдешь со мной? – спросила она.

Я замялся.

– Не получится...

– Денег не надо, – торопливо сказала она.

– Не в этом дело, – брякнул я, не подумав. – Деньги у меня есть.

– Вот как... – горько произнесла она и отступила на шаг.

Я схватил ее руку.

– Да нет, Лиза...

Худенькая, бледная, она стояла на пустынной серой улице. Такой я ее и встретил много лет назад, когда жил одиноко и тупо, не задумываясь и не надеясь. Поначалу она была недоверчива, как все эти девицы, но потом, после нескольких разговоров по душам, она трогательно раскрылась и привязалась ко мне. Отношения были самые странные, иногда она пропадала по неделям, а потом вдруг возникала где-нибудь, поджидая. В ту пору около меня – как и около нее – не было ни души, поэтому даже та малость тепла и участия, которой мы могли наделить друг друга, ценилась нами выше обычного... Я давно уже не видел Лизу, с тех пор как познакомился с Пат – вообще ни разу.

– Где же ты пропадала так долго, Лиза?

Она пожала плечами:

– Не все ли равно? Просто я хотела повидать тебя. Ну да ладно... Поплечусь восвояси.

– Ну а как ты вообще-то?

– Брось... – сказала она. – Не напрягайся.

Губы ее дрожали. Вид был изголодавшийся.

– Пойдем, я провожу тебя немного, – предложил я.

Ее несчастное, окаменелое лицо проститутки оживилось и стало детским. По дороге я купил ей кое-какой еды в шоферских закуских, которые работали всю ночь. Сперва она отказывалась и лишь после того, как я заявил, что тоже хочу есть, согласилась. Но при этом она внимательно следила за тем, чтобы меня не обманули и не подсунили что похуже. Она возражала против половины фунта ветчины, говорила, что хватит и четверти, раз уж мы берем еще франкфуртские сардельки. Но я взял полфунта ветчины и две банки сарделек.

Жила она в чердачном помещении, которое кое-как приспособила под жилье. На столе стояла керосиновая лампа, а рядом с кроватью свеча в бутылке вместо подсвечника. На стенах висели картинки, вырезанные из журналов и прикрепленные кнопками. На комодѣ валялось несколько детективных романов, рядом пачка фотографий непристойного содержания. Иные из посетителей, особенно женатые, любили разглядывать подобные вещи. Лиза смахнула их в ящик комода и достала из него застиранную, но чистую скатерть.

Я развернул покупки. Лиза тем временем переодевалась. Прежде всего она сняла платье, хотя я знал, как у нее устали ноги. Ведь ей приходилось столько ходить. Она стояла передо мной в высоких сапогах до колен и в черном белье.

– Как тебе мои ноги? – спросила она.

– Первый сорт, как всегда.

Она была удовлетворена и с облегчением села на кровать, чтобы расшнуровать ботинки.

– Сто двадцать марок стоят, – сказала она, демонстрируя их мне. – Пока заработаешь столько, от них останутся одни дырки.

Она достала из шкафа кимоно и выцветшие парчовые босоножки, уцелевшие от лучших времен. При этом она улыбнулась почти виновато. Она хотела нравиться. Я вдруг почувствовал ком в горле. В этой крохотной каморке на верхотуре меня настигло такое чувство, будто у меня кто-то умер.

Потом мы ели и я занимал ее разговорами, стараясь быть чутким. Но она все же заметила какую-то перемену во мне. В глазах ее появился страх. Между нами никогда не было ничего более того, что дает случай. Но может быть, это обязывало и соединяло больше, чем многое другое.

– Уже уходишь? – спросила она, когда я поднялся, с таким чувством, будто давно ждала и боялась этого.

– Мне еще нужно повидать кое-кого...

Она посмотрела на меня.

– Так поздно?

– Да, это по делу. По очень важному для меня делу, Лиза. Надо попытаться обязательно перехватить его. В это время он обычно сидит в «Астории».

Девушки вроде Лизы понимают важность дела лучше всех женщин на свете. Но и заморочить им голову труднее, чем любым другим женщинам.

– У тебя появилась другая...

– Но подумай сама, Лиза, ведь мы так редко виделись, в последний раз – больше года назад, и ты ведь не думаешь, что все это время...

– Нет-нет, я не это имела в виду. У тебя появилась женщина, которую ты любишь! Ты изменился. Я это чувствую.

– Ах, Лиза...

– Да, да! Признайся!

– Да я и сам еще не знаю. Может быть...

Она постояла, оцепенев, потом закивала:

– Ну да, ну да, конечно... А я-то, дура... Да и что у нас, в сущности, было... – Она провела рукой по лбу. – И что это мне взбрело, не знаю...

Ее худенькая фигурка застыла передо мной ломким и трогательным вопросом. Парчовые босоножки, кимоно, память о длинных пустых вечерах...

– До свидания, Лиза...

– Уходишь?... Не побудешь еще?... Уже уходишь?...

Я понимал, что она имеет в виду. Но я не был на это способен. Престранная вещь, но я действительно не мог этого и всем своим существом ощущал, что не могу. Раньше такого со мной не случалось. У меня не было преувеличенных представлений о верности. Но теперь просто ничего бы не получилось. Я вдруг почувствовал, как далеко отодвинулось от меня мое прошлое.

Я вышел, она осталась в дверях.

– Уходишь... – Она побежала внутрь комнаты. – Вот, я видела, ты сунул мне деньги... вот, под газетой... Я не возьму, не хочу, вот, на, на... А теперь уходи, уходи же...

– Мне действительно нужно, Лиза.

- Ты больше никогда не придешь...
 - Приду, Лиза...
 - Нет, нет, не придешь, я знаю! И не приходи, не надо! Иди, да иди же ты...
- Она рыдала. Я, не оборачиваясь, сбежал вниз по лестнице.

Я еще долго бродил по улицам. Странная была ночь. Заснуть я бы не смог, сна не было ни в одном глазу. Снова прошел мимо «Интернационаля», думая о Лизе и о прежних годах, о многом из того, что уже забыл, что совсем отдалилось и уже не принадлежало мне больше. Потом я пошел улицей, на которой жила Пат. Ветер усилился, все окна в ее доме были темны, рассвет на своих серых лапах уже подкрадывался к ним, и я наконец-то повернул домой. «Боже мой, – думал я, – неужели я счастлив!»

ХІІІ

– Эта дама, которую вы все прячете... – сказала фрау Залевски, – так вот – можете ее больше не прятать. Пусть она приходит к вам открыто. Она мне нравится...

– Да ведь вы ее даже не видели, – возразил я.

– Уж я-то видела, это вы будьте покойны, – произнесла фрау Залевски со значением. – Я ее видела, и она мне нравится, и даже очень. Но эта женщина не для вас!

– Вы полагаете?

– Нет, не для вас. Я еще подивилась, как это вы сумели подцепить ее в своих кабаках. Хотя, с другой стороны, как раз самые забубенные мужчины...

– Мы уклоняемся от темы, – прервал я ее.

– Это женщина для человека солидного, с положением, – заявила она, подбоченившись. – Для человека богатого, одним словом!

«Вот те раз, – подумал я. – Только этого мне еще не хватало».

– Это ведь можно сказать о любой женщине, – заявил я, задетый.

Она тряхнула своими седыми завитушками.

– Подождите еще! Будущее покажет, что я была права!

– Ох уж это будущее! – Я с досадой швырнул на стол свои запонки. – Кто сегодня рассчитывает на будущее? Какой толк уже заранее ломать себе голову?

Фрау Залевски укоризненно покачала своей величественной головой.

– До чего же странная пошла молодежь! Прошлое вы ненавидите, настоящее презираете, а на будущее вам наплевать. Ну чем хорошим это может кончиться?

– А что вы называете хорошим концом? – спросил я. – Конец может быть хорошим только в том случае, если до него все было плохо. Так что плохой конец будет много лучше.

– Это все еврейские штучки, – возразила фрау Залевски с достоинством и решительно повернулась к двери. Но тут, уже взявшись за ручку, она вдруг остановилась как вкопанная. – Смокинг? – выдохнула она с изумлением. – У вас? – Она выпучила глаза на костюм Отто Кестера, висевший на дверце шкафа. Я взял его, чтобы сходить вечером с Пат в театр.

– Совершенно верно – у меня! – сказал я ядовитым тоном. – Ваша способность к умозаключениям просто поразительна, сударыня...

Она посмотрела на меня. Туча мыслей, пробежавшая по ее жирной физиономии, породила молнию всепонимающей усмешки.

– Ага! – сказала она. И потом повторила: – Ага!

И уже за дверью она бросила мне через плечо с наслаждением и вызовом, озаренным вечной радостью, какую испытывает женщина, делая подобные открытия:

– Так, значит, обстоят дела!

– Да, так обстоят дела, чертова кукла, – буркнул я себе под нос, когда она уже не могла меня слышать. И в сердцах шмякнул об пол картонку с новыми лакированными туфлями. Богатый человек ей нужен! Тоже мне открытие!

Я зашел за Пат. Она, уже одетая для выхода, поджидала меня у себя в комнате. У меня прямо-таки перехватило дыхание, когда я ее увидел. Впервые с тех пор, как мы были знакомы, на ней было вечернее платье.

Это было платье из серебристой парчи, изящно и мягко ниспадавшее с ее прямых плеч. Казавшееся узким, оно вовсе не стесняло ее свободный широкий шаг. Спереди оно было глухо закрыто, а на спине был вырез в виде длинного узкого треугольника. В синих матовых сумерках Пат походила на серебряный факел – так резко и неожиданно она преобразилась. Праздничный

вид сделал ее очень далекой. Тень фрау Залевски с ее высоко поднятым пальцем витала над ней.

– Хорошо, что ты не была в этом платье, когда я с тобой знакомился, – сказал я. – А то бы в жизни не решился.

– Так я тебе и поверила, – улыбнулась она. – Тебе нравится, Робби?

– До жути! Как будто передо мной совсем другая женщина.

– Что же тут жуткого? Платья на то и существуют.

– Возможно. Но меня это как-то подавляет. Тебе бы к этому платью другого мужчину.

Мужчину, у которого много денег.

Она рассмеялась.

– Мужчины, у которых много денег, по большей части отвратительны, Робби.

– Но ведь не деньги же, а?

– Нет, не деньги.

– Так я и думал.

– А ты сам разве так не считаешь?

– Почему же, – сказал я. – Деньги хоть и не делают счастливым, но действуют чрезвычайно успокаивающе.

– Они делают независимым, милый, а это намного больше. Но если хочешь, я могу надеть другое платье.

– Исключено. Это платье великолепно. С сегодняшнего дня я портных ставлю выше, чем философов! Эти люди привносят в жизнь красоту. А это во сто крат ценнее и самых глубоких мыслей! Только смотри, как бы я в тебя не влюбился!

Пат засмеялась. Я незаметно оглядел себя. Кестер был чуть выше меня, и мне пришлось прихватить брюки на поясе булавками, чтобы они кое-как сидели. Слава Богу, они сидели.

Мы поехали в театр на такси. По дороге я все больше молчал и сам не мог понять отчего. Расплачиваясь, я против собственной воли взглянул на шофера. У него были возбужденные, покрасневшие глаза, небрит, выглядит очень устало. Деньги взял равнодушно.

– Как с выручкой сегодня? – тихо спросил я.

Он посмотрел на меня.

– Да ничего... – вяло сказал он, не желая поддерживать разговор. Видно, принял меня за любопытного.

На мгновение у меня возникло такое чувство, что мне надо сесть за баранку и уехать. Но я обернулся и увидел перед собой стройную, гибкую фигуру Пат. В серебристом жакете поверх такого же цвета платья она была прекрасна и полна нетерпения.

– Идем же, Робби, скоро начнется!

Перед входом толпился народ. Сегодня давали премьеру, и театр был освещен прожекторами, машина подкатывала за машиной, из них выходили, сверкая драгоценностями, женщины в вечерних туалетах и мужчины во фраках, все с розовыми холеными лицами, смеющиеся, довольные, непринужденные, беззаботные; устало фырча и тарыхтя, из этой блестящей толпы выбралось старенькое такси с усталым шофером.

– Скорее же, Робби! – крикнула Пат, глядя на меня сияющими и возбужденными глазами. – Ты что-нибудь забыл?

– Нет-нет, ничего, – сказал я, неприязненно посмотрев на публику.

Потом я пошел в кассу и поменял наши билеты. Взял два в ложу, хотя это стоило целого состояния. Мне вдруг страшно не захотелось, чтобы Пат сидела в окружении этих самоуверенных людей, для которых все здесь было привычно. Я не хотел, чтобы она принадлежала им. Я хотел, чтобы мы были одни.

Давненько я не был в театре. И не пошел бы теперь, если б не Пат. Театры, концерты, книги – от этих буржуазных привычек я давно уже успел поотвыкнуть. Да и время было не то. В политике и без того хватало театра, ежевечерняя стрельба на улицах заменяла концерты, а гигантская книга нужды была убедительнее, чем все библиотеки мира.

Все ярусы и партер были полны. Свет погас сразу, едва только мы отыскивали свои места. По залу сеялся лишь слабый свет рампы. Мощно вступила музыка и словно бы вовлекла все в свой вихрь.

Я задвинул свой стул подальше в угол ложи. Так я не видел ни сцену, ни бледные овалы зрительских лиц. Я только слушал музыку, глядя на лицо Пат.

Музыка околдовала зал. Она была как знойный ветер, как теплая ночь, как полный парус под звездами, она была совершенной фантастикой, эта музыка к «Сказкам Гофмана». Она словно раздвигала границы, заливала мир красками, вбирала в себя грохот неистового потока жизни, и не было больше ни тяжести, ни препон, а были лишь блеск, и мелодия, и любовь, и нельзя было понять, как могут за стенами театра царить нужда, и мука, и отчаяние, когда здесь есть эта музыка.

На лицо Пат падал таинственный отсвет сцены. Она полностью отдалась музыке, и я любил ее за то, что она не прижималась ко мне, не искала мою руку и даже ни разу не взглянула на меня, как будто совсем забыв о моем существовании. Я терпеть не мог, когда смешивали разные вещи, все эти телячьи нежности на фоне грандиозной красоты великого произведения, терпеть не мог эти умильно-чувственные взгляды, которыми обмениваются любовные парочки, эти тупо-блаженные прижимания, это непристойно-счастливое воркование – самозабвенное, отрешенное ото всего на свете; терпеть не мог и всю эту болтовню о слиянии сердец, ибо считал, что близость двоих имеет свои пределы и что нужно как можно чаще разлучаться, чтобы радоваться новым встречам. Потому что счастье быть вместе по-настоящему испытывает лишь тот, кто подолгу оставался один. Все остальное ослабляет тайну любовного напряжения. А что еще в состоянии прорвать магический круг одиночества, если не напор чувств, не разящее потрясение, не разгул стихий, буря, ночной хаос, музыка! И не любовь...

* * *

Разом вспыхнул свет. Я на мгновение зажмурил глаза. О чем это я тут думал? Пат повернулась ко мне. Я увидел, что публика устремилась к дверям. Большой антракт.

– Не хочешь ли выйти? – спросил я.

Пат покачала головой.

– Слава Богу! Терпеть не могу эту манеру пялиться друг на друга в перерыве.

Я отправился за стаканом апельсинового сока для Пат. Буфет осаждала армия голодающих. Почему-то музыка необыкновенно возбуждает аппетит. Горячие сардельки исчезали с такой скоростью, будто в стране свирепствовал голодный тиф.

Вернувшись с добытым стаканом в ложу, я увидел, что за стулом Пат стоит некто, с кем она, повернув голову, оживленно беседует.

– Роберт, это господин Бройер, – сказала она.

«Господин Бугай», – подумал я, без всякого удовольствия глядя на него. Она сказала «Роберт» вместо обычного «Робби». Я поставил стакан на барьер ложи и стал ждать, когда уйдет этот человек в великолепно сшитом смокинге. Но он без умолку болтал о режиссуре и труппе и уходить не собирался. Пат повернулась ко мне:

– Господин Бройер спрашивает, не пойдём ли мы после спектакля в «Каскад»?

– Как хочешь, – сказал я.

Господин Бройер объяснил, что в «Каскаде» можно потанцевать. Он был крайне вежлив и в общем-то понравился мне. Вот только эта неприятная мне непринужденная элегантность,

которая, как я думал, должна была действовать на Пат и которой я не обладал. Внезапно я услышал – и не поверил своим ушам, – что он обращается к Пат на ты. И хотя для этого могло найтись сто самых безобидных оснований, мне сразу захотелось выкинуть его в оркестровую яму.

Прозвенел звонок. Музыканты стали настраивать инструменты. По скрипкам запорхали легкокрылые звуки флажолета.

– Итак, мы условились – встречаемся у выхода, – сказал Бройер и наконец-то ушел.

– Это что за фрукт? – спросил я.

– Это не фрукт, а очень милый человек. Мой старинный знакомый.

– Против твоих старинных знакомых я имею кое-что возразить, – сказал я.

– Ну-ну, слушай-ка лучше музыку, дорогой, – сказала Пат.

Теперь еще этот «Каскад». Я мысленно пересчитал свои деньги. Проклятая злая яма! Я решил все же сходить с ними хотя бы из мрачного любопытства. Как раз этого Бройера мне и недоставало после того, что накаркала фрау Залевски. Он уже ждал нас у выхода.

Я стал звать такси.

– Оставьте, – сказал Бройер, – в моей машине достаточно места.

– Прекрасно, – сказал я. А что еще оставалось? Все прочее было бы смешно. Но все равно было противно.

Пат машина Бройера была знакома. Это был большой «паккард», стоявший под косым углом к тротуару. Пат прямо пошла к нему.

– А цвет теперь другой, – сказала она, остановившись перед машиной.

– Да, серый, – сказал Бройер. – Так тебе больше нравится?

– Гораздо больше.

Бройер повернулся ко мне.

– А вам? Нравится вам этот цвет?

– Я ведь не знаю, какой был прежде, – ответил я.

– Черный.

– Черная машина выглядит очень красиво.

– Несомненно. Но ведь иногда хочется перемен! Но ничего, к осени у меня будет новая.

Мы поехали в сторону «Каскада». Это был весьма фешенебельный дансинг с хорошим оркестром.

– Кажется, больше не пускают, – обрадованно заметил я, когда мы подошли к входу.

– Жаль, – сказала Пат.

– Пустяки, уж это мы как-нибудь уладим, – заявил Бройер и пошел к администратору.

По всей видимости, его тут хорошо знали, потому как для нас специально внесли столик и стулья, и уже через несколько минут мы сидели в самом лучшем месте зала, откуда все хорошо было видно.

Оркестр играл танго. Пат облокотилась о барьер.

– Ах, как давно я не танцевала...

Бройер немедленно встал.

– Ты позволишь?

Пат посмотрела на меня загоревшимся взглядом.

– Я пока закажу что-нибудь, – сказал я.

– Хорошо.

Танго длилось долго. Танцуя, Пат время от времени поглядывала на меня и улыбалась. Я кивал в ответ, хотя чувствовал себя не блестяще. Она прелестно выглядела и великолепно танцевала. К сожалению, Бройер тоже очень хорошо танцевал, и вместе они смотрелись отлично. Они танцевали так, будто много раз делали это вместе. Я заказал себе большую рюмку рома.

Они вернулись к столику. Бройер заметил каких-то знакомых и пошел поздороваться с ними, а мы с Пат остались на минуту одни.

– Давно ты знаешь этого мальчика? – спросил я.

– Давно. А почему ты спрашиваешь?

– Да так. Ты с ним здесь часто бывала?

Она посмотрела на меня.

– Я уже не помню, Робби.

– Такие вещи обычно помнят, – сказал я жестко, хотя понимал, что она имела в виду.

Она покачала головой, улыбаясь. Я очень любил ее в эту минуту. Она хотела показать мне, что прошлое забыто и не имеет значения. Но меня что-то подзуживало, что я и сам находил смешным, но с чем я не мог совладать. Я поставил рюмку на стол.

– Ты спокойно можешь во всем признаться. Что же тут особенного?

Она снова посмотрела на меня.

– Неужели ты думаешь, что мы сейчас сидели бы здесь, если б действительно что-то было?

– Нет, не думаю, – сказал я пристыженно.

Оркестр снова заиграл. Вернулся Бройер.

– Блюз, – сказал он, обращаясь ко мне. – Прелесть. Хотите потанцевать?

– Нет! – ответил я.

– Жаль.

– Тебе надо попробовать, Робби, – сказала Пат.

– Лучше не надо.

– Но почему же? – спросил Бройер.

– Не испытываю удовольствия, – ответил я недружелюбно. – Да и не учился никогда.

Времени не было. Но вы можете спокойно танцевать, я найду чем заняться.

Пат колебалась.

– Ну что ты, Пат, – сказал я. – Раз тебе это в радость...

– Да, конечно. Но ты правда не будешь скучать?

– Ни в коем случае! – Я показал на рюмку. – Тоже своего рода танцы.

Они ушли. Я допил свою рюмку и подозвал кельнера. Потом сидел за столом, пересчитывая соленые миндалинки. Рядом со мной сидела тень фрау Залевски.

Бройер привел с собой нескольких знакомых к нашему столику. Двух хорошеньких женщин и довольно молодого мужчину с совершенно лысой маленькой головой. Потом к нам присоединился еще один мужчина. Все они были легки, как пробки, ловки в обращении, уверены в себе. Пат знала всех четверых.

Я же чувствовал себя настоящим чурбаном. До сих пор я всегда бывал с Пат только наедине. И вот впервые увидел людей, с которыми она встречалась до меня. Я не знал, как себя с ними держать. Они двигались легко и непринужденно, они явились из другой жизни, в которой все шло гладко, в которой люди не замечали того, чего не желали замечать, словом, то были люди из другого мира. Будь я один тут, или с Ленцем, или с Кестером, меня бы ничто не тревожило и все было бы безразлично. Но здесь была Пат, она знала их, и это меня мучило, угнетало, все время заставляло сравнивать.

Бройер предложил перебраться всей компанией в другой ресторан.

– Робби, – сказала Пат, когда мы выходили, – не пойти ли нам лучше домой?

– Нет, – сказал я, – зачем?

– Тебе ведь скучно.

– Ни капельки. Почему мне должно быть скучно? Напротив! И потом, тебе ведь весело?

Она посмотрела на меня, но ничего не сказала.

Я начал пить. Не так, как до этого, а по-настоящему. Лысый обратил на это внимание. Он спросил, что я пью.

– Ром, – ответил я.

– Грог? – переспросил он.

– Нет, ром, – сказал я.

Он попробовал тоже и поперхнулся.

– Черт побери, – сказал он уважительно, – к этому надо привыкнуть.

Обе женщины теперь смотрели на меня. Пат танцевала с Бройером, часто поглядывая в мою сторону. Я делал вид, что этого не замечаю. Я понимал, что это нехорошо, но что-то нашло на меня. Меня злило еще, что все наблюдают за тем, как я пью. Мало радости импонировать людям таким способом, я все же не гимназист. Я встал и направился к бару. Мне показалось, что Пат мне совсем чужая. Пусть катится к черту со своими людишками. Она такая же, как они. Нет, она не такая... Такая!

Лысый потащился за мной. Мы выпили с барменом водки. Бармены – это вечное наше утешение. С ними и без всяких слов сразу найдешь общий язык в любой точке земного шара. Этот тоже был парень что надо. Только лысый никуда не годился. Жаждал излиться. Некая Фифи не шла у него из ума. Впрочем, вскоре он перескочил с нее на Пат и сказал мне, что Бройер уже много лет влюблен в нее.

– Вот как? – сказал я.

Он хихикнул. После коктейля «Прэри ойстер» он умолк. Но то, что он сказал, застряло у меня в башке. Меня злило, что я так влип. Злило, что это меня так задевает. И еще злило, что я не могу грохнуть кулаком по столу. Я чувствовал, как где-то во мне зарождается холодная страсть к разрушению. Но направлена она была не против других, а против меня самого.

Лепеча что-то бессвязное, лысый исчез. Я остался у стойки. Внезапно я почувствовал, что к моей руке прижимается чья-то крепкая грудь. Это была одна из женщин, которых привел Бройер. Она уселась вплотную ко мне, обволакивая меня матовой зеленью своих косоватых глаз. После такого взгляда, собственно, говорить не нужно – нужно действовать.

– Как это здорово – уметь так пить, – сказала она немного погодя.

Я молчал. Она протянула руку к моему бокалу. Ее сверкающая драгоценностями рука походила на сухую и жилистую ящерицу. И двигалась она медленно, будто ползла. Я отдавал себе отчет в том, что происходит. «С тобой-то я покончу в два счета, – думал я про себя. – Ты меня недооцениваешь. Видишь, что я злюсь, и думаешь, что я на все готов. Но ты ошибаешься. С женщинами я могу разделаться быстро – это с любовью я разделаться не могу. Несбыточное – вот что нагоняет на меня тоску».

Женщина о чем-то заговорила. Голос у нее был ломкий, какой-то стеклянный. Я заметил, как Пат смотрит в нашу сторону. Плевать. Но и на женщину рядом со мной мне было плевать. У меня было такое чувство, будто я бесшумно падаю в бездонную и скользкую пропасть. Это чувство не имело никакого отношения к Бройеру и его знакомым. Оно не имело отношения даже к Пат. То была сама мрачная тайна жизни, которая будит жажду желаний, но никогда не может ее утолить, которая зачинает любовь в человеке и никогда не может ее завершить, которая если и посылает все – любовь, человека, счастье, радость жизни, – то всего этого по какому-то ужасному правилу всегда оказывается слишком мало, и чем большим кажется тебе то, что у тебя есть, тем меньше его оказывается на самом деле. Я украдкой взглянул туда, где была Пат. Вон она там передвигается в своем серебристом платье, юная и прекрасная, пламенеющий факел жизни; и я любил ее, и когда говорил ей «приди», она приходила, и ничто не разделяло нас больше, мы могли быть близки, как только могут быть близкими люди, – и все-таки иногда каким-то загадочным образом все погружалось вдруг в муку и мрак, и я не мог вынуть ее из кольца вещей, не мог вырвать ее из круга того бытия, которое над нами и в нас, которое навязывает нам свои законы, свое дыхание и тлен, и сомнительный блеск

настоящего с его провалом в ничто, и зыбкую иллюзию чувства, в погоне за которым всегда остаешься в проигрыше. Нет, невозможно его удержать, невозможно! Не распутать, не снять ее с себя, эту гремучую цепь времени, не превратить неутомимость в сон, рыскания в покой, падения в пристанище. Я не мог отделить ее ни от одной из сонма цепких случайностей, не мог отъединить ее от того, что было прежде, до того, как я узнал ее, от целой тьмы мыслей, воспоминаний, от всего, что ваяло ее до моего появления, и даже от этих людишек – не мог...

Рядом со мной звучал надломленный голос женщины. Она искала себе спутника на одну ночь, цеплялась за кусочек чужой жизни, чтобы подстегнуть себя, забыть, забыть себя и мучительно ясное понимание того, что ничего никогда не остается, ни «я», ни «ты» и уж меньше всего «мы». Разве не искала она, по сути, того же, что и я? Спутника, чтобы забыть об одиночестве жизни, товарища, чтобы справиться с бессмысленностью бытия...

– Идемте, – сказал я, – идемте назад. Все это безнадежно – и то, чего вы хотите, и то, чего хочу я.

Она окинула меня взглядом и, запрокинув голову, расхохоталась.

Мы побывали еще в нескольких ресторанах. Бройер был возбужден, речист и полон надежд. Пат притихла. Она ни о чем не спрашивала меня, ни в чем не упрекала, не пыталась ничего выяснить, она просто присутствовала, иногда улыбалась мне, иногда танцевала – и тогда казалось, будто это тихий, нарядный, стройный кораблик скользит сквозь рой марионеток и карикатурных фигур.

Сонливый чад ночных заведений словно прошелся своей серо-желтой ладонью по лицам и стенам. А музыку как будто загнали под стеклянный колпак. Лысый пил кофе. Женщина с руками, похожими на ящериц, уставилась в одну точку. Бройер купил розы у поникшей от усталости цветочницы и разделил их между Пат и двумя женщинами. На полураскрытых бутонках застыли маленькие чистые бисеринки воды.

– Давай потанцуем с тобой хоть раз, – сказала мне Пат.

– Нет, – сказал я, думая о том, какие руки ее сегодня касались. – Нет, нет. – Я почувствовал себя нелепым и жалким.

– И все-таки мы потанцуем, – сказала Пат, и глаза ее потемнели.

– Нет, – сказал я, – нет, Пат.

Потом наконец мы собрались уходить.

– Я отвезу вас домой, – сказал мне Бройер.

– Хорошо.

У него в машине нашелся плед, который он положил Пат на колени. Она выглядела теперь очень бледной и усталой. Женщина, с которой мы сидели за стойкой, при прощании сунула мне записку. Я сделал вид, что этого не заметил, и сел в машину. Дорогой смотрел в окно. Пат сидела в углу и не шевелилась. Я даже не слышал ее дыхания. Бройер поехал сначала к ней. Он знал, где она живет, вопросов не задавал. Она вышла из машины. Бройер поцеловал ей руку.

– Спокойной ночи, – сказал я, не взглянув на нее.

– Где вас посадить? – спросил меня Бройер.

– На ближайшем углу.

– Я с удовольствием довезу вас до дома, – возразил он как-то поспешно и преувеличенно вежливо.

Он явно не хотел, чтобы я вернулся к ней. Я раздумывал, не дать ли ему по физиономии. Но он был мне слишком безразличен.

– Ладно, тогда отвезите меня к бару «Фредди».

– А пустят вас в такое время?

– Очень трогательно, что вас это заботит, – сказал я, – но будьте покойны, меня везде еще пускают.

Как только я произнес эти слова, мне стало его жаль. Ведь он наверняка казался себе весь вечер лихим и обаятельным гулякой. Такие иллюзии нельзя разрушать. Я простился с ним более учтиво, чем с Пат.

В баре было еще довольно много народу. Ленц и Фердинанд Грау играли в покер с владельцем магазина модной одежды Больвисом и еще с несколькими мужчинами.

– Присаживайся, – сказал Готфрид, – сегодня покерная погода.

Я отказался.

– Да ты только посмотри, – сказал он, кивая на целую кучу денег. – И без всякого блефа.

Масть сама так и прет.

– Ну ладно, – согласился я. – Давай.

Я на первой же сдаче на двух королях обставил четверых.

– Каково! – воскликнул я. – Похоже, и в самом деле сегодня шулерская погода.

– Тут такая всегда, – заметил Фердинанд, протягивая мне сигареты.

Я не хотел здесь задерживаться. Но теперь вдруг снова почувствовал почву под ногами.

Настроение, конечно, было неважное, но все-таки здесь была моя старая честная родина.

– Поставь-ка мне полбутылки рома! – крикнул я Фреду.

– Смешай его с портвейном, – сказал Ленц.

– Нет, – сказал я. – Некогда экспериментировать. Хочу надраться.

– Ну так выпей сладких ликеров. Что, поссорился?

– Ерунда.

– Не скажи, детка. И не пудри мозги старому папаше Ленцу, который собаку съел в сердечных делах. Признавайся и хлобыщи.

– С женщиной нельзя ссориться. На нее можно разве что злиться.

– Что-то слишком тонко для трех часов ночи. Я, кстати говоря, ссорился с каждой. Когда кончаются ссоры, то скоро и всему конец.

– Ладно, – сказал я, – кто сдает?

– Ты, – сказал Фердинанд Грау. – Радуйся, у тебя мировая скорбь, Робби. Береги ее как зеницу ока. Жизнь пестра, но несовершенна. Между прочим, для человека с мировой скорбью ты блефуешь на славу. Два короля – это уже наглость.

– Как-то я наблюдал партию, в которой на двух королей поставили семь тысяч франков, – сказал Фред от стойки.

– Швейцарских или французских? – спросил Ленц.

– Швейцарских.

– Твое счастье, – заявил Готфрид. – Если бы французских, тебе бы попало за то, что мешаешь игре.

Мы играли в течение часа. Я довольно много выиграл, больше постоянно проигрывал. Я пил, но не чувствовал ничего, кроме головной боли. Хмельное блаженство не наступало. Я только острее все чувствовал. В животе начался настоящий пожар.

– Ну а теперь кончай игру и поешь чего-нибудь, – сказал Ленц. – Фред, дай ему сандвич и пару сардин. Прячь деньги в карман, Робби.

– Давай еще один кон.

– Ладно. Но последний. По двойной ставке?

– По двойной! – загудели все.

Я довольно безрассудно прикупил три карты к десятке и королю треф. Пришли валет, дама и туз той же масти. С таким набором я выиграл у Больвиса, у которого на руках был полный комплект восьмерок. Больвис взвился под потолок. Проклиная все на свете, он придвинул мне кучу денег.

– Видал? – сказал Ленц. – Покерная погодка!

Мы перебрались к стойке. Больвис опять спросил о «Карле». Он все не мог забыть, как Отто обогнал его спортивную машину. И все еще надеялся купить «Карла».

– Спроси у Кестера, – сказал Ленц. – Но я думаю, он скорее продаст тебе свою руку.

– Ну, это мы поглядим, – сказал Больвис.

– Тебе этого никогда не понять, – заметил Ленц, – ты коммерческое дитя двадцатого века.

Фердинанд Грау засмеялся. За ним Фред. А там и все мы. Если уж не смеяться над двадцатым веком, то надо всем застрелиться. Но и долго над ним не посмеешься. Он таков, что в пору бы быть.

– Ты умеешь танцевать, Готфрид? – спросил я.

– Конечно. Я ведь был учителем танцев в свое время. Ты об этом забыл?

– Забыл – и прекрасно, что забыл, – вмешался Фердинанд Грау. – В забвении – тайна вечной молодости. Мы стареем только из-за памяти. Мы слишком мало забываем.

– Нет, – возразил Ленц. – Мы забываем только плохое.

– Можешь меня научить? – спросил я.

– Танцевать-то? Да за один вечер, детка. Это и все твое горе?

– Нет у меня никакого горя, – сказал я. – Одна головная боль.

– Болезнь нашего времени, Робби, – сказал Фердинанд. – И лучшее средство от нее – родиться без головы.

Я зашел еще в кафе «Интернациональ». Там Алоис уже собирался опускать жалюзи.

– Есть еще кто-нибудь? – спросил я.

– Роза.

– Давай-ка выпьем втроем еще по одной.

– Годится.

Роза, сидя около стойки, вязала маленькие чулочки своей дочке. Она дала мне полистать журнал с образцами. Кофточку оттуда она уже связала.

– А как с выручкой сегодня? – спросил я.

– Плохо. Денег ни у кого нет.

– Хочешь, я тебе одолжу? Вот – выиграл в покер.

– О, выигрышем обзаведешься – деньгами разживешься, – изрекла Роза, поплевала на бумажки и сунула их в карман.

Алоис принес три стопки. Потом, когда пришла Фрицци, еще одну.

– Шабаш, – сказал он, когда мы выпили. – Устал смертельно.

Он выключил свет. Мы вышли на улицу. У дверей Роза простилась. Фрицци прицепилась к Алоису, повиснув на его руке. Плоскостопый Алоис устало шаркал по мостовой, а Фрицци вышагивала рядом с ним легко и бодро. Я остановился, глядя им вслед. И увидел, как Фрицци склонилась к перепачканному кривоногому кельнеру и поцеловала его. Он досадливо отстранился. И тут вдруг сам не знаю с чего бы, но когда я повернулся и побрел по пустынной улице, глядя на дома с темными окнами и на холодное ночное небо, на меня навалилась и чуть не сшибла с ног чудовищная тоска по Пат. Я даже зашатался. Я ничего больше не понимал – ни себя самого, ни свое поведение в этот вечер, ничего вообще.

Я стоял, прислонившись к стене какого-то дома и уставившись в одну точку. Я не мог уразуметь, что заставило меня все это вытворять. Что-то нашло на меня, рвало на куски, подталкивая к несправедливости, глупости, швыряло меня туда-сюда, разбивая вдребезги то, что я доселе так старательно строил. Чувствовал я себя, стоя у этой стены, довольно беспомощно и не знал, что делать. Идти домой не хотелось – там совсем было бы скверно. Наконец я вспомнил, что у Альфонса, должно быть, еще открыто. И пошел туда, намереваясь просидеть там до утра.

Альфонс не проронил ни слова, когда я вошел. Он бросил на меня взгляд и продолжал читать газету. Я сел за столик и погрузился в полудрему. Никого в зале больше не было. Я думал о Пат. И только о Пат. И о том, что я начудил. Я вдруг вспомнил все до последней детали. И все было против меня. Я один был во всем виноват. Просто спятил.

Я тупо смотрел на стол, а в голове моей закипала кровь. Меня душили горечь и гнев на себя самого. И беспомощность. Я, я один все погубил.

Внезапно раздался звон стекла. Это я в сердцах хлопнул что было сил по своей рюмке.

– Тоже развлечение, – сказал Альфонс и поднялся.

Он вынул из моей руки осколки.

– Не сердись, – сказал я. – Как-то забылся.

Он принес вату и пластырь.

– Поди проспись, – сказал он, – все будет лучше.

– Да ладно, – ответил я. – Прошло уже. Что-то вдруг накатило. Вспышка ярости.

– Ярость нужно погашать весельем, а не злостью, – заявил Альфонс.

– Верно, – сказал я. – Но это тоже надо уметь.

– Во всем нужна тренировка. Все вы норовите бить башкой о стенку. С годами пройдет.

Он завел патефон и поставил «Мизерере» из «Трубадура». Вскоре стало светать.

* * *

Я пошел домой. Перед уходом Альфонс налил мне стакан «Фернет-Бранка». Теперь в голове моей застучало помягче. И улица под ногами утратила ровность. И плечи мои налились свинцом. В общем, с меня было довольно.

Медленно поднимался я по лестнице, нащупывая ключ в кармане. И вдруг услышал в полутьме чье-то дыхание. Какая-то неясная, блеклая фигура сидела на верхней ступеньке. Я подошел поближе.

– Пат... – Я был ошарашен. – Пат, что ты здесь делаешь?

Она пошевелилась.

– Кажется, я немного вздремнула...

– Да, но как ты попала сюда?

– У меня ведь есть ключ от твоего подъезда.

– Я не это имею в виду. Я имею в виду... – Хмель прошел, я ясно видел перед собой обшарпанные ступени, облупившиеся стены и серебристое платье, узенькие сверкающие туфельки. – Я имею в виду – зачем ты сидишь здесь?

– Я и сама все время спрашиваю себя об этом...

Она встала и потянулась с таким видом, будто ничего особенного не было в том, что она всю ночь просидела здесь на ступеньках. Потом она потянула носом.

– Ленц бы сказал: коньяк, ром, вишневка, абсент...

– И даже «Фернет-Бранка», – сознался я и только теперь понял, что происходит. – Разрази меня гром, Пат, ты потрясающая девушка, а я чудовищный идиот!

Я одним движением подхватил ее на руки, отпер дверь и понес ее по коридору. Она лежала комочком на моей груди, как свернутый серебряный веер, как усталая птица. Я отвернул лицо в сторону, чтобы не дышать на нее перегаром, но видел, как она улыбается. И чувствовал, как она дрожит.

Я усадил ее в кресло, включил лампу и достал плед.

– Ах, если б я мог догадаться, Пат, – вместо того чтобы шататься да рассиживать по кабакам, я бы... Осел несчастный, ведь я звонил тебе от Альфонса, а потом еще свистел у тебя под окном – и все безрезультатно, я думал, ты не желаешь со мной больше знать...

– Почему же ты не вернулся после того, как проводил меня?

– Да, это я и сам хотел бы знать...

– Будет лучше, если ты дашь мне ключ и от квартиры, чтобы мне не сидеть больше под дверью. – Она улыбалась, но губы ее дрожали, и я вдруг понял, чего ей стоило все это – прийти сюда, прождать всю ночь и теперь разговаривать в бесшабашном тоне...

– Пат, – сказал я поспешно и в полном смятении, – Пат, ты наверняка промерзла, тебе надо чего-нибудь выпить, согреться, я с улицы видел, что у Орлова горит свет, а у этих русских всегда есть чай, я мигом... – Я почувствовал, как кровь ударила мне в голову. – Я тебе никогда в жизни этого не забуду, – сказал я от двери и бросился по коридору.

Орлов еще не ложился. Он сидел с покрасневшими глазами в углу комнаты под иконой Божьей Матери, перед которой теплилась лампадка, а на столе дымился небольшой самовар.

– Простите меня, пожалуйста, – обратился я к нему, – непредвиденный случай... Вы не могли бы дать мне немного горячего чая?

Русские к непредвиденным случаям привычны. Орлов дал мне два стакана чаю, сахар и полную тарелку маленьких пирожков.

– Весьма рад служить чем могу, – сказал он, – позвольте еще – со мной тоже такое бывало – вот, несколько кофейных зерен, чтобы жевать...

– Благодарю, – сказал я, – искренне благодарю вас. Охотно возьму и зерна...

– Если вам понадобится еще что-нибудь, – сказал он, и тоном и жестами выказывая отменное благородство, – не считите за беспокойство, располагайте мной, я не ложусь еще.

В коридоре я разгрыз кофейные зерна. Они устранили запах алкоголя. Пат пудрилась, сидя под лампой. Я на мгновение задержался в дверях. Трогательно было наблюдать, с каким тщанием она смотрится в зеркальце и водит пушком по вискам.

– Выпей немного чаю, – сказал я, – он совершенно не горячий.

Она взяла стакан. Я смотрел, как она пьет.

– Черт знает, что вдруг случилось сегодня вечером, Пат.

– Я тоже знаю, не только черт, – возразила она.

– Правда? А вот я не знаю.

– Тебе и не надо знать, Робби. Ты и без того знаешь слишком много для того, чтобы быть по-настоящему счастливым.

– Возможно, – сказал я. – Но куда это годится – ведь я все больше и больше впадаю в детство с тех пор, как знаю тебя.

– Это гораздо лучше, чем если бы ты становился все разумнее.

– Тоже верно. Ты замечательно умеешь помогать человеку выкарабкиваться из силков. Впрочем, тут сошлось, наверное, очень многое.

Она поставила стакан на стол. Я сидел, прислонясь к кровати. У меня было такое чувство, будто я вернулся домой после долгого, трудного путешествия.

Защебетали птицы. В коридоре хлопнула дверь. Это фрау Бендер собирается в ясли. Я взглянул на часы. Через полчаса на кухне появится Фрида, и тогда уж мы не сможем выйти незамеченными. Пат еще спала. Она дышала глубоко и ровно. Стыдно, конечно, ее будить, но иначе нельзя.

– Пат...

Она пробормотала что-то во сне.

– Пат... – Я проклинал все меблированные комнаты на свете. – Пат, проснись, пора. Тебя нужно одевать.

Она открыла глаза и улыбнулась детской улыбкой, еще теплой ото сна. Меня всегда поражало, с каким радостным настроением она просыпается, и я любил в ней это. Я никогда не испытывал радости, когда просыпался.

– Пат, фрау Залевски уже надраивает свою пасть.

– Сегодня я остаюсь у тебя.

– Здесь?

– Да.

Я приподнялся на постели.

– Блестящая идея. Но как же быть с твоими вещами – ведь у тебя здесь и платье, и туфли только вечерние...

– Ну так я и останусь до вечера...

– А тебя не хватятся дома?

– Туда мы позвоним и скажем, что я переночевала в гостях.

– Хорошо, позвоним. Хочешь есть?

– Нет еще.

– Ну, на всякий случай я все же сопру пару свежих булочек. Из корзинки на входной двери. Пока не поздно.

Когда я вернулся, Пат стояла у окна. На ней были только ее серебряные туфельки. Мягкий свет раннего утра прозрачным покрывалом падал на ее плечи.

– Вчерашнее забыто. Ладно, Пат? – сказал я.

Она, не поворачиваясь, кивнула.

– Просто нам не нужно встречаться с другими людьми. Настоящая любовь не выносит чужих людей. Тогда и не будет ни ссор, ни ревности. Пусть катятся они к черту – и Бройер, и вся эта компания, верно?

– Да, – сказала она, – и Маркович тоже.

– Маркович? Это еще кто?

– Та, с которой ты сидел за стойкой в «Каскаде».

– Ах, эта, – сказал я с чувством неожиданного удовлетворения.

Я вывернул карманы.

– Вот, посмотри, хоть какой-то прок от всей этой истории. Я выиграл кучу денег в покер. На эти деньги мы можем еще раз куда-нибудь выбраться сегодня вечером, верно? Только уж по-настоящему, без посторонних. О них мы забыли, а?

Она кивнула.

Над крышей Дома профсоюзов вставало солнце. Засверкали окна. Волосы Пат были пронизаны светом, а ее плечи стали золотыми.

– Так что ты говорила про этого Бройера? Кто он по профессии?

– Архитектор.

– Архитектор, – повторил я, несколько задетый, ибо мне было бы приятнее услышать, что он круглый нуль. – Подумаешь, архитектор, делов-то, Пат, а?

– Да, милый.

– Ведь ничего особенного, а?

– Решительно ничего. – Пат убежденно тряхнула головой и рассмеялась. – Решительно ничего, абсолютно! Делов-то!

– И каморка эта – не такая она уж и жалкая, а, Пат? Конечно, бывают и луч...

– Она чудесна, эта каморка, – перебила меня Пат, – она великолепна, и я не знаю никакой другой лучше, милый!

– Да и я, Пат. Конечно, я не без недостатков и всего-навсего таксист, но вообще-то...

– Вообще-то ты самый любимый на свете воришка булочек и ромодуй – вот ты кто!

В порыве чувства она бросилась мне на шею.

– Глупенький мой, до чего же хорошо жить на свете!

– Только с тобой, Пат! Воистину!

Занималось чудесное сияющее утро. Внизу над могильными плитами рассеивался туман. Верхушки деревьев уже были ярко освещены. Трубы домов выпускали клубы дыма. Первые

разносчики выкрикивали названия газет. Мы легли, чтобы насладиться еще утренним сном, сном на грани полугрез-полуяви, и лежали так, тесно обнявшись, согласно и ровно дыша. Потом, в девять, я позвонил сначала подполковнику Эгберту фон Хаке – при этом я назвался тайным советником Буркхердтом, а потом Ленцу, которого попросил выехать вместо меня в утренний рейс.

Он не дал мне говорить.

– О чем речь, детка? Недаром твой Готфрид слывет знатоком вариаций человеческого сердца. Я и не сомневался, что так будет. Желаю всяческих удовольствий юному плейбою!

– Заткнись, – сказал я счастливым голосом, а на кухне заявил, что болен и останусь в постели до обеда. После этого я отбил три атаки сердобольной фрау Залевски, пытавшейся облагодетельствовать меня ромашковым чаем, аспирином и горчичниками. Потом Пат удалось прошмыгнуть в ванную комнату, и нас больше никто не беспокоил.

XIV

Спустя неделю в наш двор вкатил неожиданный булочник на своем «форде».

– Пойди потолкуй с ним, Робби, – сказал Ленц, бросив презрительный взгляд в окно. – Этот пряничный Казанова наверняка хочет предъявить нам какую-нибудь рекламацию.

Вид у булочника был довольно потерянный.

– Что-нибудь с машиной? – спросил я.

Он покачал головой.

– Какое там. Бежит как по маслу. Да ведь она теперь все равно что новая.

– Это верно, – подтвердил я, глядя на него уже с большим интересом.

– Тут вот что, – сказал он, – я, это самое, хотел бы другую машину. Побольше. – Он огляделся. – Ведь у вас тут был «кадиллак»?

Я сразу понял, в чем дело. Итак, чернявенькая сожительница его допекла.

– М-да, «кадиллак», – произнес я мечтательным голосом. – Надо было сразу его хватать! Вещица роскошная! Ушла за семь тысяч. Считайте – даром!

– Ничего себе даром...

– Даром! – решительно повторил я, раздумывая, что предпринять. – Я могу разузнать, – сказал я после паузы, – вдруг человеку, который его купил, понадобились деньги. Такое теперь частенько бывает. Подождите минутку.

Я пошел в мастерскую и в двух словах рассказал, что случилось. Готфрид так и подпрыгнул.

– Братцы, где ж нам раздобыть теперь какой-нибудь старый «кадиллак»?

– Предоставь это мне, – сказал я, – а сам последи, чтобы булочник не сбежал.

– Идет! – Готфрид исчез.

Я позвонил Блюменталю. Без особых надежд, но ведь надо было попробовать. Он оказался в бюро.

– Не хотите ли продать свой «кадиллак»? – спросил я напрямик.

Блюменталь рассмеялся.

– У меня есть на примете человек, – продолжал я, – который готов выложить за него всю сумму наличными.

– Наличными... – задумчиво повторил за мной Блюменталь после некоторой паузы. – По нынешним временам – это слово из высокой поэзии...

– Вот и я того же мнения, – сказал я, внезапно приободрившись. – Так, может быть, мы договоримся?

– Ну, поговорить всегда есть о чем, – заявил Блюменталь.

– Прекрасно. Где я могу вас увидеть?

– Сегодня, сразу после обеда, у меня есть время. Скажем, часика в два здесь, у меня в бюро.

– Хорошо.

Я повесил трубку.

– Отто, – сказал я Кестеру не без волнения, – я никак не мог этого ожидать, но похоже, наш «кадиллак» вернется к нам!

Кестер оторвался от своих бумаг.

– В самом деле? Он хочет его продать?

Я кивнул и посмотрел в окно, за которым Ленц оживленно беседовал с булочником.

– Не то он делает, – сказал я с беспокойством. – Говорит слишком много. Булочник – это столп недоверия, его нужно убеждать молчанием. Пойду-ка сменю Готфрида.

Кестер рассмеялся.

– Ни пуха ни пера, Робби.

Я подмигнул ему и вышел во двор. Однако я не поверил своим ушам – Готфрид и не думал петь преждевременные гимны «кадиллаку», вместо этого он с большим увлечением рассказывал булочнику о том, как индейцы в Южной Америке пекут лепешки из кукурузы. Я взглянул на него с признательностью и обратился к булочнику:

– К сожалению, он не хочет продавать...

– Так я и думал, – немедленно подхватил Ленц, словно мы с ним сговорились.

Я пожал плечами:

– Жаль, конечно, но его можно понять...

Булочник стоял в нерешительности. Я посмотрел на Ленца.

– А может, попробуешь еще разок? – сразу же спросил он.

– Попробовать-то попробую, – ответил я. – Мне все же удалось с ним договориться о встрече сегодня после обеда. Где я смогу найти вас потом? – спросил я булочника.

– Мне в четыре надо быть тут поблизости. После этого заеду к вам снова...

– Хорошо – к этому времени наверняка все решится. Может, дело еще и выгорит.

Булочник кивнул. А потом сел в свой «форд» и дал газ.

– Да ты не спятил ли часом? – накинулся на меня Ленц, когда машина скрылась за углом. – Сначала я должен удерживать этого типа чуть ли не силой, а потом ты запросто отпускаешь его на все четыре стороны.

– Логика и психология, славный мой Готфрид! – ответил я, потрепав его по плечу. – Этого ты еще не усек...

Он стряхнул мою руку.

– Психология... – отмахнулся он с пренебрежением. – Удачный случай – вот лучшая психология! А такой случай мы только что имели. Этот малый ни за что не вернется...

– Он вернется в четыре часа...

Готфрид посмотрел на меня как на больного.

– Спорим? – предложил он.

– Охотно, – сказал я, – но ты проиграешь. Я его знаю лучше, чем ты! Он будет теперь соваться к нам, как мотылек на пламя. Кроме того, не могу ведь я продать ему то, чего у нас и самих-то пока нет...

– О Господи, еще и это! – сказал Ленц, качая головой. – Из тебя ни черта не получится в жизни, детка! Продавать то, чего нет, – да тут только и начинается настоящий гешефт! Пойдем, я прочту тебе бесплатный курс лекций о современной экономической жизни...

Днем я пошел к Блюменталю. По дороге я показался себе юным козленком, которому надо навестить старого волка. Асфальт жарился на солнце, и с каждым шагом мне все меньше хотелось, чтобы Блюменталь изжарил меня на вертеле. Во всяком случае, имело смысл не тянуть быка за рога.

– Господин Блюменталь, – заговорил я поэтому сразу же, как переступил порог, – вам делается самое приличное предложение. Вы заплатили за «кадиллак» пять пятьсот. Предлагаю вам шесть – при условии, что я его сбаврю. Это выяснится сегодня вечером...

Блюменталь, восседая за своим столом как на троне, ел яблоко. Он прекратил жевать и взглянул на меня.

– Хорошо, – прогундосил он немного погодя, снова принимаясь за яблоко.

Я подождал, пока он бросит огрызок в бумажную корзину, и спросил:

– Так вы согласны?

– Минуточку! – Он достал из ящика письменного стола другое яблоко. – Хотите?

– Спасибо, сейчас не хочу...

Он с треском надкусил яблоко.

– Ешьте побольше яблок, господин Локамп! Они продлевают жизнь! Несколько яблок в день – и вам никогда не понадобится врач!

– Даже если я сломаю себе руку?

Он ухмыльнулся, выбросил второй огрызок и встал из-за стола.

– В том-то и дело, что тогда вы не сломаете себе руку!

– Практично! – сказал я, ожидая, что же последует дальше. Эта беседа о яблоках показалась мне слишком подозрительной.

Блюменталь вынул из небольшого шкафа ящичек с сигарами и предложил мне. Уже знакомая мне «Корона».

– Они тоже продлевают жизнь? – спросил я.

– Нет, они ее сокращают. Затем это уравнивается яблоками. – Он выпустил облачко дыма и искоса взглянул на меня, откинув голову, как задумчивая птица. – Уравнишивать, все нужно уравнишивать, господин Локамп, – вот и вся загадка жизни...

– Ну, это нужно уметь...

Он подмигнул мне.

– Да, да, уметь, вся штука в том, чтобы уметь. Мы слишком много знаем и слишком мало умеем. Потому что слишком много знаем. – Он рассмеялся. – Извините меня – после еды меня всегда тянет пофилософствовать...

– Самое подходящее время для этого, – сказал я. – Итак, в деле с «кадиллаком» мы достигли равновесия, не правда ли?

Он поднял руку.

– Секундочку...

Я покорно склонил голову. Заметив это, Блюменталь рассмеялся.

– Вы меня неправильно поняли. Я только хотел сделать вам комплимент. Ошеломить прямо с порога, открыв свои карты! Со стариком Блюменталем лучше действовать так – это было точно рассчитано. Знаете, чего я ожидал?

– Что для начала я предложу вам четыре тысячи пятьсот...

– Совершенно верно! Но так вы бы ничего не добились. Ведь вы хотите продать машину за семь, не так ли?

На всякий случай я пожал плечами:

– Почему именно за семь?

– Потому что такова была первая цена, которую вы мне тогда предложили...

– У вас блестящая память, – сказал я.

– На цифры. Только на цифры. К сожалению. Итак, чтобы покончить с этим делом: можете забирать машину за эти деньги.

Мы ударили по рукам.

– Слава Богу, – сказал я, переведя дух. – Наша первая сделка после долгого перерыва. Похоже на то, что «кадиллак» приносит нам счастье.

– Мне тоже, – сказал Блюменталь. – Я ведь тоже заработал на нем пятьсот марок.

– Верно. Но почему, собственно, вы так торопитесь его продать? Он вам не нравится?

– Из чистого суеверия, – заявил Блюменталь. – Я не пропускаю ни одной выгодной сделки.

– Чудесное суеверие, – заметил я.

Он покачал сверкающей лысиной.

– Вот вы не верите мне, а между тем так оно и есть. Это страхует меня от неудач в других делах. Упускать добычу в наши дни – значит, бросать вызов судьбе. А этого теперь никто не может себе позволить.

В половине пятого Ленц, сделав значительное лицо, поставил передо мной на стол пустую бутылку из-под джина.

– Мне бы хотелось, чтобы ты наполнил ее, детка! На свои шиши! Ты не забыл о нашем пари?

– Не забыл, – ответил я. – Но ты явился слишком рано.

Готфрид молча сунул мне под нос свои часы.

– Половина пятого, – сказал я. – Льготное время еще не истекло. Опоздать может каждый. Впрочем, предлагаю поправку к пари: ставлю два против одного.

– Принято, – торжественно провозгласил Готфрид. – Это означает, что я даром получу четыре бутылки джина. Это называется героической защитой обреченных рубежей. Мужественно и почетно, детка, но – ошибочно...

– Подождем...

На самом деле я давно уже не был так уверен, как старался это показать. Напротив, я все больше склонялся к тому, что булочник не придет. Нужно было задержать его утром. Слишком он ненадежен.

Когда в пять часов на соседней фабрике, производившей перины, завывала сирена, Готфрид молча выставил на стол еще три пустые бутылки из-под джина. И уставился на меня, опершись о подоконник.

– Пить хочется, – сказал он немного погодя со значением. В это мгновение я различил на улице характерный шум «фордовского» мотора, и вскоре к нам во двор въехала машина булочника.

– Коли тебе хочется пить, милый Готфрид, – заявил я с подчеркнутым достоинством, – то беги, не откладывая, в магазин и принеси две бутылки рома, которые я у тебя выиграл. Так и быть, бесплатный глоток ты получишь. Видишь во дворе булочника? Психология, мой мальчик! А теперь убери-ка эти пустые бутылки! А потом можешь промышлять на такси. Для более тонких дел ты еще не дорос. Привет, сын мой!

Я вышел во двор и сообщил булочнику, что машину, возможно, удастся заполучить. Правда, владелец требует семь с половиной тысяч, но если он увидит наличные, то наверняка согласится и на семь.

Булочник слушал меня настолько рассеянно, что я даже растерялся.

– В шесть часов я буду звонить ему снова, – наконец сказал я.

– В шесть? – очнулся булочник. – В шесть мне надо... – Внезапно он повернулся ко мне. – Может быть, пойдете со мной?

– Куда? – спросил я с удивлением.

– К вашему другу, художнику. Портрет готов.

– Ах вот оно что – к Фердинанду Грау...

Он кивнул:

– Пойдемте. Заодно поговорим и о машине.

По всей видимости, он почему-то не хотел идти один. Мне же теперь не хотелось оставлять его одного.

– Хорошо, – сказал я. – Но это довольно далеко. Так что давайте поедем сразу.

Фердинанд Грау выглядел плохо. Лицо помятое и обрюзгшее, серо-зеленого цвета. Он приветствовал нас в дверях мастерской. Булочник едва взглянул на него. Он был как-то странно не уверен в себе и взволнован.

– Где портрет? – сразу же спросил он.

Фердинанд указал рукой на окно. Портрет стоял у окна на мольберте. Булочник быстро прошел туда и застыл перед ним. Через какое-то время он снял шляпу, что забыл впопыхах сделать сразу.

Мы с Фердинандом остались в дверях.

– Как дела, Фердинанд? – спросил я.

Он сделал неопределенный жест рукой.

– Что-нибудь случилось?

– Что могло случиться?

– Ты плохо выглядишь...

– И только-то?

– И только...

Он положил мне на плечо свою ручищу, и его лицо старого сенбернара озарилось улыбкой.

Мы постояли так еще немного. Потом подошли к булочнику. Портрет его жены поразил меня. Голова получилась замечательно. По свадебной фотографии и другому снимку, на котором едва можно было что-либо разобрать, Фердинанду удалось написать портрет еще молодой женщины, взирающей на мир серьезными, несколько растерянными глазами.

– Да, – сказал булочник, не оборачиваясь, – это она. – Он сказал это скорее для себя, и мне показалось, что он даже не заметил, как у него это вырвалось.

– Вам достаточно света? – спросил его Фердинанд.

Булочник не ответил.

Фердинанд подошел к мольберту и слегка повернул его. Потом, отойдя, кивнул мне, приглашая к себе в каморку рядом с мастерской.

– Вот уж не думал, – сказал он с удивлением, – что и такой несгораемый сейф, как он, может рыдать. Его проняло...

– Рано или поздно пронимает всякого, – возразил я. – Да только его – слишком поздно...

– Слишком поздно, – сказал Фердинанд, – это всегда бывает слишком поздно. Уж так устроена жизнь, Робби.

Он медленно прошелся по комнате взад и вперед.

– Пусть пока побудет наедине с собой. Можем тем временем сыграть партию в шахматы.

– У тебя золотая душа, – сказал я.

– При чем здесь это? – Он остановился. – Его душе от этого не будет ни прибавки, ни убытка. Да и нельзя все время думать о подобных вещах – не то бы люди на земле разучились улыбаться, Робби...

– И опять ты прав, – согласился я. – Ну, давай сгоняем партийку.

Мы расставили фигуры и начали игру. Фердинанд выиграл без особых усилий. Поставил мне мат слоном и ладьей, даже без помощи ферзя.

– Ну и ну, – сказал я. – Выглядишь ты так, как будто три ночи не спал. А играешь при этом как заправский морской пират.

– Я всегда хорошо играю, когда на меня нападает меланхолия, – заметил Фердинанд.

– А отчего это она на тебя напала?

– Да так, без всяких причин. Потому что стемнело. Порядочный человек всегда впадает в меланхолию, когда вечерет. И не по какой-либо определенной причине. Просто так...

– Но только в том случае, если он одинок, – сказал я.

– Разумеется. Это час теней. Час одиночества. Час, когда особенно хорошо пьется коньяк. – Он достал бутылку и две рюмки.

– Не пора ли нам к булочнику? – спросил я.

– Сейчас. – Он наполнил рюмки. – Будь здоров, Робби! Ибо всем нам когда-нибудь подышать!

– Будь здоров, Фердинанд! Ибо пока-то мы еще живы!

– Ну, – сказал он, – все не раз висело на волоске. Да обходилось. Выпьем-ка и за это!

– Идет.

Мы вернулись в мастерскую. Стемнело. Булочник, вобрав голову в плечи, все еще стоял перед портретом. В большом голом помещении он выглядел жалким, потерянным, мне даже показалось, что он уменьшился в росте.

– Завернуть вам картину? – спросил Фердинанд.

Он испуганно вздрогнул.

– Нет, нет...

– В таком случае я пришлю ее вам завтра.

– Нельзя ли оставить ее пока здесь? – поколебавшись, спросил булочник.

– Почему? – с удивлением спросил Фердинанд, подходя к нему. – Вам не нравится?

– Нравится. Но мне бы хотелось, чтобы она побыла пока здесь...

– Не понимаю...

Булочник взглянул на меня в поисках помощи. Я понял – он боялся повесить портрет дома, где хозяйничала теперь чернявенькая стерва. А может, ему было неловко перед покойницей.

– Но, Фердинанд, – сказал я, – портрет ведь может повисеть и здесь, если он будет оплачен...

– Ну, это само собой...

Булочник с облегчением вынул из кармана чековую книжку. Они с Фердинандом подошли к столу.

– За мной оставалось четыреста марок? – спросил булочник.

– Четыреста двадцать, – сказал Фердинанд, – с учетом скидки. Хотите квитанцию?

– Да, – сказал булочник. – Порядка ради.

Оба молча занялись писанием – один чека, другой квитанции. Оставшись у окна, я огляделся. В сумеречном полусвете со стен мерцали лица невостребованных и неоплаченных портретов в золоченых багетах. Это походило на собрание потусторонних призраков, и казалось, что все они устали неподвижный взгляд на портрет у окна, который должен был к ним присоединиться и на который вечернее солнце бросало последний отблеск жизни. Странное настроение создавала эта картина – двое согбенных и пишущих за столом, тени и многочисленные немые портреты.

Булочник снова подошел к окну. Его красноватые, воспаленные глаза походили на стеклянные шары, рот был полуоткрыт, нижняя губа отвисала, и были видны нечистые зубы – фигура печальная и смешная. Этажом выше кто-то стал наигрывать на пианино, всего несколько повторяющихся тактов, для разминки пальцев. Звуки были высокие и царапающие. Фердинанд Грау, оставшись у стола, зажег себе сигару. Спичка, вспыхнув, осветила его лицо. Из-за маленького красноватого огонька залитое синими сумерками помещение показалось невероятно огромным.

– А можно еще изменить кое-что в портрете? – спросил булочник.

– Что именно?

Фердинанд подошел поближе. Булочник показал на драгоценности.

– Можно их убрать?

Та самая тяжелая брошь, на которой он настаивал, когда делал заказ.

– Конечно, – сказал Фердинанд, – да они и мешают. Портрет только выиграет, если они исчезнут.

– Вот и мне кажется. – Он помялся. – А во что это обойдется?

Мы с Фердинандом обменялись взглядами.

– Это ничего не будет стоить, – великодушно произнес Фердинанд. – Напротив, кое-что причитается вам назад. Ведь работы становится меньше.

Булочник восторжен. На миг показалось, что он согласится с этим. Но потом он решительно заявил:

– Нет, нет, оставьте, ведь вам пришлось это все рисовать...

– И это правда...

Мы ушли. На лестнице, глядя на сторбенную спину булочника, я растроганно думал, что в этой истории с брошью в нем заговорила совесть. И было как-то не по себе от мысли, что я нагреваю себе руки на «кадиллаке». Но потом я подумал о том, что частью своей искренней скорби по усопшей жене он обязан только тому, что эта чернявенькая, что ждала его дома, оказалась такой стервой, и снова приободрился.

– Мы могли бы потолковать о деле у меня дома, – сказал булочник, когда мы вышли на улицу.

Я кивнул. Меня это вполне устраивало. Булочник хоть и полагал, что в своих четырех стенах он будет сильнее, но я-то рассчитывал на поддержку брюнетки.

Она уже поджидала нас в дверях.

– Приношу вам свои самые сердечные поздравления, – сказал я, не давая булочнику раскрыть рот.

– С чем же? – быстро спросила она, метнув на меня юркий взгляд.

– С вашим «кадиллаком», – ответил я как можно непринужденнее.

– Киса! – бросилась она на шею булочнику.

– Но это все еще вовсе не... – пытался он выпутаться из ее объятий и объясниться. Но она не отпускала его, а, пританцовывая, крутилась с ним по комнате, не давая ему говорить. Передо мной попеременно возникала то ее хитрая, подмигивающая мордочка, то его постная и укориженная, тщетно протестующая головка мучного червя.

Наконец ему удалось высвободиться.

– Да мы вовсе еще ничего не решили, – выдохнул он.

– Решили! – сказал я со всей сердечностью. – Положитесь на меня – выторгую я у него эти последние пятьсот марок. Вы заплатите за «кадиллак» всего семь тысяч – и ни пфеннига больше! Согласны?

– Конечно! – поспешно воскликнула чернявенькая. – Ведь это и впрямь недорого, киса...

– Да постой ты! – Булочник протестующе поднял руку.

– Ну что с тобой опять! – напустилась она на него. – То говорил, что берешь машину, то опять вдруг не хочешь!

– Да хочет он, – вставил я, – мы уже обо всем договорились.

– Ну вот, киса, к чему ж ты тогда... – Она опять прильнула к нему своей обширной грудью, а он опять забарахтался, пытаясь освободиться. Лицо он сделал сердитое, однако сопротивление его заметно слабело.

– «Форд»... – произнес он.

– Будет, конечно же, принят в счет оплаты...

– Четыре тысячи марок...

– Стоил он когда-то, не так ли? – спросил я самым участливым тоном.

– Пойдет в счет оплаты за четыре тысячи марок, – твердо заявил булочник. Наконец-то он обрел точку опоры для контратаки против ошеломительного натиска. – Машина ведь почти новая...

– Новая, – подхватил я, – после колоссального ремонта...

– Сегодня утром вы сами со мной соглашались...

– Сегодня утром речь шла о другом. Новое и новое – это большая разница, и зависит она от того, покупаете вы или продаете. Чтобы стоять четыре тысячи марок, ваш «форд» должен иметь бамперы из чистого золота.

– Четыре тысячи – или ничего не выйдет, – упрямо заявил булочник. Он вернулся к своему старому образу и, казалось, твердо намерен стереть всякие следы недавнего наплыва сентиментальности.

– В таком случае – желаю здравствовать! – заявил я и обратился к черноволосой его сожительнице: – Сожалею, сударыня, но соглашаться на убыточные сделки я не могу. Мы и без того не зарабатываем ни пфеннига на «кадиллаке», не можем же мы при этом брать «форд» по такой чудовищной цене. Прощайте...

Она меня удержала. Из глаз ее посыпались искры, и она приступила к булочнику с такой яростью, что он онемел.

– Сам ведь сто раз говорил, что за «форд» теперь ничего не получишь... – прошипела она под конец своей тирады, прерывая ее плачем.

– Две тысячи марок, – сказал я, – две тысячи, хотя и это похоже на самоубийство.

Булочник молчал.

– Ну ты что, воды в рот набрал? Что стоишь как пень? – кипятилась она.

– Господа, – обратился я к ним, – я отправлюсь за «кадиллаком». А вы пока обсудите это дело между собой.

У меня было такое чувство, что мне лучше всего удалиться. Черноволосая леди и без меня довершит мое дело.

Час спустя я вернулся к ним с «кадиллаком». И сразу заметил, что их спор разрешился способом наипростейшим. У булочника был усталый, помятый вид, на костюме его повис пух от перины, а чернявая, напротив, сияла, победно покачивая грудями, улыбаясь предательски и плотноядно. Она переделалась, теперь на ней было тонкое шелковое платье, плотно облегавшее фигуру. Улучив момент, она кивком и подмигиванием дала мне понять, что все в порядке. Мы совершили пробную поездку. Вальяжно раскинувшись на широком сиденье, чернявенькая без умолку болтала. Я бы с наслаждением вышвырнул ее в окно, но понимал, что без нее мне не обойтись. Булочник с меланхолическим видом сидел рядом со мной. Он заранее скорбел по своим деньгам, а уж эта скорбь – самая натуральная на свете.

Мы вернулись к дому булочника и снова прошли в его квартиру. Булочник вышел в соседнюю комнату за деньгами. Выглядел он теперь как старик, и я заметил, что волосы у него крашенные. Чернявенькая оправила на себе платье.

– Ловко мы это обделали, а?

– Да, – согласился я против воли.

– Сто марок на мою долю...

– Вот как... – сказал я.

– Скрыга паршивый, – доверительно прошептала она, подходя поближе. – Деньжищ у него куры не клюют! Но он скорее ими подавится, чем выпустит из рук лишний пфенниг! Даже завещания писать не хочет. Вот и отойдет все к детям, а я останусь с носом. А много ли удовольствия жить со старым хрычом...

Она, играя бюстом, придвинулась еще ближе.

– Так я зайду завтра насчет этой сотни. Когда вас можно застать? Или лучше вы заглянете сюда? – Она хихикнула. – Завтра после обеда я буду одна...

– Я вам пришлю их, – сказал я.

Она снова хихикнула.

– Лучше занесите сами. Или боитесь?

Видимо, она сочла меня слишком робким и для поощрения слегка погладила по руке.

– Не боюсь, – сказал я. – Просто я занят. Как раз завтра мне нужно к врачу. Застарелый сифилис, знаете ли! Страшно отравляет жизнь...

Она отскочила как ужаленная, чуть не опрокинув плюшевое кресло. В эту минуту вошел булочник. Он недоверчиво покосился на брюнетку. Потом отсчитал мне деньги, складывая их на стол. Считал он медленно и нерешительно. Тень его покачивалась на розовых обоях комнаты, будто считая вместе с ним. Подписывая квитанцию, я вспомнил, что все это сегодня уже было, только на моем месте был Фердинанд Грау. И хотя в этом не было ничего особенного, ситуация показалась мне несколько странной.

Выйдя на улицу, я вздохнул с облегчением. Воздух был по-летнему теплым. У тротуара поблескивал «кадиллак».

– Ну, старик, спасибо, – сказал я, похлопав его по капоту. – Поскорей возвращайся для новых свершений!

XV

Утреннее солнце щедро заливало луга. Мы с Пат сидели на краю лесной просеки и завтракали на траве. Я взял себе отпуск на две недели, и мы с Пат отправились в путь. Решили выбраться к морю.

Перед нами на шоссе стоял маленький старый «ситроен». Мы получили его в счет оплаты за «форд» булочника, и Кестер дал мне его на время отпуска. Нагруженный чемоданами, он походил на терпеливого выючного осла.

– Будем надеяться, что он не развалится по дороге, – сказал я.

– Не развалится, – ответила Пат.

– Откуда ты знаешь?

– Нетрудно догадаться. Потому что это наш отпуск, Робби.

– Может, и так, – сказал я. – Но мне знакома и его задняя ось. Выглядит она плачевно, особенно когда автомобиль перегружен.

– Он брат «Карла». Он выдержит все.

– Братец довольно рахитичный.

– Перестань грешить, Робби. Это самый прекрасный автомобиль, какой я только знаю.

Мы повалялись еще какое-то время на траве. Со стороны леса веяло теплым, мягким ветерком. Пахло смолой и свежей зеленью.

– Слушай, Робби, – сказала Пат немного погодя, – а что это за цветы там, у ручья?

– Анемоны, – ответил я, не взглянув.

– Ну что ты, милый! Это не анемоны. Анемоны гораздо меньше. Кроме того, они цветут только весной.

– Верно, – сказал я. – Это лютики.

Она покачала головой:

– Лютики я знаю. Они совсем другие.

– Ну, значит, цикута.

– Робби! Ведь цикута белого цвета.

– Ну тогда не знаю. До сих пор, когда меня спрашивали, мне хватало этих трех названий.

И одному из них обязательно верили.

Она рассмеялась.

– Жаль, что я этого не знала. А то бы удовлетворилась уже анемонами.

– Цикута – вот что принесло мне наибольшее число побед!

Она приподнялась с земли.

– Веселенькое сообщение! И часто тебя таким образом расспрашивали?

– Не слишком. И при совершенно других обстоятельствах.

Она оперлась ладонями о землю.

– А ведь, в сущности, это стыдно – ходить по земле и ничего не знать о ней. Даже нескольких названий.

– Не расстраивайся, – сказал я. – Куда больший стыд – не знать, зачем мы вообще ходим по этой земле. А несколько лишних названий тут ничего не изменят.

– Это только слова! И я думаю, произносят их в основном из-за лени.

Я повернулся к ней.

– Конечно. Но о лени еще мало кто задумывался по-настоящему. Она – основа всякого счастья и конец всякой философии. Давай-ка лучше приляг, полежим еще. Человек слишком мало лежит. Он живет по большей части стоя или сидя. А это нездорово, это вредно для его животного благополучия. Только лежа можно достичь полной гармонии с самим собой.

На шоссе послышался приближающийся, а потом снова удаляющийся шум машины.

- Маленький «мерседес», – сказал я, не приподнимаясь. – Четырехцилиндровый.
- А вот еще один, – сказала Пат.
- Да, уже слышу. «Рено». У него радиатор, как свиной пяточок?
- Да.
- Значит, «рено». А вот, слышишь, приближается что-то стоящее! «Ланчия»! Эта наверняка нагонит тех двух, как волк ягнят! Послушай, какой мотор! Как орган!
- Машина промчалась мимо.
- В этой области ты знаешь побольше трех названий, не так ли? – спросила Пат.
- Разумеется. И они даже подходят.
- Она засмеялась.
- А не печально ли это? Или как?
- Вовсе не печально. Лишь естественно. Хорошая машина мне иной раз дороже двадцати лугов с цветами.
- Очерствелое дитя двадцатого века! Ты, видимо, совсем не сентиментален.
- Отчего же? Что касается машин, я сентиментален. Ты ведь слышала.
- Она посмотрела на меня.
- Я тоже сентиментальна, – сказала она.

- В ельнике куковала кукушка. Пат принялась подсчитывать.
- Зачем тебе это? – спросил я.
 - Разве ты не знаешь? Сколько она прокукует, столько лет еще проживешь.
 - Ах да, верно. Но есть и другая примета. Когда услышишь кукушку, нужно перетряхнуть все свои деньги. Тогда их станет больше.
 - Я вынул мелочь из кармана, положил в ладони и стал что есть силы трясти.
 - Вот ты каков, – сказала Пат. – Я хочу жить, а ты хочешь денег.
 - Чтобы жить, – возразил я. – Истинный идеалист всегда хочет денег. Ведь деньги – это отчужденная свобода. А свобода – это жизнь.
 - Четырнадцать, – сказала Пат. – Когда-то ты говорил об этих вещах иначе.
 - Это было в мои глухие времена. О деньгах нельзя говорить с презрением. Деньги многих женщин превращают во влюбленных. А любовь, напротив, порождает в мужчинах страсть к деньгам. Итак, деньги поощряют любовь, а любовь, напротив того, материализм.
 - Ты сегодня в ударе, – сказала Пат. – Тридцать пять.
 - Мужчина, – продолжал я, – становится алчным, только повинувшись желаниям женщины. Если бы не было женщин, то не было бы и денег, а мужчины составили бы героическое племя. В окопах не было женщин, и не играло никакой роли, кто чем владеет, – важно было лишь, каков он как мужчина. Это не свидетельствует в пользу окопов, но проливает на любовь истинный свет. Она пробуждает в мужчине дурные инстинкты – стремление к обладанию, к значительности, к заработкам, к покою. Недаром диктаторы любят, чтобы их подручные были женаты – так они менее опасны. И недаром католические священники не знают женщин – иначе они никогда бы не были такими отважными миссионерами.
 - Ты сегодня в ударе, как никогда, – сказала Пат. – Пятьдесят два.
 - Я снова сунул мелочь в карман и закурил сигарету.
 - Может, хватит считать? – спросил я. – Тебе уже давно перевалило за семьдесят.
 - А нужно сто, Робби! Сто – хорошая цифра. И мне хочется ее набрать.
 - Вот это мужественная женщина! Но зачем тебе столько?
 - Она скользнула по мне быстрым взглядом.
 - Там видно будет. Я ведь иначе смотрю на эти вещи, чем ты.
 - Вне всяких сомнений. Говорят, впрочем, что труднее всего даются первые семьдесят лет. Потом все становится проще.

– Сто! – провозгласила Пат, и мы тронулись в путь.

Море приближалось к нам, как огромный серебряный парус. Мы давно уже ощутили его солоноватое дыхание – горизонт все раздвигался и светлел, и наконец оно раскинулось перед нами – беспокойное, могучее, бесконечное.

Шоссе по дуге приблизилось к морю вплотную. Потом показался лес, а за ним деревушка. Мы спросили, как проехать к дому, в котором мы должны были жить. Он был несколько на отшибе. Адрес нам дал Кестер. После войны он пробыл там целый год.

Это был небольшой одинокий особняк. Прodelав элегантный пируэт на «ситроене», я подкатил к воротам и дал сигнал. В одном из окон на мгновение показалось чье-то широкое лицо, подержалось секунду бледной тенью и исчезло.

– Будем надеяться, что это не фройляйн Мюллер, – сказал я.

– Совершенно не важно, как она выглядит, – заметила Пат.

Дверь отворилась. К счастью, то была не фройляйн Мюллер, а служанка. Фройляйн Мюллер, владелица особняка, появилась минутой позже. Хрупкая седоволосая дама, типичная старая дева. На ней было закрытое до подбородка черное платье и золотой крест в виде броши.

– Пат, на всякий случай подтяни-ка снова свои чулки, – сказал я, увидев брошь, и вылез из машины. – Мне кажется, господин Кестер уже сообщал вам о нас, – начал я.

– Да, он телеграфировал о вашем приезде. – Она пристально всматривалась в меня. – А как поживает господин Кестер?

– Да хорошо, в общем, – если в наше время можно так сказать.

Она кивнула, продолжая меня разглядывать.

– А вы давно знакомы с ним?

«Похоже на экзамен», – подумал я и дал справку о том, как долго я знаю Отто. Сказанное мной ее, кажется, удовлетворило! Тем временем подошла и Пат. Чулки на ней были подтянуты. Взгляд фройляйн Мюллер потеплел, похоже, что Пат скорее могла рассчитывать на ее благосклонность, чем я.

– У вас еще найдется комната для нас? – спросил я.

– Раз телеграфирует господин Кестер, то вы всегда получите у меня комнату, – заявила фройляйн Мюллер, холодно взглянув на меня. – Я даже дам свою лучшую, – сказала она Пат.

Пат улыбнулась. Фройляйн Мюллер улыбнулась в ответ.

– Пойдемте, я покажу вам ее, – пригласила она.

Они пошли рядом по узкой тропинке, ведущей по небольшому саду. Я ковылял сзади, чувствуя себя совершенно лишним, потому что фройляйн Мюллер обращалась исключительно к Пат.

Комната, которую она нам показала, находилась на первом этаже. У нее был отдельный вход со стороны сада. Это мне очень понравилось. Комната была довольно большой, светлой и уютной. Сбоку было что-то вроде ниши, в которой стояли две кровати.

– Ну как? – спросила фройляйн Мюллер.

– Замечательно, – ответила Пат.

– Даже роскошно, – добавил я, стараясь хоть немного подольститься к хозяйке. – А где же другая?

Фройляйн Мюллер медленно повернулась ко мне.

– Другая? Какая другая? Разве вы хотите другую? А эта что, вам не подходит?

– Она великолепна, но... – начал я.

– Но что же? – ядовито спросила фройляйн Мюллер. – К сожалению, у меня нет лучшей, чем эта.

Я хотел было объяснить ей, что нам нужны две комнаты, как она уже добавила:

– Да ведь и вашей жене эта комната нравится...

«Вашей жене»... Мне показалось, что я отпрянул на шаг. На самом же деле я даже не шевельнулся. Только осторожно взглянул на Пат, которая стояла, опершись о подоконник и подавляя улыбку.

– Моей жене... конечно, – проговорил я, не сводя глаз с золотого креста на груди фройляйн Мюллер. Ничего не поделаешь, объяснить ей все невозможно. Она бы немедленно с воплем повалилась в обморок. – Я лишь хотел сказать, что мы привыкли спать в разных комнатах, – сказал я. – То есть каждый в своей.

Фройляйн Мюллер неодобрительно покачала головой:

– Две спальни у супругов – странная новая мода...

– Дело не в этом, – сказал я, погашая возможные подозрения. – Просто у жены моей очень чуткий сон. А я, к сожалению, довольно громко храплю.

– Вот как, вы храпите! – воскликнула фройляйн Мюллер таким тоном, будто всегда была в этом уверена.

Я уж испугался, что она предложит мне теперь комнату на втором этаже, но она, по-видимому, считала брак делом святым. Она открыла дверь в маленькую комнатку по соседству, в которой не было, кажется, ничего, кроме кровати.

– Великолепно, – сказал я, – этого вполне достаточно. Но я здесь никому не помешаю? – Я хотел удостовериться, что внизу, кроме нас, никого нет.

– Вы никому не мешаете, – заявила фройляйн Мюллер, с которой вдруг слетела вся важность. – Кроме вас, здесь никто не живет. Все прочие комнаты пусты. – Она постояла немного, потом встрепенулась. – Вы будете есть в этой комнате или в столовой?

– Здесь, – сказал я.

Она кивнула и вышла.

– Итак, фрау Локамп, – обратился я к Пат, – вот мы и въехали. Но я никак не ожидал, что в этой старой чертовке окажется столько церковности. Кажется, я ей тоже не приглянулся. Странно, обычно я пользуюсь у старушек успехом.

– Это не старушка, Робби, а очень милая старая дева.

– Милая? – Я пожал плечами. – Во всяком случае, в манерах ей не откажешь. Ни души в доме, а столько величия в поведении!

– Да нет в ней никакого величия...

– По отношению к тебе.

Пат рассмеялась.

– Мне она понравилась. Но давай притащим чемоданы и достанем купальные принадлежности.

Проплавав целый час, я лежал на песке и грелся на солнце. Пат еще оставалась в воде. Ее белая шапочка то и дело мелькала в синих волнах. Кричали чайки. По горизонту медленно тянулся пароход, оставляя за собой развевающееся дымное знамя.

Солнце пекло. Оно расплавляло всякое желание сопротивляться бездумной, сонной лени. Я закрыл глаза и вытянулся во весь рост. Горячий песок похрустывал. В ушах отдавался шум слабого прибоя. Что-то мне все это напоминало, какой-то день, когда я точно так же лежал...

Было это летом тысяча девятьсот семнадцатого года. Наша рота находилась тогда во Фландрии, и мы неожиданно получили несколько дней для отдыха во Фландрии – Майер, Хольтхоф, Брегер, Лютгенс, я и еще несколько человек. Большинство из нас еще ни разу не были на море, и эта толика отдыха, этот непостижимый перерыв между смертью и смертью превратился в настоящее безудержное упоение солнцем, песком и морем. Мы по целым дням пропадали на пляже, распластавшись голышом на солнце, – ибо лежать голым, не навьюченным оружием и униформой уже было почти что миром. Мы резвились на песке, мы снова и

снова бросались в море, мы с невероятной, только в это время возможной силой ощущали биение жизни в своем теле, в своем дыхании, в своих движениях, мы забывали в эти часы обо всем на свете и хотели обо всем забыть. Но вечерами, в сумерках, когда солнце закатывалось за горизонт и от него бежали по потускневшему морю серые тени, к рокоту прибоя постепенно примешивался другой звук, он усиливался и наконец заглушал все, словно глухая угроза, – то был грохот фронтовой канонады. И тогда случалось, что стихали разговоры и наступало вымученное молчание, заставлявшее тянуть шею и напряженно вслушиваться, а на радостных лицах наигравшихся до усталости мальчишек снова проступали суровые лики солдат, словно бы высекаемые внезапно, нахлынувшим изумлением, тоской, в которой сошлось все, чему не было слов: горькое мужество и жажда жизни, преданность долгу, отчаяние, надежда и глубокая загодичная печаль тех, кто был смолоту отмечен перстом судьбы. Через несколько дней началось большое наступление, и уже к третьему июля от роты осталось всего тридцать два человека, а Майер, Хольтхоф и Лютгенс были мертвы.

– Робби! – крикнула мне Пат.

Я открыл глаза. Несколько секунд мне понадобилось, чтобы осознать, где я. Воспоминания о войне всегда уносили меня далеко-далеко. С другими воспоминаниями так не было.

Я встал. Пат выходила из воды. Она шла как раз по солнечной дорожке на море, ярким блеском были залиты ее плечи, и вся она была словно окутана светом, отчего фигурка ее казалась почти черной. С каждым шагом вверх она все выше вращалась в слепящее предзакатное солнце, пока лучи его не образовали ореол вокруг ее головы.

Я вскочил на ноги. Это видение показалось мне неправдоподобным, будто из другого мира: просторное синее небо, белые гребни волн – и на этом фоне красивая стройная фигура. Чувство было такое, будто я один в целом мире и ко мне выходит из воды первая женщина. На миг меня поразила мощная безмолвная сила красоты, и я почувствовал, что она значительнее, чем кровавое прошлое, что она должна быть значительнее, иначе мир рухнул бы и задохнулся от ужаса и смятения. И еще сильнее, чем это, я ощутил, что я есть, что я существую и что есть Пат, что я живу, что я выбрался из кошмара, что у меня есть глаза, и руки, и мысли, и что горячими волнами бьет во мне кровь, и что все это непостижимое чудо.

– Робби! – снова крикнула Пат и помахала рукой.

Я подхватил с земли ее халат и пошел ей навстречу.

– Ты слишком долго была в воде, – сказал я.

– Я совсем не замерзла, – ответила она, с трудом переводя дух.

Я поцеловал ее в мокрое плечо.

– На первых порах тебе надо вести себя немного разумнее.

Она покачала головой и посмотрела на меня сияющими глазами.

– Я достаточно долго вела себя слишком разумно.

– Вот как?

– Конечно. Слишком долго! Пора мне наконец быть и неразумной!

Она рассмеялась, прильнув щекой к моему лицу.

– Будем неразумными, Робби! Ни о чем не будем думать, совершенно ни о чем, только о нас двоих, да о солнце, да о каникулах, да о море!

– Хорошо, – сказал я и взял махровое полотенце. – Для начала, однако, я вытру тебя досуха. Когда это ты успела уже загореть?

Она надела халат.

– Это результат разумно проведенного года. В течение которого я ежедневно по часу должна была лежать на солнце на балконе. А в восемь вечера идти спать. Сегодня же в восемь вечера я опять пойду купаться.

– Это мы еще посмотрим, – сказал я. – Человек всегда велик в своих намерениях. Но не в их свершении. В этом и состоит обаяние человека.

Из вечернего купания ничего не вышло. Мы еще прогулялись по деревне и проехали в сумерках на «ситроене», а потом Пат почувствовала себя вдруг крайне усталой и потребовала ехать домой. Я уже не раз наблюдал в ней этот резкий переход от кипучей жизненной энергии к внезапной усталости. У нее было не много сил и вовсе не было никаких резервов – хотя она и не производила такого впечатления. Она всегда расточительно тратила все запасы своей жизненной силы, и они казались неисчерпаемыми благодаря ее цветущей юности, а потом вдруг наступал момент, когда лицо ее резко бледнело, а глаза глубоко западали – и всему приходил конец. Она утомлялась не медленно, как другие люди, а в одну секунду.

– Поедем домой, Робби, – сказала она, и ее низкий голос прозвучал глуше обычного.

– Домой? То есть к фройляйн Эльфриде Мюллер с ее золотым крестом на груди? Кто знает, что еще пришло в голову старой хрычовке в наше отсутствие.

– Домой, Робби, – сказала Пат, устало склонившись к моему плечу. – Теперь это наш дом.

Я отнял одну руку от руля и обнял ее за плечи. Так мы медленно ехали по голубым и туманным сумеркам, а когда наконец завидели освещенные окна маленького домика, уткнувшегося, подобно некоему темному зверю, мордой в неширокую ложбину, то и впрямь почувствовали, будто возвращаемся к себе домой.

Фройляйн Мюллер уже поджидала нас. Она переделалась, и теперь на ней вместо черного шерстяного было черное шелковое платье такого же пуританского покроя. Крест заменила другая эмблема из сердца, якоря и креста – церковных символов веры, надежды и любви.

Она была гораздо приветливее, чем днем, и учтиво спросила, устроит ли нас приготовленный ею ужин – яйца, холодное мясо и копченая рыба.

– Почему бы и нет? – пожал я плечами.

– Вам не нравится? Это свежекопченая камбала. – Она посмотрела на меня с некоторой робостью.

– Конечно, конечно, – бросил я холодно.

– Свежекопченая камбала – это очень вкусно, – сказала Пат, бросив на меня укоризненный взгляд. – Классический ужин, о каком можно только мечтать в первый день на море, фройляйн Мюллер. А если к этому будет горячий чай...

– Ну конечно! Охотно! А как же! Сейчас принесу! – Фройляйн Мюллер с явным облегчением удалилась, шурша шелковым платьем.

– Ты что, действительно не любишь рыбу? – спросила Пат.

– Люблю. Еще как! Камбала! Да я мечтал о ней черт знает сколько!

– И при этом ведешь себя так надменно? Не слабо!

– Должен ведь я поквитаться с ней за то, как она встретила меня днем.

– Ах ты, Господи! – рассмеялась Пат. – Все-то ты держишь в себе! Я уже давно обо всем забыла.

– А я нет, – сказал я. – Я не забываю так легко.

– А надо бы, – заметила Пат.

Вошла служанка с подносом. У камбалы была кожа цвета золотистого топаза, и она чудесно пахла морем и дымом. Вместе с ней были поданы еще и свежие креветки.

– Начинаю забывать, – прочувствованно произнес я. – Кроме того, я замечаю, что страшно проголодался.

– Я тоже. Но сначала налей мне горячего чаю. Странно, но меня отчего-то знобит. Хотя на улице-то тепло.

Я посмотрел на нее. Она заметно побледнела, хотя улыбалась.

– Впредь и не заикайся насчет того, чтобы купаться подолгу, – сказал я и спросил служанку: – У вас есть ром?

– Что?

– Ром. Напиток такой, в бутылках.

– Ром?

– Да.

– Не-е...

Ее глаза на круглом как луна лице, сделанном из теста, таращились с тупым недоумением.

– Не-е... – повторила она снова.

– Ладно, – сказал я. – Это не так важно. Прощайте. Да хранит вас Бог.

Она исчезла.

– Какое счастье, Пат, что у нас есть дальновидные друзья, – сказал я. – Сегодня утром перед отъездом Ленц успел сунуть мне в машину довольно тяжелый пакет. Давай-ка посмотрим, что в нем.

Я принес пакет из машины. В нем оказался небольшой ящичек с двумя бутылками рома, бутылкой коньяка и бутылкой портвейна. Я поднес их к лампе.

– «Сент Джеймс», мать честная! На мальчиков можно положиться.

Я откупорил бутылку и налил Пат в чашку с чаем добрую толику рома. При этом я заметил, что ее рука слегка дрожит.

– Тебя трясет? – спросил я.

– Теперь уже лучше. Почти прошло. Ром хорош. Но я скоро лягу.

– Ложись немедленно, Пат, – сказал я, – пододвинем стол к кровати, и ты сможешь есть лежа.

Она дала себя уговорить. Я принес ей еще одно одеяло с моей кровати и пододвинул поближе стол.

– Может, сделать тебе настоящий грог, Пат, а? Это помогает еще лучше. Я быстро сделаю. Пат покачала головой.

– Мне уже лучше.

Я взглянул на нее. Она и в самом деле выглядела лучше. В глазах опять появился блеск, губы налились кровью, матовая кожа ожила.

– Как быстро действует ром, просто фантастика, – сказал я.

Она улыбнулась.

– И постель тоже, Робби. Я лучше всего отдыхаю в постели. Она – мое прибежище.

– Мне это странно. Я бы спятил, если бы мне приходилось ложиться так рано. То есть одному, я хочу сказать.

Она засмеялась.

– У женщин все по-другому.

– Не говори мне про женщин. Ты не женщина.

– А кто же?

– Не знаю. Но не женщина. Если бы ты была настоящая, нормальная женщина, я бы не мог любить тебя.

Она посмотрела на меня.

– А ты вообще-то можешь любить?

– Ничего себе вопросы за ужином! – сказал я. – И много у тебя таких?

– Может, и много. Но что ты ответишь на этот?

Я налил себе стакан рома.

– Твое здоровье, Пат. Возможно, ты и права. Может быть, никто из нас не умеет любить. Ну, так, как когда-то, я хочу сказать. Но может, оно и к лучшему, что теперь все по-другому. Проще как-то.

В дверь постучали. Вошла фройляйн Мюллер. В руках у нее был крошечный стеклянный кувшин, на дне которого плескалось немного жидкости.

– Вот... я принесла вам ром.

– Спасибо, – сказал я, умиленно разглядывая стеклянный наперсток. – Крайне любезно с вашей стороны, но мы уже вышли из положения.

– О Господи! – Она с ужасом оглядела рать бутылок на столе. – Вы так много пьете?

– Только в целях лечения, – произнес я со всей мыслимой кротостью, избегая смотреть на Пат. – Все это прописано врачом. У меня излишняя сухость в печени, фройляйн Мюллер. Однако не окажете ли нам честь?

Я откупорил бутылку портвейна.

– За ваше здоровье! За то, чтобы дом ваш вскоре наполнился постояльцами!

– Премного благодарна! – Она со вздохом отвесила мне легкий поклон и пригубила вино, как птичка. – За то, чтобы вам хорошо отдыхалось! – Потом она лукаво улыбнулась мне. – Однако крепкий напиток. И хороший.

Меня так поразила эта перемена, что у меня чуть не выпал стакан из рук. У фройляйн Мюллер покраснели щеки и заблестели глаза, и она принялась болтать о всякой всячине, нам вовсе не интересной. Пат внимала ей с ангельским терпением. Наконец хозяйка обратилась ко мне:

– Стало быть, господину Кестеру живется неплохо?

Я кивнул.

– Он был такой тихоня в ту пору, – сказала она. – Бывало, за весь день не вымолвит ни словечка. Он и теперь такой же?

– Да нет, теперь он иногда разговаривает.

– Он пробыл здесь около года. И все один...

– Да, – сказал я, – в таких обстоятельствах человек обычно разговаривает меньше.

Она с серьезным видом кивнула и обратилась к Пат:

– Вы, конечно, устали.

– Немного, – ответила Пат.

– Очень, – добавил я.

– Ну тогда я пойду, – всполошилась она. – Спокойной ночи! Приятного сна!

Помешкав, она все же ушла.

– По-моему, она бы не прочь посидеть здесь еще, – сказал я. – Что довольно странно...

– Бедняга, – ответила Пат. – Наверняка сидит вечерами одна в своей комнате и тоскует.

– Да-да, конечно... – сказал я. – Но мне кажется, я был с ней в целом достаточно обходителен.

– Вполне. – Она погладила мою руку. – Приоткрой немного дверь, Робби.

Я подошел к двери и отворил ее. Небо прояснилось, полоса лунного света протянулась от дороги к нам в комнату. Казалось, сад только и ждал, когда же откроется дверь, – с такой силой ворвался к нам ночной запах цветов, сладкий аромат левкоя, резеды и роз. Он залил всю комнату.

– Ты только посмотри, – сказал я.

При усилившемся свете луны садовую дорожку было видно до самого конца. Вдоль нее стояли, склонив головки, цветы; листья отливали темным серебром, а бутоны, игравшие днем всеми цветами радуги, теперь окутались в тона призрачной и нежной пастели. Лунный свет и ночь отняли у красок их силу, зато благоухание стало острее и слаще, чем когда-либо днем.

Я посмотрел на Пат. Ее изящная узкая голова в обрамлении темных волос нежно и хрупко покоилась на белоснежных подушках. И в этом ее бессилии была та самая тайна хрупкости, что и в цветах, распускающихся в полумраке, и в парящем свете луны.

Она слегка приподнялась на постели.

– Я и правда очень устала. Это ужасно, да?

Я сел к ней на постель.

– Совсем нет. Лучше заснешь – только и всего.

– Но ведь ты еще не будешь спать.

– Я схожу еще разок на пляж.

Она кивнула и откинулась на подушки. Я посидел еще немного.

– Не закрывай дверь на ночь, – сказала она уже в полусне. – Как будто мы спим в саду...

Дыхание ее сделалось ровнее. Я потихоньку встал и вышел в сад. Около забора остановился и закурил сигарету. Отсюда мне была видна вся комната. На стуле висел халатик Пат, сверху было наброшено платье и белье, на полу у стула стояли туфли. Одна из них была опрокинута. Глядя на все это, я испытывал странное, небывалое ощущение чего-то близкого и родного. «Вот, – думал я, – у меня теперь есть она, есть и будет, стоит мне сделать несколько шагов, и я могу видеть ее и быть с ней – сегодня, завтра и, может быть, еще долгое, долгое время...»

Может быть, думал я, может быть... Вечно встречается это слово, без которого теперь нельзя обойтись! В нем – утраченная уверенность, утраченная всеми уверенность во всем...

Я спустился на пляж, к морю и ветру, к глухому шуму прибоя, напоминавшему отдаленную канонаду.

XVI

Я сидел на пляже, наблюдая, как заходит солнце. Пат со мной не пошла. Она весь день чувствовала себя неважно.

Когда стемнело, я поднялся, чтобы идти домой. И тут увидел, что со стороны леса бежит служанка. Она что-то кричала и размахивала руками. Я не мог разобрать ни слова – ветер и море слишком шумели. Я помахал ей, жестаи давая понять, чтобы она остановилась и ждала меня. Но она продолжала бежать, то и дело всплескивая руками. «Ваша жена... – донеслось до меня, – быстрее...»

Я побежал ей навстречу.

– Что случилось?

Она хватала ртом воздух.

– Быстрее – ваша жена – несчастье...

Я полетел во весь дух по песчаной дорожке через лес к дому. Деревянная калитка не поддавалась, я перепрыгнул через забор и вбежал в комнату. Пат лежала на постели, заломив руки; кровь, бежавшая у нее изо рта, заливала ей грудь. Рядом с ней стояла фройляйн Мюллер с полотенцами и тазом с водой.

– Что случилось? – крикнул я, отодвигая ее в сторону.

Она что-то сказала.

– Принесите бинт и вату! – потребовал я. – Где рана?

Она посмотрела на меня.

– Это не рана, – проговорила она дрожащим голосом.

Я выпрямился.

– Кровотечение, – сказала она.

Меня словно обухом ударило по голове.

– Кровотечение? – Я подскочил к ней и вырвал из ее рук тазик с водой. – Принесите же льда, принесите поскорее немного льда.

Я намочил полотенце в тазу с водой и положил его на грудь Пат.

– У нас в доме нет льда, – сказала фройляйн Мюллер.

Я резко повернулся к ней. Она отпрянула.

– Ради Бога, добудьте льда, пошлите в ближайший трактир и немедленно позвоните врачу!

– Но у нас нет телефона...

– Проклятие! А где ближайший телефон?

– У Масманна.

– Бегите к нему. побыстрее. И немедленно позвоните ближайшему врачу. Как его зовут? Где он живет?

Она еще не успела ответить, как я вытолкал ее за дверь.

– Быстрее, да быстрее же! Бегом! Далеко это?

– В трех минутах! – крикнула женщина, убегая.

– И не забудьте про лед! – крикнул я ей вслед.

Она кивнула на бегу.

Я принес еще воды и снова намочил полотенце. Я не решался трогать Пат. Я не знал, так ли она лежит, как надо, и был в отчаянии из-за того, что не знаю этого, не знаю даже, надо ли ей лежать повыше или лучше вынуть подушку из-под головы.

Она захрипела, потом резко изогнулась дугой, и изо рта у нее снова хлынула кровь. Она часто и ужасно дышала, в глазах застыл нечеловеческий ужас, она давилась и кашляла, и снова хлестала кровь. Я поддерживал ее сзади, время от времени давая ей опуститься на подушки,

вместе с ней ощущал все содрогания ее несчастного, измученного нескончаемыми страданиями тела... Наконец, совершенно обессиленная, она откинулась назад.

Вошла фройляйн Мюллер. Она посмотрела на меня как на привидение.

– Что же нам делать?! – выкрикнул я.

– Врач сейчас придет, – прошептала она. – Лед – на грудь, и если она в состоянии, то и в рот...

– А лежать лучше высоко или низко? Да отвечайте же быстрее, черт вас подери...

– Оставьте так – он сейчас придет...

Я стал выкладывать куски льда Пат на грудь с чувством облегчения оттого, что могу что-то делать; я раздробил лед для компресса, наложил его, неотрывно глядя на эти прелестные, любимые, искривленные губы, на эти единственные, окровавленные...

Подъехал велосипед. Я вскочил. Врач.

– Я могу вам помочь? – спросил я.

Он покачал головой и стал раскладывать свой саквояж. Я стоял рядом с ним, вцепившись руками в спинку кровати. Он поднял на меня глаза. Я отошел на шаг, пристально глядя на него. Он простукивал ребра Пат. Она стонала.

– Это опасно? – спросил я.

– Где лечилась ваша жена? – ответил он вопросом на вопрос.

– Где – что? – пробормотал я.

– У какого врача? – нетерпеливо спросил он.

– Не знаю... – ответил я. – Нет, ничего не знаю... Я не знал...

Он посмотрел на меня.

– Это вы должны были бы знать...

– Но я не знаю. Она мне никогда об этом не говорила.

Он склонился к Пат и спросил ее. Она хотела ответить, но опять стала кашлять кровью. Врач подхватил ее. Она хватала воздух ртом и дышала с присвистом.

– Жаффе! – проклокотало наконец у нее в горле.

– Феликс Жаффе? Профессор Феликс Жаффе? – спросил врач. Она кивнула одними глазами. Он обернулся ко мне. – Вы можете ему позвонить? Было бы лучше всего спросить у него.

– Да, конечно, – ответил я. – Я сделаю это сейчас же. А потом заеду за вами! Жаффе?

– Феликс Жаффе, – сказал врач. – Номер узнайте в справочной.

– Ничего страшного не случится? – спросил я.

– Кровотечение должно прекратиться, – ответил врач.

Я схватил служанку за руку, и мы побежали с ней по дороге. Она показала мне дом, в котором был телефон. Я нажал кнопку звонка. В доме сидело небольшое общество за пивом и кофе. Я окинул их взглядом, не понимая, как могут они пить, когда Пат истекает кровью. Я заказал срочный разговор и стал ждать у аппарата. Прислушиваясь к далекому гулу в трубке, я то смутно, то с предельной отчетливостью видел сквозь просвет между портьерами часть смежной комнаты. Видел покачивающуюся, в желтых бликах лысину, видел брошку на черном бархате платья, перетянутого шнурами, и двойной подбородок, и пенсне, и пышную прическу над ним; видел костистую старую руку с набухшими венами, барабанившую по столу... Я не хотел ничего этого видеть, но был беззащитен против этих видений, все это застило мне глаза, как слишком яркий свет.

Наконец меня соединили с нужным номером. Я попросил профессора.

– Сожалею, – сказала сестра. – Профессор Жаффе уже ушел.

На минуту сердце мое перестало биться, а потом вдруг застучало, как молот под рукой кузнеца.

– А где он? Мне срочно нужно поговорить с ним.

- Я не знаю, куда он пошел. Может быть, снова в клинику.
- Пожалуйста, позвоните туда. Я подожду. У вас ведь есть другой аппарат.
- Минутку.

Снова врубился гул в беспросветной тьме, прорезаемой тонким металлическим звуком. Я вздрогнул: совсем рядом, в накрытой клетке, вдруг защелкала канарейка. Снова послышался голос сестры:

- Профессор Жаффе уже ушел из клиники.
- Куда?
- Сударь, этого я не знаю.
- Это конец. Я прислонился к стене.
- Алло! – произнесла сестра. – Вы еще здесь?
- Да. Послушайте, сестра, вы не знаете, когда он вернется?
- Этого не знает никто.
- Разве он этого не сообщает? А должен бы. Ведь если что случится и он срочно понадобится...

– В его клинике всегда есть дежурный врач.

– А вы не могли бы позвать... – Нет, это не имело смысла, ведь он ничего не знает. – Ладно, сестра, – сказал я, чувствуя смертельную усталость, – если придет профессор Жаффе, попросите его немедленно позвонить сюда. – Я назвал номер. – Только прошу вас, сестра, пусть позвонит сразу же!

– Сударь, можете на меня положиться. – Она повторила номер и повесила трубку.

Я остался один. Покачивающиеся головы, лысина, брошка, вся комната рядом превратилась в блестящий резиновый шар, который раскачивался, как маятник. Я сбросил оцепенение. Делать здесь больше нечего. Надо только сказать этим людям, чтобы меня позвали, когда позвонят. Но я все не решался выпустить из рук телефон. Он был для меня теперь как спасательный круг. И вдруг меня осенило. Я снова поднял трубку и назвал номер Кестера. Он должен быть дома. Ведь иного выхода не было.

И вот из густого варева ночи выплыл спокойный голос Кестера. Я и сам сразу успокоился и рассказал ему все. Я чувствовал, что, слушая, он записывает.

– Хорошо, – сказал он, – я немедленно выезжаю на поиски. Я позвоню. Не волнуйся. Я найду его.

Пронесло. Пронесло ли? Но мир успокоился. Призрак исчез. Я побежал обратно.

- Ну как? – спросил врач. – Дозвонились?
- Нет, – ответил я, – но я дозвонился до Кестера.
- Кестер? Его я не знаю. Что он сказал? Как он ее лечил?
- Лечил? Нет, он ее не лечил. Кестер его ищет.
- Кого?
- Жаффе.
- Мой Бог. А кто этот Кестер?
- Ах да, простите. Кестер – мой друг. Он ищет профессора Жаффе. До которого я не дозвонился.

– Жаль, – сказал врач и снова повернулся к Пат.

– Он его найдет, – сказал я. – Если только он жив, он его найдет.

Врач посмотрел на меня так, как будто я спятил. И пожал плечами.

Тусклый свет лампы рассеивался по комнате. Я спросил, не могу ли помочь. Врач покачал головой. Я выглянул в окно. Пат захрипела. Я закрыл окно и стал в дверях. Я наблюдал за дорогой.

Вдруг раздался крик:

– Телефон! Телефон!

Я повернулся к врачу.

– Телефон. Пойти мне?

Врач вскочил.

– Нет, я пойду сам. Я расспрошу его лучше. Оставайтесь здесь. Ничего не предпринимайте. Я сразу вернусь.

Я сел к Пат на постель.

– Пат, – тихо сказал я. – Мы с тобой. Мы сделаем все. С тобой ничего не случится. Не может ничего случиться. Профессор уже позвонил. Сейчас он нам все скажет. А завтра наверняка приедет и сам. Он тебе поможет. И ты выздоровеешь. Почему же ты никогда не говорила мне о том, что еще больна? А кровь – это не страшно, Пат. Мы дадим тебе новую. Кестер разыскал профессора. Теперь все в порядке, Пат.

Врач вернулся.

– Это был не профессор...

Я встал.

– Это был ваш друг. Ленц.

– Кестер его не нашел?

– Нашел. Жаффе дал ему указания. Ленц продиктовал мне их по телефону. Совершенно чисто, без единой ошибки. Он что, врач, ваш друг Ленц?

– Нет. Но хотел стать врачом. А что же Кестер?

Врач посмотрел на меня.

– Ленц сказал, что Кестер несколько минут назад выехал сюда. Вместе с профессором.

Я прислонился к стене.

– Отто! – только и смог я сказать.

– Да, – добавил врач, – это единственное, в чем ваш друг ошибся. Он сказал, что через два часа они будут здесь. Я знаю эту трассу. При самой быстрой езде им понадобится не меньше трех часов. Никак не меньше...

– Доктор, – ответил я. – В этом вы можете не сомневаться. Если он сказал два часа, то через два часа он будет здесь.

– Это невозможно. Дорога часто петляет, а сейчас ночь.

– Вот увидите, – сказал я.

– Как бы там ни было... если он все-таки будет здесь... это самое лучшее.

Изнемогая от нетерпения, я вышел на улицу. Стался туман. Вдали шумело море. С деревьев капало. Я огляделся. И вдруг почувствовал, что я больше не одинок. Где-то на юге, за горизонтом, гудел мотор. За туманами по бледно мерцающим дорогам мчалась помощь, фары выбрасывали снопы света, шины свистели, а две руки железной хваткой держали баранку, два глаза буравили темноту, то были холодные, уверенные глаза, глаза моего друга...

* * *

Потом Жаффе рассказал мне, как все было.

Сразу после разговора со мной Кестер позвонил Ленцу и сказал, чтобы тот был наготове. Потом он слетал в мастерскую за «Карлом» и помчался с Ленцем в клинику. Дежурная сестра высказала предположение, что профессор отправился ужинать. Она назвала Кестеру несколько ресторанов, в которых он мог быть. Кестер отправился на поиски. Он носился по городу, не обращая внимания на дорожные знаки, а также на трели полицейских. «Карл» метался в потоке машин, как норовистый конь. В четвертом по счету ресторане Кестер отыскал профессора. Жаффе сразу все понял. Оставив ужин, он вышел с Кестером. Они поехали к нему на квартиру, чтобы взять нужные вещи. Это был единственный участок пути, который Кестер преодолел хотя и быстро, но не в сумасшедшем темпе. Он не хотел пугать врача прежде времени. По

дороге профессор спросил, где Пат находится. Кестер назвал местечко километрах в сорока. Важно было не выпустить профессора из машины. Остальное уж как-нибудь уладится. Собирая свой саквояж, Жаффе объяснял Ленцу, что нужно передать по телефону. Затем он сел с Кестером в машину.

– Это опасно? – спросил Кестер.

– Да, – сказал Жаффе.

И в то же мгновение «Карл» превратился в белый призрак, вихрем полетевший по дороге. Он обгонял всех, вылетая подчас двумя колесами на тротуары, мчась в поисках кратчайшего пути из города в запрещенном направлении по улицам с односторонним движением.

– Да вы с ума сошли! – воскликнул профессор, когда Кестер метнулся наперерез автобусу, едва не задев его высокий бампер. На мгновение Отто сбавил газ, но потом мотор опять взревел на полную мощь.

– Да не гоните вы так машину, – вскричал врач, – что это нам даст, если мы попадем в аварию?

– Мы не попадем в аварию.

– Если вы не сбавите скорость, это случится через две минуты.

Кестер бросил машину в обгон трамвая с левой стороны.

– Мы не попадем в аварию.

Впереди была длинная прямая улица. Кестер посмотрел на врача.

– Я и сам отлично понимаю, что должен доставить вас целым и невредимым. Положитесь на меня, все будет в порядке.

– Но к чему эта бешеная гонка? Так мы выиграем лишь несколько минут.

– Нет, – сказал Кестер, увильнув от груженного камнем грузовика, – нам предстоит проделать еще двести сорок километров.

– Что?

– Да, двести сорок. – «Карл» прошмыгнул между почтовой машиной и автобусом. – Я не хотел говорить вам этого сразу.

– Это не имело значения, – проворчал Жаффе, – я не отмеряю свою помощь по километровому счетчику. Поезжайте на вокзал. По железной дороге мы доберемся скорее.

– Нет. – Кестер уже выскочил в предместье, и ветер срывал слова с его губ. – Я узнавал... Поезд идет слишком поздно...

Он снова посмотрел на Жаффе, и, видимо, врач прочел на его лице что-то такое, что заставило его сказать:

– Ну, помогай вам Бог... Ваша приятельница?

Кестер покачал головой. Он не произнес больше ни слова. Он уже миновал огороды с садовыми домиками и вырвался на шоссе. Теперь можно было развить предельную скорость. Врач съехал на сиденье. Кестер протянул ему свой кожаный шлем.

«Карл» непрерывно сигнализировал. Леса отбрасывали назад его рев. Даже в деревнях Кестер сбавлял скорость только при крайней необходимости. Грохот не стесненного глушителем мотора ударялся в стены проносившихся мимо домов, громко хлопавших в ответ, как полотнища на ветру; обдав их на миг мертвенным светом фар, машина летела дальше в ночь, выхватывая из тьмы новые дали.

Шины визжали, шипели, выли, свистели – мотор отдавал теперь все, на что был способен. Кестер весь вытянулся вперед, его тело превратилось в одно огромное ухо, в некий фильтр, просеивающий и грохот, и посвист внутри и снаружи, чутко улавливающий малейший шорох, любой подозрительный скрежет и скрип, чреватый аварией, смертью.

На глинистом и размокшем участке дороги машина заюлила, стала раскачиваться. Кестер вынужден был сбавить темп. Зато он еще более круто стал нырять в повороты. Он вел машину уже не головой, а одним голым инстинктом. Фары высвечивали повороты только наполовину.

Нырять поэтому приходилось в крошечную тьму. Кестер включил прожектор-искатель, но его луч был узковат. Врач помалкивал. Внезапно воздух перед фарами стал двоиться, расслаиваться, окрашиваться в бледно-серебристый цвет, окутываться дымкой. То был единственный раз за весь путь, когда Жаффе услышал, что Кестер выругался. Минуту спустя они окунулись в густой туман.

Кестер переключил фары на ближний свет. словно обернутые ватой, они теперь плавали в сплошном молоке, где как призраки мелькали расплывчатые очертания столбов и деревьев; от шоссе ничего не осталось, на нем царили его величество авось и случай, да еще отчаянный рев мотора и то набегавшие, то исчезающие тени.

Когда они минут через десять выбрались из этой полосы, Кестера было не узнать: он осунулся на глазах. Взглянув на Жаффе, он что-то пробормотал. Потом снова дал полный газ и снова прильнул к рулю, вглядываясь вперед холодными и уверенными глазами...

Как свинец плавилась в воздухе липкая духота.

– Еще не прекратилось? – спросил я.

– Нет, – ответил врач.

Пат взглянула в мою сторону. Я постарался улыбнуться ей. Получилась гримаса.

– Еще полчаса, – сказал я.

Врач поднял глаза.

– Еще полтора часа, а то и все два. Дождь идет.

Капли дождя с тихим звоном стучали по листьям кустов и деревьев. Я смотрел в сад ничего не видящими глазами. Давно ли мы вставали с Пат ночью, забирались в резеду и левкой, и Пат напевала детские песенки. Давно ли Пат проворным зверьком бегала здесь меж кустов по белеющей от луны дорожке...

Я в сотый раз вышел в сад. Делать там было нечего, и я знал это, но так ожидание становилось менее невыносимым. В воздухе висел туман. Я проклинал его, я знал, каково придется Кестеру. В белом мареве вскрикнула птица.

– Да заткнись ты! – проворчал я в сердцах. Сразу вспомнились всякие рассказы о вещих птицах. – Все это чушь! – бодрился я, однако не мог унять невольную дрожь.

Где-то в тумане жужжал жук, но не приближался... не приближался. Жужжал тихо и равномерно. Вот умолк. Вот зажужжал снова. Вот опять... И вдруг я вздрогнул – то был не жук, а машина, где-то далеко-далеко она на огромной скорости брала повороты. Я застыл на месте, затаил дыхание и напряг слух: вот оно опять, вот еще раз – тонкое назойливое жужжание, будто кружит осатаневший слепень. Вот звук стал слышнее – и я отчетливо различил мелодию компрессора. И тогда натянутый до предела горизонт наконец рухнул под натиском мягких волн бесконечности, погребя под собой ночь, отчаяние, ужас, – я бросился к двери со словами:

– Едут! Доктор, Пат, они едут! Я их уже слышу!

Врач, как было видно весь вечер, считал, что я не в своем уме. Он встал и тоже прислушался.

– Действительно машина, но другая, – сказал он наконец.

– Нет, нет, я узнаю мотор.

Он посмотрел на меня с раздражением. По-видимому, он считал себя заправским автомобилистом. По отношению к Пат он был сама снисходительность и само терпение, но стоило мне заговорить о машинах, как от очков его сыпались недовольные искры и он давал понять, что разбирается в этом лучше.

– Нет, это невозможно, – отрезал он и снова ушел в дом.

Я остался в саду. Я весь дрожал от нетерпения. «„Карл“, „Карл“», – повторял я. Теперь пошла черед приглушенных и резких ударных звуков – машина проезжала деревню, в бешеном темпе проскакивая между домами. Вот хлопки ослабели – машина пошла лесом, а вот

мотор взревел уже близко – с нарастающим, неистовым ликованием, туман прорезали яркие фары, слепящий свет летел на нас вместе с грохотом... Врач был явно ошеломлен. Вывизгнули тормоза, и машина как вкопанная остановилась у садовой калитки.

Я рванулся к машине. Профессор уже вылезал из нее. Не обращая на меня внимания, он направился сразу к врачу. За ним шел Кестер.

– Как она? – спросил он.

– Кровь еще идет.

– Это бывает, – сказал он, – не паникуй прежде времени.

Я молча смотрел на него.

– У тебя найдется сигарета? – спросил он.

Я дал ему закурить.

– Хорошо, что ты приехал, Отто.

Он жадно курил.

– Решил, так будет лучше.

– Ты очень быстро ехал.

– Да ничего. Вот только туман был в одном месте.

Мы сидели рядышком на скамье и ждали.

– Думаешь, пронесет?

– Конечно. Кровотечение – вещь не такая опасная.

– Она никогда мне об этом не говорила.

Кестер кивнул.

– Она должна жить, Отто.

Он не смотрел на меня.

– Дай-ка мне еще сигарету, – попросил он, – забыл прихватить свои.

– Она должна жить, – сказал я, – иначе все, все ни к черту.

Вышел профессор. Я встал.

– Будь я проклят, если я еще когда-нибудь поеду с вами, – бросил он Кестеру.

– Вы меня извините, – ответил Кестер. – Это жена моего друга.

– Вот как, – сказал Жаффе и взглянул на меня.

– Она будет жить? – спросил я.

Он испытующе посмотрел на меня. Я отвел глаза в сторону.

– Вы полагаете, я стал бы прохлаждаться здесь с вами, если бы она была в опасном состоянии? – заметил он.

Я стиснул зубы. И сжал кулаки. Я плакал.

– Простите меня, – сказал я, – но все произошло так быстро.

– Такие вещи быстро не происходят, – возразил Жаффе, улыбнувшись.

– Я немного раскис, Отто, – сказал я. – Не обращай внимания.

Он повернул меня за плечи и подтолкнул к двери.

– Зайди туда. Если профессор позволит.

– Я уже в порядке, – сказал я. – Можно мне войти?

– Да, только не разговаривайте с ней, – ответил Жаффе, – и не задерживайтесь долго.

Ей нельзя волноваться.

От слез я не видел ничего, кроме зыбких бликов в тазу с водой. Я моргал – и блики множились и искрились. Я не осмеливался поднести руку к глазам, чтобы Пат не подумала, что я плакал, так как дела ее обстояли неважно. Оставаясь на пороге, я попытался втиснуть в комнату свою улыбку. Потом быстро повернулся и вышел.

– Вы не зря приехали? – спросил Кестер профессора.

– Да, это было вовремя, – согласился Жаффе.

– Завтра утром я могу отвезти вас обратно.

– Нет уж, лучше не надо, – сказал Жаффе.

– Я поеду осторожно.

– Я хочу остаться еще на день и понаблюдать за процессом. Ваша кровать свободна? – спросил он меня.

Я кивнул.

– Хорошо, тогда я останусь здесь. А вы найдете себе пристанище?

– Да. Раздобыть для вас пижаму и зубную щетку?

– Не надо. Я все взял с собой. Я всегда готов к подобным неожиданностям. Исключая гонки, конечно.

– Простите, – извинился Кестер. – Представляю себе, как вы сердиты.

– Вовсе нет, – сказал Жаффе.

– В таком случае сожалею, что не сразу сказал вам всю правду.

Жаффе рассмеялся.

– Вы слишком плохо думаете о врачах. А теперь вы можете спокойно идти. Я останусь здесь.

Я быстро собрал кое-что из белья, и мы с Кестером двинулись в деревню.

– Ты устал? – спросил я.

– Нет, – ответил Отто, – мы могли бы еще где-нибудь посидеть.

Час спустя меня снова охватило беспокойство.

– Раз он остался, значит, положение опасное, – сказал я. – А иначе с чего бы вдруг...

– Я думаю, он остался из предосторожности, – ответил Отто. – Он относится к Пат с большой теплотой. Он говорил мне об этом в дороге. Оказывается, он лечил еще ее мать...

– А что, она тоже?...

– Не знаю, – поспешно ответил Кестер, – может быть, у нее было что-то другое. Ну, идем спать?

– Ступай без меня, Отто. Я хочу еще разочек... хотя бы издалека...

– Ладно. И я с тобой.

– Знаешь, Отто, я хотел тебе сказать, что люблю спать на воздухе. Особенно в теплую погоду. Так что ты не беспокойся. Я здесь не раз уже так ночевал.

– Но ведь сыро.

– Пустяки. Подниму верх и залезу в машину.

– Идет. Я тоже люблю спать на воздухе.

Я понял, что мне от него не отделаться. Взяв несколько одеял и подушек, мы пошли обратно к «Карлу». Отстегнули ремни, откинули спинки передних сидений. Ложе получилось вполне удобное.

– Получше, чем иной раз в окопах, – сказал Кестер.

В мгlistом воздухе выделялось яркое пятно окна. Несколько раз его перерезал силуэт Жаффе. Мы выкурили целую пачку сигарет. Потом большой свет в окне погас, осталось тусклое свечение ночника.

– Слава Богу, – сказал я.

По нашей крыше стучали капли. Дул слабый ветерок. Становилось прохладнее.

– Хочешь, возьми еще мое одеяло, Отто, – предложил я.

– Зачем, мне и так тепло.

– А он парень что надо, этот Жаффе! Как по-твоему?

– Парень что надо. И дельный, кажется.

– Наверняка.

Я вскочил на постели, очнувшись от беспокойного полусна. Холодное небо серело.

– Ты не спал, Отто.

– Спал.

Я выбрался из машины и подкрался по дорожке к окну. Ночник все еще горел. Я увидел, что Пат лежит с закрытыми глазами. На миг я испугался, что она умерла. Но потом заметил, как она шевельнула рукой. Она была очень бледна. Но кровь больше не шла. Вот она снова пошевелилась. В ту же секунду открыл глаза Жаффе, который спал на другой кровати. Я отскочил от окна. Он был начеку, и это меня успокаивало.

– Я думаю, нам лучше смыться отсюда, – сказал я Кестеру, – чтобы он не подумал, будто мы контролируем его действия.

– Там все в порядке? – спросил Отто.

– Да, насколько мне было видно. Со сном у профессора обстоит идеально. Такой и бровью не поведет при любом шквальном огне и немедленно встрепенется, стоит только мышке почесать зубы о его вещмешок.

– Можем пойти искупаться, – сказал Кестер. – Воздух здесь замечательный. – Он потянулся.

– Сходи один, – предложил я.

– Пойдем, придем вместе, – ответил он.

Серый купол неба прорвали оранжево-красные трещины. Густая завеса облаков на горизонте поползла вверх, обнажив полоску яркого бирюзового цвета.

Мы прыгнули в воду и поплыли. На серое море неровно ложились красные блики.

Потом мы пошли обратно. Фройляйн Мюллер была уже на ногах. Она срезала на огороде петрушку. Она вздрогнула, когда я к ней обратился. Я стал смущенно извиняться за то, что вчера оказался не в состоянии следить за своими выражениями. Она расплакалась.

– Бедная, бедная дама. Такая красивая и еще такая молодая.

– Она проживет сто лет! – сердито отрезал я в ответ на эту панихиду. Пат не умрет. Прохладное утро, ветер и столько радостной, оживленной морем жизни во мне – нет, Пат не может умереть. Она могла бы умереть только в том случае, если бы я утратил мужество. Вот Кестер, мой товарищ, вот я, товарищ Пат, – сначала должны умереть мы. А пока мы живы, мы ее вытянем. Так было всегда. Пока был жив Кестер, не мог умереть я. И пока живы мы оба, не может умереть Пат.

– Нужно покоряться судьбе, – сказала старая дева, придав своему сморщенному и коричневому, как печеное яблоко, лицу выражение упрека. Вероятно, она имела в виду мои проклятия.

– Покоряться? – сказал я. – Зачем? Какой в этом толк? В жизни за все нужно платить – двойную, а то и тройную цену. Зачем же при этом еще покоряться?

– Нет, нет... так все-таки лучше.

«Покоряться, – подумал я. – Что это изменит? Нет, бороться, бороться до конца – вот единственное, что остается человеку в этой свалке, в которой его все равно когда-нибудь растопчут. Бороться за то немногое, что любишь. А покориться не поздно и в семьдесят лет».

Кестер что-то неслышно сказал ей. Она улыбнулась ему в ответ и спросила его, что бы он хотел съесть на обед.

– Вот видишь, – сказал Отто, – у старости тоже свои преимущества. Слезы и смех быстро сменяют друг друга. В момент. Не исключено, что и с нами такое будет, – задумчиво произнес он.

Мы слонялись с ним возле дома.

– Для нее теперь каждая минута сна все равно что лекарство, – сказал я.

Мы снова пошли в сад. Фройляйн Мюллер приготовила нам завтрак. Мы выпили горячего черного кофе. Взошло солнце. Сразу стало тепло. От яркого света влажные листья на деревьях брызнули искрами. С моря долетали крики чаек. Фройляйн Мюллер поставила в вазу на столе пышные розы.

– Это для нее, потом отнесем.

Розы пахли детством, оградой в саду...

– Знаешь, Отто, – сказал я, – у меня такое чувство, как будто я сам болел. Все-таки мы уже не те, что прежде. Мне надо было вести себя спокойнее, сдержаннее. Чем спокойнее держишься, тем больше можешь помочь человеку.

– Не всегда это получается, Робби. Со мной такое тоже бывало. Чем дольше живешь, тем хуже с нервами. Это как у банкира, который терпит все новые убытки.

Тут открылась дверь. Вышел Жаффе в пижаме.

– Все хорошо! Да хорошо же! – замахал он руками, увидев, что я чуть было не опрокинул стол с чашками кофе. – Все хорошо, насколько это возможно.

– Можно мне к ней войти?

– Пока нет. Теперь там служанка. Умываются и все такое.

Я налил ему кофе. Он прищурился на солнце и обратился к Кестеру:

– Собственно, я должен благодарить вас. Хоть на денек да выбрался на природу.

– Вы могли бы это делать чаще, – сказал Кестер. – Выезжать с вечера и возвращаться к вечеру следующего дня.

– Мочь-то мы многое можем... – ответил Жаффе. – Вы заметили, что мы живем в эпоху сплошного самотерзания? Что мы не делаем того, что можем, – не делаем, сами не зная почему. Работа стала для нас делом чудовищной важности. Она задавила все, потому что кругом так много безработных. Какая здесь красота! Я не видел всего этого уже несколько лет. У меня две машины, квартира из десяти комнат и достаточно денег. А что с того? Разве все это сравнится с таким вот летним утром в саду? Работа – это мрачная одержимость, которой мы предаемся с вечной иллюзией, будто живем так временно, а потом все изменится. И никогда ничего не меняется. Просто диву даешься, глядя на то, что человек делает из своей жизни!

– А я считаю, что как раз врачи – те немногие из людей, которые знают, зачем живут, – сказал я. – Что же тогда говорить какому-нибудь бухгалтеру?

– Дорогой друг, – возразил мне Жаффе, – неверно предполагать, будто все люди одинаково чутко устроены.

– Это правда, – сказал Кестер, – но ведь люди обрели свои профессии независимо от способности чувствовать.

– Тоже верно, – ответил Жаффе. – Это материя сложная. – Он кивнул мне: – Теперь можно. Только тихонько. Не прикасайтесь к ней и не давайте ей говорить...

* * *

Она лежала на подушках без сил, как побитая. Ее лицо изменилось: глубокие синие тени залегли под глазами, губы побелели. Только глаза оставались большими, блестящими. Даже слишком большими и слишком блестящими.

Я взял ее руку. Она была бледна и прохладна.

– Пат, дружище, – робея сказал я и хотел подсесть к ней, но тут я заметил у окна служанку с белым, как из теста, лицом. Она с любопытством смотрела на меня. – Вышли бы вы отсюда, – с досадой сказал я.

– Я должна задернуть шторы, – ответила она.

– Прекрасно, задерживайте и ступайте.

Она затянула окно желтыми шторами, но не вышла, а принялась не торопясь скреплять их булавками.

– Послушайте, – сказал я, – здесь вам не театр. Немедленно исчезайте!

Она неуклюже повернулась.

– То заколи, то не надо.

– Ты просила ее об этом? – спросил я Пат.

Она кивнула.

– Тебе больно смотреть на свет?

Она покачала головой:

– Сегодня мне лучше не показываться тебе при ярком свете...

– Пат, – вспомнил я, испугавшись, – тебе пока нельзя разговаривать! Но если дело только в этом...

Я открыл дверь, и служанка наконец исчезла. Я вернулся к постели. Моя робость прошла. Я даже был благодарен служанке. Она помогла мне справиться с первыми впечатлениями. Было все-таки ужасно видеть Пат в таком состоянии.

Я сел на стул рядом с кроватью.

– Пат, – сказал я, – скоро ты опять будешь здорова...

Ее губы дрогнули:

– Завтра уже...

– Завтра еще нет, но через несколько дней. Тогда тебе можно будет вставать, и мы поедем домой. Не следовало нам ехать сюда, тут слишком сырой воздух, для тебя это вредно.

– Нет, нет, – прошептала она, – ведь я не больна. Это просто какой-то несчастный случай...

Я посмотрел на нее. Неужели она и вправду не знала, что больна? Или не хотела знать? Глаза ее как-то беспокойно бегали.

– Ты не должен бояться... – сказала она шепотом.

Я не сразу понял, что она имеет в виду и почему так важно, чтобы именно я не боялся. Я видел только, что она взволнована. В ее глазах была мука и какая-то странная, упорная мысль. И вдруг до меня дошло. Я догадался, о чем она думала. Ей казалось, что я боюсь от нее заразиться.

– Боже мой, Пат, – сказал я, – так ты поэтому никогда мне ничего не говорила?

Она не ответила, но я видел, что прав.

– Черт возьми, – сказал я, – за кого же ты меня, собственно, принимаешь?

Я склонился к ней.

– Лежи спокойно, не шевелись... – Я поцеловал ее в губы. Они были сухие, горячие.

Выпрямившись, я увидел, что она плачет. Она плакала беззвучно; из широко раскрытых глаз непрерывно текли слезы, а лицо оставалось неподвижным.

– Ради Бога, Пат...

– Ведь это от счастья, – прошептала она.

Я стоял и смотрел на нее. Она произнесла простые слова. Но никогда еще я их не слышал. У меня бывали женщины, но встречи с ними всегда были мимолетными – так, легкие приключения, не больше, какая-нибудь безумная вспышка на час, необыкновенный вечер, бегство от самого себя, от отчаяния, от пустоты. Да я и не искал ничего другого, ибо знал, что полагаться можно только на себя самого, в лучшем случае – на товарища. И вдруг я увидел, что могу значить что-то для другого человека и что он счастлив только оттого, что я рядом. Сами по себе такие слова звучат простовато, но когда вдуматься в них, начинаешь понимать, что за ними целая бесконечность. И тогда это может поднять настоящую бурю в душе человека и совершенно преобразить его. Это любовь и в то же время что-то совсем другое. Что-то такое, ради чего стоит жить. Мужчина не может жить для любви. Но жить для другого человека он может.

Мне хотелось сказать ей что-нибудь, но я не мог ничего сказать. Трудно для этого подобрать слова. И даже если нужные слова приходят, то как-то стыдно произнести их вслух. Ведь все эти слова принадлежат прошлым столетиям. Наше время еще не нашло слов для выражения своих чувств. По-настоящему оно умеет быть только развязным, а все остальное – подделка.

– Пат, – сказал я, – храбрый дружище...

В эту минуту вошел Жаффе. Он сразу понял все.

– Успехи великолепны, куда там! – заворчал он. – Так я и думал.

Я хотел ему возразить, но он решительно выставил меня вон.

XVII

Недели через две Пат окрепла настолько, что мы могли пуститься в обратный путь. Упаковав чемоданы, мы стали ждать Готфрида Ленца. Он должен был отогнать машину назад. Мы с Пат собирались поехать поездом.

День был теплый, как парное молоко. В небе недвижно висели ватные облака, горячий воздух томился над дюнами, море плавилось, как свинец, в светлой мерцающей дымке.

Готфрид явился после обеда. Еще издали я завидел его соломенную шевелюру над планками заборов. И только когда он свернул в тупик, ведущий к вилле фройляйн Мюллер, я заметил, что он был не один; рядом с ним красовалось что-то вроде манекена автогонщика в миниатюре: огромная клетчатая кепка, надетая козырьком назад, массивные защитные очки, белый комбинезон и громадные, отливающие рубином уши.

– Господи, да ведь это Юпп! – ахнул я.

– Собственной персоной, господин Локамп! – ухмыльнулся Юпп.

– И в полном наряде! Что это с тобой?

– Сам видишь, – бодрым тоном произнес Ленц, трясая мою руку. – Готовится стать гонщиком. Восьмой день берет у меня уроки. Вот, умолил и сегодня взять его с собой. Подходящий случай для первой дальней поездки.

– Осилю я это дело, господин Локамп, вот увидите! – пылко заверил Юпп.

– Еще как осилит! – усмехнулся Готфрид. – Такого одержимого манией преследования я еще в жизни не видел. В первый же день он попытался обогнать на нашей развалюхе такси «мерседес» с компрессором. Носится, дьяволенок, как угорелый!

Юпп, сразу взмокший от счастья, смотрел на Ленца с обожанием.

– Думал, сделаю я этого пижона, господин Ленц! На повороте, как господин Кестер.

Я засмеялся.

– Хорошо начинаешь, Юпп.

Готфрид с отцовской нежностью взирал сверху вниз на своего питомца.

– Сначала сделай-ка так, чтобы чемоданы оказались на вокзале.

– Как, я один? – Юпп чуть не лопнул от волнения. – Так я один могу поехать на вокзал, господин Ленц, а?

Готфрид кивнул, и Юпп стремглав бросился в дом.

Мы сдали багаж. Затем вернулись за Пат и снова поехали на вокзал. До отправления поезда оставалось еще с четверть часа. Перрон был пуст, если не считать нескольких бидонов с молоком.

– Поезжайте, – сказал я. – А то доберетесь домой слишком поздно.

Юпп, сидевший за рулем, обиженно посмотрел на меня.

– Не нравятся тебе такие намеки, а? – спросил его Ленц.

– Господин Локамп, – повернулся ко мне Юпп, – у меня все рассчитано. Мы будем в мастерской ровно в восемь.

– Как в аптеке! – похлопал Ленц его по плечу. – Заключи с ним пари, Юпп. На бутылку сельтерской.

– На кой мне сельтерская? – возразил Юпп. – Может, на пачку сигарет? Готов рискнуть. – И он с вызовом посмотрел на меня.

– А ты знаешь, что дорога местами довольно неважная? – спросил я.

– Все учтено, господин Локамп!

– И многочисленные повороты?

– А что повороты? У меня нет нервов.

– Что ж, Юпп, – сказал я серьезно. – В таком случае заключаем пари. Но только при условии, что господин Ленц за руль не садится.

Юпп прижал руку к сердцу.

– Честное слово!

– Ладно уж. Но что это ты так судорожно сжимаешь в руке?

– Секундомер. Буду по дороге засекаать время. Надо же знать, на что способна эта колымага.

– М-да, детка, – усмехнулся Ленц. – Юпп оснащен по первому классу. Похоже, наш старый бравый «ситроен» уже трясется от страха всеми своими поршнями.

Юпп пропустил иронию мимо ушей. Он, волнуясь, теребил свою кепку.

– Ну так, может, поедem, господин Ленц, а? Пари есть пари.

– Ну конечно, моторчик! До свидания, Пат! Пока, Робби! – Готфрид, согнувшись в три погибели, залез в машину. – Ну, Юпп, а теперь покажи даме, как стартует истинный рыцарь и будущий чемпион мира!

Юпп надвинул очки на глаза, помахал нам, как бывалый гонщик, и, включив первую скорость, лихо рванул по булыжнику площади в сторону шоссеной дороги.

Мы с Пат посидели еще немного на скамье перед вокзалом. Жаркое белое солнце расплалось на деревянной ограде перед платформой. Пахло смолой и солью. Пат сидела с закрытыми глазами, не шевелясь, запрокинув голову, подставив лицо солнцу.

– Устала? – спросил я.

Она покачала головой:

– Нет, Робби.

– А вот и поезд, – сказал я.

Паровоз выглядел как маленький черный жук на фоне бескрайней, подернутой дымкой дали. Наконец он, пыхтя, подошел к вокзалу. Мы сели в вагон, в котором было почти пусто. Вдохнув, поезд тронулся. Дым от паровоза, густой и черный, повис в воздухе. За окном медленно поплыл знакомый ландшафт – деревня с коричневыми соломенными крышами, луга с коровами и лошадьми, лес, а за ним и уткнувшийся носом в дюны, безмятежный и сонный домик фройляйн Мюллер.

Пат смотрела в окно, стоя рядом со мной. На повороте линия приблизилась к дому настолько, что можно было отчетливо различить окна нашей комнаты. Они были распахнуты, а с подоконников свисало постельное белье, ярко белея на солнце.

– А вон и фройляйн Мюллер! – сказала Пат.

– Да, в самом деле.

Фройляйн Мюллер стояла у дверей своего дома и махала рукой. Пат достала носовой платок, и он затрепетал на ветру.

– Она не видит, – сказал я, – платок слишком уж мал и тонок. На тебе мой.

Пат взяла мой платок и стала размахивать им. Фройляйн Мюллер энергично замахала в ответ.

Постепенно поезд втянулся в поля. Домик скрылся, отступили и дюны. За черной полосой леса еще мелькало поблескивающее на солнце море. Оно мигало, как усталый, но настроженный глаз. Потом потянулось уже только одно сплошное роскошное золото полей, мягкий ветер убегал по желто-зеленым колосьям к самому горизонту.

Пат отдала мне платок и села в угол купе. Я поднял окно. «Кончено! – подумал я. – Слава Богу, все кончено! Все это был только сон! Проклятое, дурное наваждение...»

Около шести мы прибыли в город. Я взял такси и погрузил в него чемоданы. И мы поехали к Пат.

– Ты поднимешься со мной? – спросила она.

– Конечно.

Я проводил ее до двери квартиры, потом спустился, чтобы вместе с шофером принести чемоданы. Когда я вернулся, Пат все еще стояла в передней. Она разговаривала с подполковником фон Хаке и его женой.

Мы вошли к ней в комнату. Был светлый ранний вечер. На столе стояла стеклянная ваза с красными розами. Пат подошла к окну и выглянула на улицу. Потом обернулась ко мне.

– Сколько же мы были в отъезде, Робби?

– Ровно восемнадцать дней.

– Восемнадцать дней? А мне кажется, что намного больше.

– И мне тоже. Но так бывает всегда, когда выбираешься из города.

Она покачала головой:

– Нет, я не об этом...

Она открыла дверь на балкон и вышла. Там, прислоненный к стене, стоял белый шезлонг. Притянув его к себе, она стала его молча разглядывать.

Когда она вернулась в комнату, у нее было другое лицо, и глаза потемнели.

– Ты только посмотри, какие розы, – сказал я. – Это от Кестера. Здесь и его визитная карточка.

Пат взяла карточку в руки, а потом снова положила ее на стол. Она взглянула и на розы, но я понял, что она их не видит. Мысли ее были там, возле шезлонга. Она так надеялась, что навсегда избавилась от него, а теперь он, возможно, снова должен был стать частью ее жизни.

Я не стал ей мешать и ничего больше не сказал. Не стоило ее отвлекать. Она должна была сама справиться со всем этим, и будет лучше, если это произойдет теперь, пока я еще здесь. Конечно, можно было бы сейчас отвлечь ее каким-нибудь длинным разговором, но потом это настроение все равно прорвется и, возможно, доставит еще больше муки.

Она стояла около стола, упершись в него руками и опустив глаза. Потом подняла голову и взглянула на меня.

Я молчал. Она медленно обошла вокруг стола и положила мне руки на плечи.

– Дружище ты мой, – сказал я.

Она прильнула ко мне, и я ее обнял.

– Теперь мы возьмемся за это дело всерьез, а?

Она кивнула и откинула волосы назад.

– Да, конечно. Просто что-то вдруг прорвалось...

– Ничего, пройдет.

В дверь постучали. Горничная вкатила чайный столик.

– Вот это хорошо, – сказала Пат.

– Хочешь чаю? – спросил я.

– Нет, кофе. Настоящего крепкого кофе.

Я оставался у нее еще с полчаса. Потом она явно устала. Я видел это по ее глазам.

– Тебе надо немного поспать, – предложил я.

– А ты?

– Пойду домой и тоже немного посплю. А потом зайду за тобой, часа через два, и пойдем ужинать.

– Ты устал? – спросила она с сомнением.

– Немного. В поезде было жарко. А потом мне еще надо будет заглянуть в мастерскую.

Она больше ни о чем не спрашивала. Усталость ее буквально сразила. Я отнес ее в постель, укрыл одеялом. Она мгновенно уснула. Я поставил рядом с ней розы и прислонил к ним карточку Кестера, чтобы ей думалось о приятном, сразу как проснется. Потом я ушел.

По дороге я задержался у телефона-автомата. Решил сразу же позвонить Жаффе. Сделать это из дома было бы затруднительно. Нужно было считаться с тем, что у нас подслушивает весь пансион.

Я снял трубку и назвал номер клиники. Спустя минуту к аппарату подошел Жаффе.

– Говорит Локамп, – сказал я, откашлявшись. – Мы сегодня вернулись. Около часа назад.

– На машине приехали? – спросил Жаффе.

– Нет, поездом.

– Хорошо. Ну и как дела?

– Неплохо, – сказал я.

Он ненадолго задумался.

– Вот что. Я обследую фройляйн Хольман завтра утром. В одиннадцать. Вы сможете ей это передать?

– Нет, – ответил я. – Я бы не хотел, чтобы она знала о нашем с вами разговоре. Завтра утром она наверняка позвонит вам сама. Может, вы тогда ей и скажете?

– Хорошо. Сделаем так. Я ей скажу.

Я машинально сдвинул толстую и замусоленную телефонную книгу. Она лежала на небольшой деревянной полке. Все пространство над ней было испещрено карандашными записями телефонных номеров.

– Можно мне тогда зайти к вам завтра днем? – спросил я. Жаффе не отвечал. – Я бы очень хотел знать, как она, – сказал я.

– Завтра я вам этого не скажу, – ответил Жаффе. – Я должен понаблюдать ее хотя бы неделю. А потом я сам вас извещу.

– Спасибо. – Полка приковала к себе мое внимание. На ней было что-то нарисовано. Толстушка в соломенной шляпке. А внизу было написано: «Элла – свинья». – А должна ли она теперь делать какие-нибудь процедуры? – спросил я.

– Об этом я смогу судить завтра. Но как мне кажется, дома ей обеспечен хороший уход.

– Не знаю. Я слышал, что ее соседи на той неделе собираются уезжать. Тогда она останется, по сути, одна, при ней будет только горничная.

– Ах так? Что ж, завтра поговорю с ней и об этом.

Я снова задвинул рисунок на полке телефонной книгой.

– А вы полагаете, что она... что такой приступ может повториться?

Жаффе помедлил с ответом.

– Возможно, конечно, – сказал он потом, – но маловероятно. Однако за это я могу поручиться лишь после обследования. Я позвоню вам.

– Спасибо.

Я повесил трубку. Вышел и постоял еще в растерянности около будки. Было пыльно и душно. Потом я пошел домой.

В дверях я столкнулся с фрау Залевски. Она, как пушечное ядро, вылетела из комнаты фрау Бендер. Увидев меня, остановилась.

– Что? Уже вернулись?

– Как видите. Есть новости?

– Для вас ничего. И почты никакой. Но вот фрау Бендер выехала.

– Да? Почему же?

Фрау Залевски приняла стойку «руки в боки».

– Потому что кругом одни негодяи. Ее подобрал христианский дом призрения. Вместе с кошкой и двадцатью шестью марками состояния.

И она поведала, что приют, в котором фрау Бендер присматривала за младенцами, закрылся. Возглавлявший его пастор погорел на биржевых спекуляциях. Фрау Бендер была уволена и даже не получила жалованья за два месяца.

– Ну и как, нашла она себе что-нибудь новенькое? – брякнул я, не подумав.

Фрау Залевски только выразительно на меня посмотрела.

– Ну да, где уж там, – сказал я.

– Я ей говорю: оставайтесь, заплатите, когда сможете. Но она не захотела.

– Кто беден, тот чаще всего и честен, – сказал я. – А кто будет жить в ее комнате?

– Супруги Хассе. Эта комната дешевле, чем та, в которой они жили.

– А что будет с ней?

Она пожала плечами:

– Посмотрим. На новых жильцов теперь рассчитывать особенно не приходится.

– Когда она освободится?

– Завтра. Хассе уже переезжают.

– А сколько эта комната стоит? – спросил я. Мне вдруг пришла в голову одна идея.

– Семьдесят марок.

– Слишком дорого, – сказал я, уже настроившись на бдительный лад.

– Это с чашкой-то кофе по утрам, двумя булочками да изрядной порцией масла?

– Тем более дорого. Кофе в исполнении Фриды можете сократить. Итого, пятьдесят, и ни пфеннига больше.

– А вы что, хотите ее снять? – спросила фрау Залевски.

– Может быть.

Я прошел к себе в комнату, где в задумчивости уставился на дверь, соединявшую ее с комнатой Хассе. Пат в пансионе фрау Залевски! Нет, это трудно себе представить! И все же я, поразмыслив, вышел в коридор и постучал в соседнюю дверь.

Фрау Хассе была дома. Она сидела в полупустой комнате перед зеркалом и пудрилась, не снимая шляпы.

Я поздоровался, окинув комнату взглядом. Она оказалась больше, чем я думал. Теперь, когда мебель наполовину вынесли, это особенно бросалось в глаза. Монотонные светлые обои были довольно новыми, двери и оконные переплеты выкрашены недавно, к тому же имелся весьма обширный и красивый балкон.

– Вы уже слышали, что он опять отмочил? – встретила меня фрау Хассе. – Я должна перебраться в комнату этой особы! Какой позор!

– Позор? – удивился я.

– Да, позор! – прорвало ее. – Вы ведь знаете, что мы с ней не выносили друг друга, а теперь Хассе заставляет меня жить в ее комнате, да еще без балкона, с единственным окошком! Только потому, что это дешевле! Можете себе вообразить, как она там торжествует в своем приюте?

– Ну, не думаю, чтобы она торжествовала.

– Еще как торжествует, эта якобы нянечка, эта тихоня, на которой пробы ставить негде! Да еще рядом эта девица Эрнэ Бениг! И кошками пахнет!

Я был ошарашен. Тихоня, на которой негде ставить пробы? Каким свежим и сочным становится у людей язык, когда они бранятся, как однообразны и стерты выражения любви и сколь, напротив того, богата палитра ругательств!

– Кошки – чисто плотные, красивые твари, – сказал я. – Кстати, я только что заходил в ту комнату. Там вовсе не пахнет кошками.

– Да? – враждебно зыркнула на меня фрау Хассе и поправила шляпку. – В таком случае это вопрос обоняния. Но я и пальцем не шевельну для этого переезда. Пусть сам перетаскивает

всю мебель! А я отправляюсь на прогулку! Могу я себе хоть что-то позволить в этой собачьей жизни?

Она встала. Ее расплывшееся лицо тряслось от ярости так, что с него сыпалась пудра. Я заметил, что она ярко намалевала губы и вообще расфуфырилась до предела. Меня обдало как из парфюмерной лавки, когда она с шумом прошла мимо.

Я озадаченно посмотрел ей вслед. Потом еще раз внимательно оглядел комнату, обдумывая, куда бы поставить вещи Пат. Но вскоре я отбросил эти мечты. Пат здесь, постоянно, рядом со мной – нет, это невообразимо! Да мне бы и в голову никогда не пришла такая мысль, если б она была здорова. Теперь же – как знать... Я отворил дверь на балкон, измерив его глазами. Но потом покачал головой и вернулся к себе в комнату.

Она еще спала, когда я вошел. Я потихоньку сел в кресло рядом с кроватью, но Пат сразу проснулась.

– Жаль, что я тебя разбудил, – сказал я.

– Ты все время был здесь? – спросила она.

– Нет. Только сейчас вернулся.

Она потянулась и прижалась лицом к моей руке.

– Это хорошо. Не люблю, чтобы на меня смотрели, когда я сплю.

– Понимаю. Я тоже не люблю. Да я и не думал смотреть на тебя. Я только не хотел тебя будить. Ты не хочешь поспать еще немного?

– Нет, я выпалась. Сейчас встану.

Я перешел в соседнюю комнату, давая ей возможность одеться.

За окном постепенно темнело. Из открытого окна в доме напротив доносились квакающие звуки военного марша. У граммофона сидел мужчина с лысиной и в подтяжках. Вот он встал и принялся расхаживать по комнате, делая в такт музыке разные упражнения. Его лысина металась в полумраке, как беспокойная луна. Я равнодушно наблюдал за ним, испытывая чувство пустоты и печали.

Вошла Пат. Выглядела она чудесно – свежо, без малейших следов усталости.

– Ты блестяще выглядишь, – сказал я, опешив.

– Я и чувствую себя хорошо, Робби. Как будто проспала целую ночь. У меня часто бывают такие перемены состояния.

– В самом деле! Иной раз они случаются так быстро, что не успеваешь уследить.

Она прислонилась к моему плечу и посмотрела на меня.

– Значит, слишком быстро, Робби?

– Нет. Это я слишком медлителен. Я медлительный человек, Пат.

Она улыбнулась.

– Что медленно, то прочно. А что прочно, то всегда хорошо.

– Да уж я прочен – как пробка на воде, – сказал я.

Она покачала головой.

– Ты вообще совсем другой, чем думаешь. Ты гораздо прочнее, чем тебе кажется. Я мало встречала в жизни людей, которые настолько заблуждались бы на собственный счет, как ты.

Я снял руки с ее плеч.

– Да-да, милый, это и в самом деле так, – сказала она, кивая в такт своим словам головой. – Ну а теперь идем, отправимся куда-нибудь ужинать.

– Куда же мы пойдем? – спросил я.

– К Альфонсу. Мне надо все это снова увидеть. У меня такое чувство, как будто меня не было вечность.

– Хорошо! – сказал я. – А аппетит у тебя подходящий? К Альфонсу нельзя являться сытым. Вышвырнет вон.

Она рассмеялась.

– Appetit у меня чудовищный.

– Тогда вперед! – Настроение у меня вдруг поднялось.

Наше появление у Альфонса было триумфальным. Поздоровавшись с нами, он тут же исчез и вскоре вышел в белом воротничке и белой бабочке в зеленую крапинку. Этого он не сделал бы и ради германского кайзера. Он и сам слегка растерялся от столь неслыханных признаков декаданта.

– Итак, Альфонс, чем вы нас порадуете сегодня? – спросила Пат, положив руки на стол.

Альфонс осклабился, выпятив губы, и прищурил глаза.

– Вам повезло! Сегодня есть раки!

Он отступил на шаг, чтобы полюбоваться произведенным эффектом. Мы были восхищены.

– А к ним да по стаканчику молодого мозельского вина! – восторженно прошептал он и снова отступил на шаг. Ответом были бурные аплодисменты, странным образом подхваченные и в дверях. В них вырос ухмыляющийся последний романтик со своим буйным соломенным чубом и облупившимся на солнце носом. – Готфрид? – вскричал Альфонс. – Это ты? Лично? Нет, ну что за день! Дай прижать тебя к груди!

– Сейчас будет зрелище, – шепнул я Пат.

Они бросились друг другу в объятия. Альфонс хлопал Ленца по спине так, что звон стоял, будто в кузнице.

– Ганс, – крикнул он затем кельнеру, – тащи сюда «Наполеон»!

Он поволок Готфрида к стойке. Кельнер принес большую бутылку, покрытую пылью. Альфонс доверху наполнил две рюмки.

– Будь здоров, Готфрид, отбивная ты несоленая!

– Будь здоров, Альфонс, каторжная ты морда!

Оба залпом опрокинули свои рюмки.

– Первый класс! – сказал Готфрид. – Коньяк для мадонн!

– Даже стыдно эдак-то его глушить, – подтвердил Альфонс. – Но разве будешь цедить, когда рад! Давай-ка хлопнем еще по одной!

Он разлил коньяк и поднял рюмку.

– За тебя, помидорчик ты мой прокисший!

Ленц засмеялся.

– За тебя, разлюбезный ты мой старикашка Альфонс!

Глаза Альфонса увлажнились.

– Еще по одной! – сказал он с чувством.

– Всегда готов! – Ленц подставил ему свою рюмку. – От коньяка я отказываюсь только в том случае, когда голову не могу оторвать от половицы!

– Вот это по-нашему! – Альфонс налил по третьей.

Отдуваясь, Ленц вернулся к столу. Он вынул свои часы.

– Без десяти восемь «ситроен» был уже в мастерской. Что вы на это скажете?

– Рекорд, – ответила Пат. – Да здравствует Юпп! Я тоже жертвую ему пачку сигарет.

– А ты получишь лишнюю порцию раков! – заявил Альфонс, не отступавший ни на шаг от Готфрида. Потом он вручил нам салфетки величиной со скатерть. – Снимите свои пиджаки и повяжите себе вот это вокруг шеи. Ведь дама позволит, не правда ли?

– Считаю это даже необходимым, – сказала Пат.

Альфонс обрадованно кивнул головой:

– Вы разумная женщина, я так и знал. Раков нужно вкушать со всеми удобствами. Не опасаясь испачкаться. – Он расплылся в улыбке. – А вы получите, конечно, кое-что поэlegantнее.

Кельнер Ганс принес белоснежный кухонный халат. Альфонс развернул его и помог Пат облачиться.

– Вам идет! – с похвалой отозвался он.

– Крепко, – засмеялась она в ответ.

– Рад, что вы это помните, – благодушно заметил Альфонс. – Просто согревает сердце.

– Альфонс! – Готфрид повязал салфетку так, что концы ее торчали далеко в стороны. –

Пока что это напоминает парикмахерскую.

– Сейчас все пойдет как надо. Но сначала немного искусства.

Альфонс подошел к патефону. Вскоре грянул хор пилигримов из «Тангейзера». Мы слушали в тишине.

Едва отзвучали последние звуки, как отворилась дверь из кухни и кельнер Ганс внес дымящуюся миску величиной с детскую ванну. Она была полна раков. Он, пыхтя, поставил ее на стол.

– Принеси-ка и мне салфетку, – сказал Альфонс.

– Ты будешь есть с нами, голубчик? – воскликнул Ленц. – Какая честь!

– Если дама ничего не имеет против.

– Напротив, Альфонс!

Пат отодвинула свой стул, и он занял место рядом с ней.

– Вам же хорошо, что я с вами, – сказал он, слегка смущаясь. – Дело в том, что я приновился довольно ловко разделять раков, а для дам это скучное занятие.

Он запустил руку в миску и стал с необычайной скоростью разделять для нее рака. Он управлялся своими огромными ручищами элегантно и ловко, а Пат оставалось только брать с вилки протянутые ей аппетитные куски.

– Вкусно? – спросил он.

– Изумительно! – Она подняла свой бокал. – Ваше здоровье, Альфонс!

Альфонс торжественно чокнулся с ней и медленно выпил свой бокал. Я посмотрел на нее. Я бы предпочел, чтобы она пила что-нибудь безалкогольное. Она почувствовала мой взгляд.

– Салют, Робби! – сказала она.

Она была на редкость красива и вся светилась радостью.

– Салют, Пат! – сказал я и выпил свой бокал.

– Разве здесь не прекрасно? – спросила она, все еще глядя на меня.

– Здесь чудесно! – Я снова наполнил свой бокал. – Твое здоровье, Пат!

Лицо ее осветилось еще больше.

– Твое здоровье, Робби! Ваше здоровье, Готфрид!

Мы выпили.

– Хорошее вино, – сказал Ленц.

– «Атсберг» урожая прошлого года, – объяснил Альфонс. – Рад, что ты его оценил!

Он взял из миски второго рака и протянул Пат вскрытую им клешню. Она запротестовала.

– Этого вы должны съесть сами, Альфонс. Иначе вам ничего не достанется.

– Еще успею. Я ведь управляюсь быстрее других.

– Ну хорошо. – Она взяла клешню. Альфонс таял от удовольствия, продолжая угощать ее. Это выглядело так, будто огромный старый сыч кормил в гнезде маленького белого птенчика.

Напоследок мы все выпили по рюмке «Наполеона» и стали прощаться с Альфонсом. Пат была счастлива.

– Все было чудесно! – сказала она. – Я вам так благодарна, Альфонс. Все было замечательно! Правда!

Она протянула ему руку. Альфонс, что-то мыча, руку поцеловал. У опешившего Ленца глаза полезли на лоб.

– Заглядывайте! – сказал Альфонс. – И ты, Готфрид!

На улице под фонарем стоял наш маленький, всеми брошенный «ситроен».

– О! – невольно вырвалось у Пат, и она остановилась. По лицу ее пробежала тень.

– После сегодняшнего достижения я окрестил его «Геркулесом»! – сказал Ленц и распахнул дверцу. – Отвезти вас домой?

– Нет, – сказала Пат.

– Так я и думал. Куда же?

– В бар. Или ты не хочешь, Робби? – обернулась она ко мне.

– Конечно, – сказал я. – Конечно, зайдем еще в бар.

Мы не спеша поехали по улицам. Было тепло и ясно.

За столиками у кафе сидели люди. Слышалась музыка. Пат сидела рядом со мной. Мне вдруг показалось непостижимым, что она может быть больна, и хотя меня бросало в жар от одной этой мысли, я отказывался в это верить...

В баре мы застали Фердинанда и Валентина. Фердинанд был в ударе. Он вскочил и бросился Пат навстречу.

– Диана, – воскликнул он, – возвращающаяся с охоты!

Она улыбнулась. Он обнял ее за плечи.

– Смуглая храбрая амазонка с серебряным луком! Что же мы будем пить?

Готфрид отстранил руку Фердинанда.

– Люди патетические всегда не в ладах с тактом, – произнес он. – Дама прибыла в сопровождении двух кавалеров. Ты этого, кажется, не заметил, старый бизон?

– Романтики всю жизнь составляют не сопровождение, а свиту, – непоколебимо парировал Грау.

Ленц ухмыльнулся и обратился к Пат:

– Предлагаю вашему вниманию нечто особенное. Коктейль «Колибри», бразильский рецепт.

Он прошел к стойке бара, намешал там всякой всячины и затем вернулся с коктейлем к столу.

– Ну, каков он на вкус? – спросил он.

– Что-то жидковат для Бразилии, – ответила Пат.

Готфрид засмеялся.

– А ведь крепкий! На роме и водке.

Я сразу понял, что там нет ни рома, ни водки – фруктовый сок, лимонный, томатный и, может быть, несколько капель «Ангостуры». Коктейль совершенно безалкогольный. Но Пат, к счастью, этого не заметила.

Ей дали подряд три «Колибри», и я видел, насколько ей приятно, что с ней не обращаются как с больной. Через час все мы вышли, в баре остался один Валентин. И об этом позаботился Ленц. Он затащил Фердинанда в «ситроен» и уехал с ним. Так что у Пат не могло возникнуть чувства, будто мы уходим раньше других. Все это было очень трогательно, и все-таки на какое-то время у меня стало так тяжело на душе, хоть вой.

Пат взяла меня под руку. Она шла рядом со мной грациозно и плавно, как всегда, я ощущал тепло ее руки, видел, как по оживленному лицу скользят блики от фонарей, – и, убей Бог, не мог себе реально представить, что она больна, днем я это мог еще допустить, но вечерами, когда жизнь становится более нежной и теплой, исполненной обещаний...

– Зайдем еще ко мне? – предложил я.

Она кивнула.

В коридоре нашего пансиона горел свет.

– Черт побери! – сказал я. – Что там еще случилось? Подожди-ка минутку.

Я открыл дверь и заглянул в коридор. Он был пуст, но освещен, как узкая улочка ночью в предместье. Дверь в комнату фрау Бендер была распахнута настежь, и там тоже горел свет. Переднюю, как маленький черный муравей, пересек Хассе, сгибаясь под тяжестью торшера с абажуром из розового шелка. Он переезжал.

– Добрый вечер, – произнес я. – Переезд затянулся?

Он приподнял свое бледное личико с жиденькой щеточкой усов.

– Я всего час как вернулся из конторы. А другого времени на это у меня нет.

– А что, вашей жены нет дома?

Он покачал головой:

– Она у подруги. Слава Богу, у нее теперь есть подруга, с которой она проводит много времени.

Он простодушно улыбнулся и, довольный, потопал дальше. Я впустил Пат.

– Свет не будем зажигать, ладно? – спросил я, когда мы достигли моей комнаты.

– Нет, милый, зажги. На короткое время, а потом снова выключишь.

– Ты ненасытный человек, – сказал я, включив свет. Яркая лампа озарила все багрово-плюшевое великолепие моей комнаты. Я поторопился снова выключить свет.

От деревьев за открытым окном тянуло свежим ночным воздухом, как из леса.

– Хорошо-то как! – сказала Пат, забираясь на подоконник.

– Тебе здесь правда нравится?

– Да, Робби. Здесь летом как в большом парке. Великолепно.

– А ты никогда не обращала внимания на эту комнату, что рядом с моей?

– Нет, а с какой стати?

– Вот этот большой роскошный балкон слева относится к ней. Он со всех сторон закрыт, а напротив нет дома. Если бы ты жила в этой комнате, то могла бы даже без купальника принимать свои солнечные ванны.

– Ну да, если бы я здесь жила...

– Ты можешь здесь поселиться, – просто сказал я. – Как ты видела, комната освобождается.

Она посмотрела на меня и улыбнулась:

– Думаешь, это было бы хорошо для нас? Постоянно быть вместе? На виду друг у друга весь день?

– Мы вовсе не были бы на виду друг у друга весь день, – возразил я. – Ведь днем меня здесь не бывает. Да и вечером часто тоже. Но если бы мы наконец соединились, нам не нужно было бы вечно торчать в кафе и каждый раз так быстро расставаться друг с другом, как будто мы в гостях.

Пат устроилась поудобнее.

– Милый, ты говоришь так, как будто ты все уже обдумал.

– Так и есть, – сказал я. – Я думаю об этом весь вечер.

Она выпрямилась.

– Ты это серьезно, Робби?

– Да, черт побери, – сказал я. – А ты все еще сомневаешься?

Она немного помолчала.

– Робби, – сказала она потом, голос ее прозвучал заметно глуше, чем прежде, – а почему ты заговорил об этом именно сейчас?

– Я заговорил об этом сейчас, – сказал я, замечая, что не могу скрыть волнение, а волновался я потому, что чувствовал: речь у нас идет о гораздо большем, чем комната, – я заговорил потому, что за последние недели мог убедиться, какое это чудо – быть вместе. Я не могу их больше выносить, эти почасовые встречи! Я хочу больше получать от тебя! Я хочу, чтобы ты постоянно была со мной, мне надоели эти хитроумные прятки любви, они мне противны,

они мне не нужны, мне нужна ты, ты и только ты, мне никогда не хватит тебя, и я не хочу обходиться без тебя и минуты.

Я слышал ее дыхание. Она сидела в углу подоконника, обхватив колени руками, и молчала. За деревьями медленно карабкался вверх красный лучик рекламы, осыпая матовым сиянием ее светлеющие в темноте плечи, а затем и юбку, и руки.

– Конечно, ты можешь надо мной смеяться, – сказал я.

– Смеяться? – удивилась она.

– Ну да, потому что я все повторяю: я хочу. Ты ведь тоже в конце концов должна хотеть. Она подняла глаза.

– Знаешь, Робби, а ты изменился.

– Да?

– Изменился. Это видно из твоих же слов. Ты теперь говоришь: я хочу. Не спрашиваешь так много, как раньше. А просто хочешь.

– Ну, это не так много значит. Ты ведь всегда можешь сказать «нет», сколько бы я ни хотел.

Она внезапно наклонилась ко мне.

– Почему же я должна говорить «нет», – произнесла она нежным, дрогнувшим голосом, – если я тоже хочу?

Я, как-то вдруг опешив, обнял ее за плечи. Ее волосы коснулись моего лица.

– Это правда, Пат?

– Ну конечно, милый.

– Черт возьми, – сказал я, – а я представлял себе все это гораздо сложнее.

Она покачала головой.

– Ну что ты, ведь все зависит только от тебя, Робби...

– Я теперь и сам почти верю в это, – растерянно произнес я.

Она обхватила мою шею рукой.

– Иногда так славно ни о чем не думать. Не решать все самой. Иметь опору. Ах, милый, все это, в сущности, очень просто – не нужно только самим осложнять себе жизнь.

Я на миг стиснул зубы. И это говорит она!

– Верно, – сказал я. – Верно, Пат.

И совсем это было не верно.

Мы постояли еще немного у окна.

– Вещи твои перевезем все до единой. Ты ни в чем не будешь нуждаться, – сказал я. – Заведем себе даже чайный столик. Фрида его освоит.

– Чайный столик у нас уже есть, милый. Ведь это мой.

– Тем лучше. В таком случае завтра же начну тренировать Фриду.

Она прильнула головой к моему плечу. Я почувствовал, что она устала.

– Проводить тебя домой? – спросил я.

– Сейчас. Прилягу только немного.

Она лежала на постели спокойно и молча, как будто спала. Но глаза ее были открыты, и порой в них пробежал отблеск рекламы, скользившей по потолку и стенам наподобие северного сияния. За окном все стихло. Только в квартире временами было слышно, как Хассе возится с остатками своих надежд, своего брака и своей жизни.

– Оставайся сразу здесь, – сказал я.

Она приподнялась на постели.

– Только не сегодня, милый...

– А мне бы хотелось, чтобы ты осталась...

– Завтра...

Она встала и бесшумно прошла по темной комнате. Я вспомнил о том дне, когда она осталась у меня впервые. Тогда она вот так же бесшумно бродила по комнате и одевалась в серых сумерках рассвета. Не знаю почему, но мне показалось, что в этом есть что-то поразительно трогательное и естественное, что-то почти потрясающее, словно отзвук каких-то далеких, канувших в Лету времен, словно немое повиновение закону, которого никто больше не знает.

Она вернулась ко мне из темноты и взяла мое лицо в ладони.

– Хорошо мне было у тебя, милый. Очень хорошо. Я так рада, что ты есть.

Я ничего не ответил. Я не мог ничего ответить.

Я проводил ее домой и снова пошел в бар. Там был Кестер.

– Садись, – сказал он. – Как дела?

– Да не особенно, Отто.

– Выпьешь чего-нибудь?

– Если я начну пить, то выпью много. А этого я не хочу. Обойдется и так. Лучше бы мне заняться чем-нибудь еще. Готфрид сейчас на такси?

– Нет.

– Отлично. Тогда я покатаюсь несколько часиков.

– Я провожу тебя, – сказал Кестер.

Я взял в гараже машину и простился с Отто. Потом поехал на стоянку. Впереди меня уже были две машины. Позже подъехали Густав и Томми, актер. Вот обе передние машины ушли. Вскоре зафрахтовали и меня – некая девица пожелала в «Винету».

«Винетой» именовался популярный дансинг с телефонами на столах, пневматической почтой и прочими штучками для провинциалов. Помещался он на темной улице, в стороне от других увеселительных заведений.

Мы остановились. Девушка порылась в сумочке и протянула мне пятидесятимарковую бумажку. Я пожал плечами:

– К сожалению, у меня нет сдачи.

Подошел швейцар.

– Сколько я вам должна? – спросила девушка.

– Марку семьдесят.

Она обратилась к швейцару:

– Вы не заплатите за меня? Я рассчитаюсь с вами у кассы. Пойдемте.

Швейцар распахнул дверь и прошел с ней к кассе. Потом вернулся.

– Вот...

Я пересчитал деньги.

– Здесь марка пятьдесят...

– Не мели чепухи. Или у тебя еще молоко на губах не обсохло? Двадцать пфеннигов полагаются швейцару. Так что катись!

Бывало, что таксисты давали швейцарам на чай. Но это бывало, когда те приводили им выгодных клиентов, а не наоборот.

– Молоко-то как раз обсохло. Поэтому я получу марку семьдесят.

– Ты получишь в рыло! – рявкнул он. – Мотай, раз сказано! Я здесь не первый год и порядки знаю.

Дело было не в двадцати пфеннигах. Просто я не люблю, когда меня надувают.

– Не пой мне арии, – сказал я. – Отдавай остальные.

Швейцар ударил так резко, что я не успел прикрыться. Увернуться мне в машине и вовсе было некуда. Я врезался головой в баранку. В шоке отпрянул назад. Голова гудела, как барабан, из носа текло. Передо мной маячил швейцар.

– Навесить тебе еще, ты, труп кикиморы?

Я в долю секунды взвесил свои шансы. Ничего нельзя было сделать. Он был сильнее. Чтобы поймать такого на удар, нужно действовать неожиданно. Бить, сидя в машине, нельзя – удар не будет иметь силы. А пока вылезу, он трижды собьет меня с ног. Я смотрел на него. Он дышал мне в лицо пивным перегаром.

– Еще разок врежу – и жена твоя овдовеет.

Я смотрел на него. Только смотрел, не шевелясь, в это широкое, сытое мурло, пожирая его глазами. Я понимал, куда нужно бить, я был от ярости как стальная пружина. Но я не двигался. А только рассматривал эту харю, как в увеличительное стекло, – близко, отчетливо, крупным планом, каждый волосок щетины, каждую пору красной, обветренной кожи...

Блеснула каска полицейского.

– Что здесь происходит?

Швейцар придал лицу угодливое выражение.

– Ничего, господин вахмистр.

Полицейский посмотрел на меня.

– Ничего, – сказал я.

Он переводил взгляд с меня на швейцара.

– Ведь у вас кровь идет.

– Ударился.

Швейцар отступил на шаг. В его глазах играла усмешка. Он решил, что я просто побоялся донести на него.

– Тогда проезжайте, – сказал полицейский.

Я дал газ и поехал обратно на стоянку.

– Ну и видок у тебя, – сказал Густав.

– Пустяки, только нос, – ответил я и рассказал, как все было.

– Пойдем-ка в трактир, – сказал Густав. – Недаром я был санитаром на фронте. Какое, однако, свинство бить человека, когда он сидит.

Он отвел меня на кухню, потребовал льда и с полчаса возился со мной.

– Ну вот, – заявил он наконец, – теперь не останется и следа. Ну а как черепок? Не беспокоит? Тогда не будем терять времени.

Подошел Томми.

– Это такой верзила из «Винеты»? Бузила известный. Куражится, потому что ни разу не проучили.

– Ну, теперь он схлопочет, – сказал Густав.

– Да, но только от меня, – сказал я.

Густав недовольно взглянул на меня.

– Пока ты вылезешь из машины...

– А я кое-что придумал. Не получится – ты успеешь вмешаться.

– Ладно.

Я надел фуражку Густава, к тому же мы сели в его машину, чтобы усыпить внимание швейцара. Да и не разглядит он много в такой-то темноте.

Мы подъехали. На улице не было ни души.

Густав выскочил из машины, помахивая двадцатимарковой купюрой.

– Проклятие, опять нет мелких денег! Швейцар, разменяете? Сколько нужно? Марку семьдесят? Отдайте же ему, а я сейчас.

Он сделал вид, будто направился к кассе. Швейцар покашливая приблизился ко мне и протянул марку пятьдесят. Я продолжал держать вытянутую руку.

– Катись! – буркнул он.

– Гони монету, пес шелудивый! – рявкнул я.

На секунду он остолбенел. Потом слегка облизнул губы и вкрадчиво произнес:

– Пеняй на себя. Запомнишь надолго!

Он размахнулся. Он наверняка нокаутировал бы меня, но я был начеку: отклонился, пригнувшись, и его кулак со свистом пришелся на острые грани стальной заводной ручки, которую я незаметно держал наготове в левой руке. Швейцар взвыл и отскочил, тряся в воздухе рукой. Он шипел от боли, как паровая машина, и стоял совершенно открыто.

Я вылетел из машины.

– Узнал, скотина? – выдохнул я и ударил его в живот.

Он свалился.

– Один... два... три... – стоя у кассы, начал считать Густав.

При счете «пять» швейцар поднялся, глядя на меня остекленевшими глазами. Я снова до мельчайших деталей видел перед собой его физиономию, эту здоровую, широкую, глупую, подлую харю, видел его всего, этакого здорового, крепкого вахлака, этого борова, у которого никогда не будут болеть легкие; и я вдруг почувствовал, как багровая пелена застилает мне мозг и глаза, и я рванулся вперед и ударил, еще и еще, я бил и бил, вколачивая все, что накопилось во мне за эти дни и недели, в это здоровое, широкое, мычащее рыло, пока меня не оттащили...

– Опомнись, ты убьешь его!.. – кричал мне Густав.

Я пришел в себя, огляделся. Швейцар, истекая кровью, барахтался у стены. Вот он будто надломился, упал на четвереньки и, напоминая в своей сверкающей ливрее гигантское насекомое, пополз в сторону входа.

– Ну, теперь у него надолго пропадет охота драться, – сказал Густав. – Однако пора давать деру, пока никого нет. Это уже называется нанесением тяжелых телесных повреждений.

Мы бросили деньги на мостовую, сели в машину и уехали.

– А что, у меня тоже идет кровь? – спросил я. – Или это его?

– Опять нос, – сказал Густав. – У него прошел один красивый удар слева.

– А я даже не заметил.

Густав рассмеялся.

– А знаешь, – сказал я, – на душе как-то полегчало.

XVIII

Наше такси стояло перед баром. Я зашел туда, чтобы сменить Ленца, взять у него ключ и документы. Готфрид вышел со мной на улицу.

– Как с выручкой сегодня? – спросил я.

– Так себе, – ответил он. – То ли слишком много развелось такси, то ли слишком мало людей стало, которые ездят на такси. А у тебя как?

– Плохо. Простоял почти всю ночь, не наскреб и двадцати марок.

– Печальные времена! – Готфрид вскинул брови. – Ну так ты сегодня, видимо, не очень торопишься?

– Нет, а почему ты спрашиваешь?

– Может, подбросишь меня тут неподалеку...

– Лады. – Мы сели. – А куда тебе? – спросил я.

– К собору.

– Куда, куда? – переспросил я. – Я, вероятно, ослышался? Мне померещилось, будто ты сказал к собору.

– Нет, сын мой, ты не ослышался. Именно к собору!

Я удивленно посмотрел на него.

– Ничему не удивляйся, а поезжай, – сказал Готфрид.

– Ну-ну.

Мы поехали.

Собор находился в старой части города, на просторной площади, сплошь окруженной домами духовных особ. Я остановился у главного портала.

– Дальше, – сказал Готфрид. – Вокруг.

Он велел остановить у небольшого входа с тыловой стороны собора и вылез из машины.

– Ты, кажется, хочешь исповедаться, – сказал я. – Желаю успеха.

– Пойдем-ка со мной, – ответил он.

Я рассмеялся.

– Только не сегодня. С утра уже помолился. Обычно мне этого хватает на весь день.

– Не болтай глупости, детка! Пойдем со мной. Сегодня я щедрый, покажу тебе кое-что.

Меня разобрало любопытство, и я последовал за ним. Мы вошли через какую-то маленькую дверь и сразу же очутились в крытой галерее внутреннего монастырского двора. Длинные ряды арок, опиравшихся на серые гранитные колонны, образовывали большой прямоугольник с садиком внутри. В середине помещался большой полуразрушенный от времени крест с фигурой Спасителя. По сторонам были каменные барельефы с изображением мучительных страстей Господних. Перед каждым изображением стояла старая скамья для молящихся. Сад одичал и цвел буйным цветом.

Готфрид показал мне рукой на несколько могучих кустов белых и красных роз.

– Вот что я хотел тебе показать! Узнаешь?

Я остановился в изумлении.

– Конечно, узнаю, – сказал я. – Так вот где ты снял урожай, старый потрошитель церквей!

Неделю назад Пат переехала в пансион фрау Залевски, и в тот же день вечером Ленц прислал ей с Юппом огромный букет роз. Их было столько, что Юппу пришлось дважды спускаться к машине, каждый раз возвращаясь с полной охапкой. Я уже тогда ломал себе голову, гадая, где Готфрид мог их раздобыть, я ведь знал его принцип – цветов не покупать. А в городских парках я таких роз не видел.

– Идея стоящая! – признал я. – До этого надо было додуматься!

Готфрид заулыбался:

– Здесь не сад, а золотая жила! – Он торжественно положил мне руку на плечо. – Беру тебя в долю! Я полагаю, теперь тебе это будет особенно кстати.

– Почему именно теперь? – спросил я.

– Потому что городские насаждения как-то заметно опустели в последнее время. А ведь они были единственным пастбищем, на котором ты пасся, не так ли?

Я кивнул.

– Кроме того, – продолжал Готфрид, – ты теперь вступаешь в период, когда сказывается разница между мещанином и благородным кавалером. Мещанин чем дольше знает женщину, тем меньше оказывает ей знаков внимания. Кавалер действует противоположно. – Он сделал широкий жест рукой. – А с таким-то садом ты можешь переплюнуть всех кавалеров!

Я рассмеялся.

– Все это хорошо, Готфрид, – сказал я. – Но каково, если поймают? Удирать отсюда непросто, а люди набожные, чего доброго, квалифицируют мои действия как осквернение святыни.

– Юный друг мой, – произнес Ленц, – разве ты здесь кого-нибудь зришь? После войны люди предпочитают ходить на политические собрания, а не в церковь.

Это было верно.

– Ну а как же пасторы? – спросил я.

– Пасторам нет дела до цветов, иначе они ухаживали бы за садом. А Господу Богу сие будет только угодно, ежели ты порадуешь кого-нибудь цветами. Он-то не из скряг. Это старый солдат.

– Тут ты прав! – Я окинул взором огромные старые кусты. – На ближайшие недели я обеспечен, Готфрид.

– Больше чем на недели. Тебе повезло. Это очень устойчивый и долгоцветущий сорт роз. Их тебе хватит по меньшей мере до сентября. А там пойдут астры и хризантемы. Идем, я тебе заодно покажу.

Мы пошли по саду. Розы источали дурманящий аромат. Тучами с цветка на цветок перелетали гудящие рои пчел.

– Посмотри-ка на них, – сказал я, останавливаясь. – Они-то как попали сюда? В самый центр города? Ведь поблизости не может быть никаких ульев. Разве что пасторы держат их на крыше?

– Нет, брат мой, – ответил Ленц. – Могу побиться об заклад, что они прилетают с какого-нибудь крестьянского хутора. Просто они хорошо знают свой путь. – Он прищурил глаза. – В отличие от нас, не так ли?

Я пожал плечами:

– Может, и знаем. Хоть какой-то отрезок. Насколько нам это дано. А ты не знаешь?

– Нет. Да и не хочу знать. Всякие там цели делают жизнь буржуазной.

Я взглянул на башню собора. Она отливала зеленым шелком на фоне небесной голубизны, бесконечно старая и безмятежная, в подвижном венчике ласточек.

– Как здесь тихо, – сказал я.

Ленц кивнул.

– Да, старичок, здесь-то и понимаешь, что тебе, в сущности, всегда не хватало одного-единственного, чтобы стать хорошим человеком, – времени. Не так ли?

– Времени и покоя, – ответил я. – Покоя не хватало тоже.

Он засмеялся.

– Теперь слишком поздно! Теперь никакого покоя мы бы не вынесли. Поэтому – вперед! То бишь назад к привычной сутолоке!

Высадив Ленца, я вернулся на стоянку. По пути проехал и кладбище. Я знал, что Пат в это время лежит в своем шезлонге на балконе, и, проезжая мимо, несколько раз посигналил. Никто, однако, не появился, и я поехал дальше. Зато там я увидел фрау Хассе, плывшую по улице в своей напоминавшей фату шелковой пелерине. Она повернула за угол. Я поехал за ней, чтобы спросить, не нужно ли ее куда-нибудь подвезти. Но, добравшись до перекрестка, я увидел, как она садится в машину, стоявшую за углом. Это был довольно-таки обшарпанный лимузин образца тысяча девятьсот двадцать третьего года, который немедленно затарахтел и тронулся. За рулем сидел мужчина с утиным носом в броском клетчатом костюме.

Я довольно долго смотрел вслед машине. Вот что, значит, бывает, когда женщина подолгу сидит дома одна. Я в глубокой задумчивости поехал на остановку, где присоединился к веренице ожидающих клиентов такси.

Солнце накалило крышу машины. Очередь двигалась медленно. Я подремывал, пытался даже уснуть. Однако «умыканье» фрау Хассе не давало мне покоя. Конечно, у нас все по-другому, но ведь Пат в конце концов тоже весь день сидит дома одна.

Я вылез из машины и направился вперед, к Густаву.

– На-ка, выпей, – предложил он мне, протягивая термос. – Напиток холодный, просто чудо! Собственное изобретение! Кофе со льдом. Держится в таком виде часами при любой жаре. Да, Густав – человек практичный!

Я выпил стаканчик.

– Раз уж ты такой практичный, – сказал я, – то подскажи мне, чем занять женщину, которая много времени проводит одна.

– Нет ничего проще! – Густав взглянул на меня с видом превосходства. – Чудило ты, Роберт! Ребенок или собака! Спросил бы что-нибудь посложнее!

– Собака! – опешил я от изумления. – Черт побери, конечно, собака! Ты прав! У кого есть собака, тот не одинок.

Я предложил ему сигарету.

– Послушай, а ты, случайно, не в курсе, где их берут? Вряд ли такое добро теперь дорого.

Густав укоризненно покачал головой:

– Нет, Роберт, ты и в самом деле не представляешь, кого имеешь в моем лице. Ведь мой будущий тесть – второй секретарь ферейна, объединяющего владельцев доберман-пинчеров! Разумеется, ты получишь щенка самых лучших кровей, и даже бесплатно. Есть у нас как раз один помет, четыре плюс два, бабушка – медалистка Герта фон дер Тогтенбург.

Густав был из тех, кто родился в рубашке. Отец его невесты не только разводил доберманов, но и содержал трактир – «Новую келью»; а невеста его, помимо всего прочего, была владелицей плиссировочной мастерской. Позиции Густава благодаря этому были самые первоклассные. У тестя он столовался на дармовщинку, а невеста стирала и гладила ему рубашки. Он не торопился с женитьбой. Ведь тогда у него прибавилось бы забот.

Я объяснил Густаву, что доберман – это не совсем то, что нужно. Слишком уж крупен, да и характер ненадежный. Густав недолго раздумывал. Как бывалый вояка, он привык действовать немедленно.

– Пойдем со мной, – сказал он. – На разведку. Есть у меня кое-что на примете. Только ты не встревай в мои переговоры.

– Ладно.

Он привел меня к небольшой лавке. В витрине были выставлены аквариумы с водорослями. Тут же в ящике сидели две понурые морские свинки. По бокам висели клетки, в которых неутомимо резвились чижики, зяблики, канарейки.

К нам вышел небольшой кривоногий человечек в коричневой вязаной жилетке. Водянистые глаза, поблекшая кожа лица и целый фонарь вместо носа – видать, заядлый поклонник пива и шнапса.

- Скажи-ка, Антон, как поживает Аста? – спросил Густав.
- Второй приз и почетная грамота в Кёльне, – ответил Антон.
- Какая подлость! – воскликнул Густав. – Отчего же не первый?
- Первый они сунули Удо Бланкенфельзу, – буркнул Антон. – Оборжаться можно!

Жулики!

Где-то в глубине лавки слышалось тявканье и скулеж. Густав прошел туда. И тут же вернулся, держа за шиворот двух маленьких терьеров – в левой руке черно-белого, в правой – красновато-бурого. Он незаметно встряхнул того, что был в правой. Я взглянул на него: да, подходящий.

Щенок был красив на загляденье. Лапки прямые, тельце квадратное, головка прямоугольная. Вид лихой и смысленный. Густав выпустил щенков из рук.

- Смешной метис, – сказал он, показывая на красновато-бурого. – Откуда он у тебя?

Антон сказал, что ему оставила его одна дама, уехавшая в Южную Америку. Густав разразился недоверчивым смехом. Антон, обидевшись, полез за родословной, восходившей аж к Ноеву ковчегу. Густав только махнул рукой и стал выказывать интерес к черно-белому щенку. Антон потребовал сто марок за бурого. Густав предложил пять. Его не устраивал прадедушка. Да и хвост вызывал сомнения. Уши тоже были не вполне. Вот черно-белый – тот был на все сто.

Я стоял в углу и слушал. Вдруг кто-то дернул меня за шляпу. Я с удивлением обернулся. В углу на шесте сидела маленькая сгорбленная обезьянка с рыжеватой шерстью и грустной мордочкой. У нее были черные круглые глазки и рот в озабоченных старушечьих складках. Она была опоясана кожаным ремнем, соединенным с цепью. Маленькие черные руки ее до ужаса походили на человечьи.

Я стоял спокойно, не шевелясь. Обезьянка медленно приблизилась ко мне по шесту. При этом она неотрывно смотрела на меня, без недоверия, но каким-то странным, отрешенным взглядом. Наконец она осторожно протянула лапу. Я подставил ей палец. Она сначала отпрянула назад, но потом взяла его. Было так странно ощущать эту прохладную детскую ручку, стиснувшую мой палец. Казалось, что в этом жалком тельце заключен несчастный, немощствующий человек, который хочет выйти наружу. Его взгляд, полный смертельной тоски, нельзя было вынести долго.

Отдуваясь, Густав выбрался тем временем из леса родословных деревьев.

- Стало быть, по рукам, Антон, получишь за него щенка добермана от Герты. Лучшая сделка за всю твою жизнь! – Потом он обратился ко мне: – Возьмешь его сразу?

- А сколько он стоит?

– Нисколько. Я выменял его на добермана, которого подарил тебе раньше. Да, брат, Густав умеет обделывать дела! Густав – золото, а не парень!

Мы договорились, что я заеду за щенком попозже, когда буду возвращаться из рейса.

– Ты хоть представляешь себе, что заполучил? – спросил Густав, когда мы вышли. – Это же ирландский терьер! Большая редкость! Чистейших кровей, без единого изъяна! Да еще родословная такая, что ты, раб Божий, должен кланяться этой скотине в пояс, когда захочешь поговорить с ней.

– Густав, – сказал я, – ты оказал мне великую услугу. Пойдем-ка выпьем за это дело лучшего коньяку, который только найдется.

– Только не сегодня! – заявил Густав. – Сегодня у меня должна быть твердая рука. Иду вечером в наш кегельбан. Обещай, что ты как-нибудь сходишь со мной! Там очень приличные люди, есть даже один обер-постсекретарь.

- Как-нибудь схожу, – сказал я. – Даже если там не будет обер-постсекретаря.

Около шести я вернулся в мастерскую. Кестер поджидал меня.

- Сегодня днем звонил Жаффе. Просил тебя позвонить.

Я обомлел.

– Он сказал что-нибудь, Отто?

– Нет, ничего особенного. Сказал только, что принимает до пяти у себя, а потом поедет в больницу Святой Доротеи. Так что тебе надо звонить туда.

– Хорошо.

Я пошел в контору. Там было тепло и душно, но меня бил озноб, и телефонная трубка дрожала в моей руке.

– Не дури, – сказал я самому себе и покрепче уперся локтем в стол.

Я дозвонился не скоро.

– У вас есть время? – спросил Жаффе.

– Да.

– В таком случае не откладывая приезжайте. Я буду здесь еще в течение часа.

Я хотел спросить его, не случилось ли чего с Пат. Но так и не решился.

– Хорошо, – сказал я, – через десять минут я буду у вас.

Я нажал на рычаг и тут же позвонил домой. Сняла трубку Фрида. Я попросил позвать Пат.

– Не знаю, дома ли, – последовал недовольный ответ. – Сейчас гляну.

Я ждал. Голову распирало от горячего дурмана. Время тянулось бесконечно. Наконец в трубке послышался шорох, а за ним голос Пат:

– Робби?

На миг я закрыл глаза.

– Как дела, Пат?

– Хорошо. Сажу на балконе, читаю. Книжка интересная – не оторвешься.

– Книжка интересная, вот оно что... – сказал я. – Это прекрасно. Я только хотел сказать, что сегодня приду чуточку позже. Ты уже дочитала свою книгу?

– Нет, я на самой середине. На несколько часов еще хватит.

– А, ну я буду значительно раньше. А ты читай пока.

Я посидел еще немного в конторе. Потом поднялся.

– Отто, – сказал я, – можно взять «Карла»?

– Конечно. Если хочешь, я поеду с тобой. Мне здесь нечего делать.

– Не стоит. Ничего не случилось. Я уже звонил домой.

«Какое небо, – думал я, когда „Карл“ пулей летел по улице, – какое чудесное небо вечерами над крышами! Как богата и прекрасна жизнь!»

Мне пришлось немного подождать Жаффе. Сестра провела меня в маленькую комнату, где можно было занять себя старыми журналами. На подоконнике выстроились цветочные горшки с вьющимися растениями. Вечные журналы в коричневых обложках и вечно унылые вьющиеся растения – неизбежная принадлежность приемных врачей и больниц.

Вошел Жаффе. На нем был белоснежный халат, на котором еще не разгладились складки от уюжки. Но когда он подсел ко мне, я заметил на внутренней стороне правого рукава маленькое алое пятнышко крови.

Я немало повидал крови в своей жизни, но это крохотное пятнышко подействовало на меня куда более угнетающе, чем все пропитанные кровью повязки. И моей уверенности как не бывало.

– Я обещал вам рассказать, как обстоят дела у фройляйн Хольман, – сказал Жаффе.

Я кивнул, глядя на пеструю плюшевую скатерть. Я не мог оторвать глаз от переплетения шестиугольников на ней, про себя идиотски решив, что все оборвется, если только я не моргну до тех пор, пока Жаффе заговорит снова.

– Два года назад она шесть месяцев провела в санатории. Вы знаете об этом?

– Нет, – сказал я, по-прежнему глядя на скатерть.

– После этого ее состояние улучшилось. Теперь я ее тщательно исследовал. Этой зимой ей непременно следует снова поехать туда. Ей нельзя оставаться в городе.

Я все еще смотрел на шестиугольники. Они уже начали расплываться и танцевать у меня перед глазами.

– Когда нужно ехать? – спросил я.

– Осенью. Самое позднее – в конце октября.

– Значит, кровотечение не было случайным?

– Нет.

Я оторвал глаза от скатерти.

– Вероятно, мне не нужно рассказывать вам о том, – продолжал Жаффе, – что эта болезнь непредсказуема. Год назад казалось, что процесс остановился, произошло инкапсулирование, и можно было предположить, что очаг закрылся. И так же, как недавно процесс неожиданно возобновился, он может в любой момент столь же внезапно прекратиться. Это не просто слова – так действительно бывает. Я сам наблюдал случаи удивительного исцеления.

– Но и ухудшения тоже?

Он посмотрел на меня.

– И это тоже, конечно.

Он стал входить в детали. Оба легкие были поражены, правое меньше, левое больше. Потом, прервавшись, он позвонил в звонок. Появилась сестра.

– Принесите-ка мой портфель.

Сестра принесла то, что требовали. Жаффе вынул из портфеля два огромных похрустывающих конверта с фотоснимками. Он извлек их и поднес к окну.

– Так виднее. Это рентгеновские снимки.

На прозрачной серой пластинке я увидел сплетения позвоночника, лопатки, ключицы, плечевые суставы и плоские сабли ребер. Но я увидел больше – я увидел скелет. Он как темный призрак проступал на фоне бледных, расплывающихся пятен снимка. Я увидел скелет Пат. Скелет Пат.

Взяв пинцет, Жаффе стал указывать мне на отдельные линии и пятна, объясняя, что они значат. Педантизм ученого овладел им настолько, что он даже не заметил, что я не смотрю на снимок. Наконец он обратился ко мне:

– Вы поняли?

– Да, – сказал я.

– А что же у вас такой вид?

– Нет, нет, ничего, – сказал я, – просто я плохо вижу.

– Ах вот что. – Он поправил очки. Потом снова засунул снимки в конверты и испытующе посмотрел на меня. – Не забивайте себе голову бесполезными размышлениями.

– Я этого и не делаю. Но что за напасть проклятая! Миллионы людей здоровы! Почему именно она должна быть больна?

Жаффе помолчал.

– На этот вопрос вам никто не ответит, – сказал он потом.

– Да, – воскликнул я в порыве горького и слепого бешенства, – на этот вопрос никто не ответит! Разумеется! Кто в ответе за людские страдания и смерть! Вот ведь проклятие! Главное – ничего нельзя сделать.

Жаффе долго смотрел на меня.

– Простите, – сказал я. – Но я не умею обманывать себя. Вот в чем весь ужас.

Он продолжал смотреть на меня.

– У вас есть немного времени? – спросил он.

– Да, – сказал я. – Времени у меня достаточно.

Он встал.

– У меня сейчас вечерний обход. Мне хотелось бы, чтобы вы пошли со мной. Сестра даст вам белый халат. Пациенты посчитают вас моим ассистентом.

Я не мог понять, чего он хочет, но покорно взял халат, который протянула мне сестра.

* * *

Мы шли длинными коридорами. Сквозь широкие окна в них проникал розовый закат. Свет был мягкий, приглушенный, призрачный и парящий. Некоторые окна были открыты. В них лился запах цветущих лип.

Жаффе открыл одну из дверей. Навстречу нам ударил удушливый, гниlostный запах. Женщина с чудесными волосами цвета старинного золота, испещренными солнечными бликами, с усилием подняла руку. Чистый лоб, по-благородному узкая голова. Однако под самыми глазами начиналась повязка, доходившая до рта. Жаффе осторожно снял ее. Я увидел, что у женщины не было носа. На месте носа зияла кроваво-красная рана, покрытая струпьями, с двумя дырочками посередине. Жаффе снова наложил повязку.

– Все хорошо, – мягко сказал он женщине и повернулся к выходу.

Он прикрыл за собой дверь. В коридоре я задержался, уставившись на вечернее небо за окном.

– Пойдемте же! – сказал Жаффе и первым вошел в следующую палату.

Нас встретили тяжелое дыхание и стоны метавшегося в жару человека. То был мужчина с лицом оловянного цвета, на котором странно выделялись яркие алые пятна. Его рот был широко раскрыт, глаза повылезали из орбит, а руки беспокойно бегали по одеялу. Он был без сознания. На доске с отметками температуры устойчиво держалась цифра сорок. У его постели сидела сестра и читала. Когда вошел Жаффе, она отложила книгу и встала. Он бросил взгляд на доску и покачал головой:

– Двустороннее воспаление легких плюс плеврит. Вот уже неделю сражается за свою жизнь, как бык. Рецидив. Слишком рано вышел на работу. Жена и четверо детей. Бессилен.

Он прослушал легкие больного и проверил его пульс. Сестра помогала ему. При этом она уронила на пол свою книгу. Я поднял ее и увидел, что это была поваренная книга. Руки больного непрерывно, как пауки, елозили по одеялу, издавая царапающий звук – единственный в тишине комнаты.

– Останьтесь здесь на ночь, сестра, – сказал Жаффе.

Мы вышли в коридор. Розовый закат за окном сгустился. Теперь он плавал в окнах, как облако.

– Ну и свет, будь он не ладен, – сказал я.

– Почему? – спросил Жаффе.

– Очень уж это все не сочетается. Одно с другим.

– Почему же? – сказал Жаффе. – Сочетается.

В следующей палате хрипела женщина. Ее доставили днем с тяжелым отравлением веро-налом. Накануне случилось несчастье с ее мужем. Он сломал позвоночник, и его, орущего от боли и в полном сознании, принесли домой, где он и умер ночью.

– Она выживет? – спросил я.

– Вероятно.

– А зачем ей жить?

– За последние годы у меня было пять подобных случаев, – сказал Жаффе. – И только одна попыталась покончить с собой вторично. Газом. Она умерла. Остальные живы, а две так и вовсе вышли замуж вторично.

В следующей палате лежал мужчина, который был парализован уже двенадцать лет. У него была восковая кожа, жидкая черная борода и огромные тихие глаза.

– Как дела? – спросил Жаффе.

Мужчина сделал неопределенный жест рукой. Потом показал на окно.

– Взгляните, какое небо. Будет дождь. Я это чувствую. – Он улыбнулся. – Когда идет дождь, лучше спится.

Перед ним на одеяле лежала кожаная шахматная доска с дырочками для фигур. Тут же кипа газет и несколько книг.

Мы пошли дальше. Я видел совершенно истерзанную родами молодую женщину с синими губами и глазами, в которых застыл ужас; видел ребенка-калеку с недоразвитыми вывернутыми ножками и водянкой головы; мужчину, у которого вырезали желудок; похожую на сову старушку, горько плакавшую оттого, что родные не желали заботиться о ней, ибо она, по их мнению, слишком уж зажила на свете; слепую, истово верившую в то, что снова прозреет; пораженного сифилисом ребенка с кровоточащей сыпью и его отца, сидевшего у постели; женщину, у которой утром отняли вторую грудь, и другую, скрюченную ревматизмом суставов; и третью, у которой вырезали яичники; рабочего с раздавленными почками... Палата сменялась палатой, и в каждой палате было одно и то же – почти безжизненные лица, стонущие, изуродованные тела, сведенные судорогой или парализованные, какой-то клубок, какая-то нескончаемая цепь страданий, страха, покорности, боли, отчаяния, надежды, горя; и всякий раз, когда мы закрывали дверь в палату, нас внезапно снова окутывал розовый свет этого нездешнего вечера, всякий раз ужасы больничных казематов сменяло это нежное облако из мягкого, отливающего пурпуром сияния, о котором нельзя было определенно сказать, чего в нем заключено больше – убийственной насмешки или непостижного человеческого уму утешения.

Жаффе остановился у входа в операционный зал. В матовое стекло двери бил яркий свет. Две сестры вкатили в зал плоскую каталку. На ней лежала женщина. Я встретился с ней взглядом. Но она меня словно не видела. Ее взгляд был устремлен куда-то неизмеримо дальше меня. Но я даже вздрогнул от этого взгляда – столько в нем было твердой решимости и спокойствия.

Теперь вдруг лицо Жаффе показалось мне страшно усталым.

– Не знаю, правильно ли я поступил, показав вам все это, – сказал он, – но мне казалось, мало толку утешать вас одними словами. Вы бы все равно мне не поверили. А теперь вы убедились, что многие из этих людей поражены куда более тяжелыми болезнями, чем Пат Хольман. У большинства из них не осталось ничего, кроме надежды. И все-таки многие из них выживут. Снова будут здоровы. Вот это я и хотел вам показать.

Я кивнул.

– Это было правильно, – сказал я.

– Девять лет назад умерла моя жена. Ей было двадцать пять лет. Никогда ничем не болела. Грипп. – Он немного помолчал. – Вы понимаете, почему я это вам говорю?

Я снова кивнул.

– Ничего нельзя знать заранее. Смертельно больной может пережить здорового. Жизнь – странная штука.

Теперь я увидел на лице Жаффе множество морщин.

Подошла сестра и что-то прошептала ему. Он резко выпрямился и кивком головы указал на операционный зал.

– Мне нужно туда. Ни в коем случае не показывайте Пат, что вы удручены. Это теперь самое важное. Сможете?

– Да, – сказал я.

Он пожал мне руку и быстро прошел с сестрой через стеклянную дверь в сверкавший меловой белизной зал.

Я медленно спускался по бесконечным ступеням. Чем ниже я спускался, тем темнее становилось в здании, а на втором этаже уже горел электрический свет. Когда я вышел на улицу,

то еще успел застать словно бы последний вздох розового облачка на горизонте. Тут же оно погасло, и небо стало серым.

Какое-то время я сидел в машине, отрешенно уставившись в одну точку. Потом встряхнулся и поехал назад в мастерскую. Кестер ждал меня у ворот. Я заехал во двор и вышел из машины.

– Ты уже знал об этом? – спросил я.

– Да. Но Жаффе сам хотел тебе это сказать.

Я кивнул.

Кестер смотрел на меня.

– Отто, – сказал я, – я не ребенок и понимаю, что еще не все потеряно. Но сегодня вечером мне, наверное, будет трудно ничем не выдать себя, если я останусь с Пат наедине. Завтра такой проблемы уже не будет. Завтра я буду в порядке. А сегодня... Может, сходим все вместе куда-нибудь вечером?

– Само собой, Робби. Я и сам думал об этом и даже предупредил Готфрида.

– Тогда дай мне еще раз «Карла». Поеду домой, заберу Пат, а через час заеду за вами.

– Хорошо.

И я отправился дальше. Уже когда был на Николайштрассе, вспомнил про собаку. Повернул и поехал за ней.

В окнах лавки было темно, но дверь была открыта. Антон сидел в глубине помещения на походной кровати. В руке у него была бутылка.

– Посадил меня Густав в кучу дерьма! – сказал он, обдав меня винным перегаром.

Терьер бросился мне навстречу, запрыгал, обнюхал, лизнул мне руку. В косом свете, падавшем с улицы, глаза его отливали зеленым цветом. Антон, покачнувшись, встал и внезапно заплакал.

– Прощай, собачка, вот и ты уходишь... все уходят... Тильда подохла... Минна ушла... Скажите, мистер, на кой шут живет наш брат на свете?

Только этого мне не хватало! Маленькая безрадостная электрическая лампочка, которую он теперь включил, гнилостный запах аквариумов, тихий шорох черепах и птиц, низенький одутловатый человечек – ну и лавчонка!

– Ну, толстопузые – это понятно, а наш-то брат, а, мистер? Зачем мы-то живем, горе-мыки-пинчеры?

Обезьянка жалобно взвизгнула и стала бешено метаться по своему шесту. По стене прыгала ее огромная тень.

– Коко, – всхлипнул человечек, уставший от одиноких возлияний в кромешной тьме, – единственный мой, иди сюда! – Он протянул обезьяне бутылку. Она вцепилась в нее обеими руками.

– Вы погубите эту тварь, если будете давать ей спиртное, – сказал я.

– Ну и пусть, мистер, – пробормотал он, – годом-двумя больше или меньше на цепи... один шут, сударь... один шут...

Я взял щенка, прижавшегося ко мне теплым комочком, и вышел. На улице я опустил его на тротуар. Грაციозно прыгая на мягких лапах, он побежал за мной к машине.

Я приехал домой и осторожно поднялся вверх, ведя собаку на поводке. В коридоре я остановился перед зеркалом. В моем лице не было ничего необычного. Я постучался к Пат, слегка приоткрыл дверь и пустил щенка.

Оставаясь в коридоре, я крепко держал поводок и ждал. Но вместо голоса Пат я неожиданно услышал бас фрау Залевски:

– Силы небесные!

На душе у меня отлегло, и я заглянул в комнату уже смелее. Я боялся первых минут наедине с Пат, теперь же положение облегчалось – фрау Залевски была надежным амортиза-

тором. Она величественно восседала за столом с чашкой кофе и колодой карт, разложенных в особом мистическом порядке. Пат, пристроившись рядом, с горящими глазами внимала предсказаниям.

– Добрый вечер, – сказал я, радуясь такому обороту.

– А вот и он, – с достоинством произнесла фрау Залевски. – Недлинная дорога в вечерний час, а рядом король темной масти из казенного дома.

Собачка рванулась с поводка и с лаем проскочила между моих ног на середину комнаты.

– Боже мой! – воскликнула Пат. – Да ведь это ирландский терьер!

– Какие познания! – сказал я. – А я вот еще два часа назад не имел об этой породе никакого понятия.

Пат наклонилась к щенку, который радостно кинулся к ней, стараясь ее лизнуть.

– А как его зовут, Робби?

– Не имею представления. Вероятно, Коньяк или Виски, судя по тому человеку, которому он принадлежал.

– А теперь он принадлежит нам?

– Насколько вообще живое существо может принадлежать кому-либо.

Пат вся зашлась от восторга.

– Назовем его Билли, ладно, Робби? У моей мамы была в детстве собака, которую звали Билли. Она мне часто о ней рассказывала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.